

Виктор Юшковский

*Светлой памяти
Виктора Соломоновича Цейтлина посвящается*

СОЛОМОН И ДРУГИЕ

Томские евреи: лица на полотне

Все как будто не фатально –
впереди монументальный,
впереди заветный труд,
а пока лишь моментальный
неоконченный этюд.
Поиск фона, поиск тона
для земли и небосклона,
для деревьев и травы,
поиск нужного наклона
непокорной головы...
Лариса МИЛЛЕР

Красноярск 2005

I. ЖИЛИ-БЫЛИ САРА С АБРАМОМ

КАРТИНА ЖИЗНИ¹

Еврейская община существовала в Томске уже в эпоху Николая I.

В студеные края, ближе к морозам, перемещались, большей частью, не собственной волей, а повинуюсь распоряжению властей. По Уставу о паспортах, действовавшему встарь, сибирские города не входили в перечень мест, где определялась черта оседлости. А статья 30-я сего документа, действие которой продлевалось аж до 1876 года, прямо указывала: приезд или водворение в Сибирь евреев воспрещается. Тем не менее, их успешно «водворяли» вследствие того, что законодательство вело себя тут, в целом, как-то путано. Воспрещая, законы имели оговорки, допускали разночтения, а то и вовсе не-суразности, из-за чего среди отцов города возникали дискуссии о том, как себя с семитами, вообще говоря, вести.

Спустя тридцать с лишним лет после создания губернии, в 1837 году, среди томичей проживало тридцать пять иудейских семейств – не считая десяти холостых евреев. Перебрались сюда с домочадцами Мордухай Гершевич и Калман Гершевич, Яков Мендель, Меер Шмулович, Абрам Шелевич, Хаим Ицкович, Абрам Жуков, Абель Афраймович, Самуил Вольфович, другие². И едва обжившись, принялись хлопотать об открытии молитвенного дома и школы. Школа вскоре появилась, ничто не препятствовало обзавестись и местом для богослужений: по действующим правилам, открыть синагогу в городе дозволялось, если находилось там не меньше тридцати еврейских домов. Получив прошение, городничий Забурев дал согласие: почему бы и нет?

Оставалось умиловить Его Превосходительство.

Томский мещанин «из евреев» Абрам Жуков и семь сельских жителей Томского округа обратились с *«покорнейшей просьбой»* к господину губернатору.

«По случаю заведения в Томске... еврейской молитвенной школы, считаем за нужное избрать учёного еврея к богослужению и относящихся к обрядам веры раввина и старосту для сохранения в оной <школе> должного порядка»³, - говорилось в письме.

Собственно, речь шла о том, чтоб утвердить уже избранных еврейской общиной синагогальных служащих. Обязанности раввина в ту пору выполнял переехавший из Каинска Нахим Фраймович, а для молитвенного дома община приобрела у дочерей титулярного советника Соколова небольшой деревянный дом на Магистратской улице. Дело оставалось за малым – получить формальное разрешение властей.

Возглавлявший губернию генерал-майор Шленев списался с правительством. Отправил послание в Министерство внутренних дел, откуда, полежав

какое-то время, бумага попала в Государственный Совет. И уже на этом уровне принято было решение. Деша с грифом «секретно» поступила на имя томского губернатора из канцелярии генерал-губернатора Западной Сибири князя Горчакова.

Содержание её нетрудно было предугадать.

«Его Императорскому Величеству угодно было постановить особые правила для предупреждения умножения евреев в Сибирских губерниях, - сообщалось в документе. - Как Вашему Превосходительству известно из предложения моего, то за сим определением в Сибирь раввина не может быть нужным и было бы не сообразно с упомянутыми Высочайше утвержденными правилами... Прошу Вас принять оный отзыв к исполнению по домогательствам томского и каинского еврейских обществ»⁴.

Что и было исполнено. Евреев ознакомили с «отзывом», заставив распечататься в прочтении документа. Каинские евреи, хлопотавшие о том же, были обескуражены тоже, ведь для открытия молитвенного дома и школы правительственных распоряжений не требовалось, достаточно было иметь разрешение губернатора. Подтвердил это и Каинский окружной суд, куда обратился с прошением тамошний городничий.

Но что оставалось делать? Смириться, и только – евреи всегда отличались законопослушанием, терпеливо выжидая, покуда сменится ветер. Хотя ждать обычно следовало долго: политические ветры дули в одном направлении. С завидным постоянством...

* * *

Недостатка в иноверцах город не испытывал во все времена и при всех государях, учась терпимо, уважительно относится к неправославным конфессиям.

Губернские власти не особенно вмешивались в дела еврейской общины. Но сохранить нейтралитет не всегда удавалось, хрупкое равновесие нарушалось после лихих указаний «сверху». Увы, от начальствующих угроз трепетали все, судьба многих в общине – и самой общины! – всецело зависела от доброго расположения «цезаря».

А ведь шальная фортуна была переменчива!

То после наплыва ссыльных мешанская управа предложит не причислять людей «сомнительного» происхождения, «случайных и вороватых» к уважаемому мешанскому обществу – под предлогом того, что это-де вносит сложности в налогообложение. И господин полицмейстер «в видах спокойствия жителей» положит выслать из Томска евреев, проживавших по паспортам, на законных основаниях⁵. А то вдруг обрушится циркуляр МВД о воинской повинности среди инородцев, и тогда сам губернатор, забеспокоившись, потребует списки рекрутов да распорядится, на всякий случай, выслать евреев вон. С глаз подальше⁶.

В те времена, где бы, в какой части обширной империи человек ни поселился, ему надлежало зарегистрировать проживание на предмет «*отбывания воинской повинности*». Евреев обязывали выполнять сей долг на равных основаниях: списки военнообязанных составляли по ревизским книгам и отдавали в управу, а та, в свою очередь, публиковала фамилии в «Томских губернских ведомостях» и делилась сведениями с губернским присутствием по воинской повинности.

И вот в марте 1876 года, после реформы местного самоуправления, появляются новые правительственные разъяснения о наборе солдат. Губернатор, действительный статский советник Супруненко, прочитав циркуляр, решает «разобраться» с семитами, коих закон обязывал набирать на службу в черте постоянной оседлости, в то время как Томск еврейским «местечком» отнюдь не считался.

Начальник губернии велел дать список потомков Авраама. И выяснил, что в Томске живут ремесленники-иудеи, вроде бы «*не приписанные к сибирским губерниям*», но имевшие паспорта. Проверили извозчиков, среди них тоже оказалось немало евреев – таковых, кто работал на законных основаниях, владел ярлыком, но имел несчастье родиться не в Томской, а положим, Тобольской губернии. Узнав об этом, во избежание могущих возникнуть неприятностей, губернатор распорядился «*очистить Томск от иногородних евреев*».

Что и было сделано с прилежанием, заслуживающим лучшего применения. Хотя трогать никого, по совести говоря, не стоило. Гроза пронеслась над головами томских евреев, заставив одних сняться с насиженных мест и уехать, а других изрядно поволноваться.

Но... отбоявшись своё, портные и сапожники, приказчики и лавочники, домовладельцы и извозчики со сложными для русского слуха, труднопроизносимыми фамилиями, возвращались к ремеслам и будничным хлопотам.

Жизнь есть жизнь, нужно заботиться о хлебе насущном. Ну, и разумеется, о мясе.

Для приготовления кошерного мяса томская община нанимала, как водится, резчиков и те выполняли обязанности, ни на шаг не отступая от древних обычаев. Мясо вымачивали в речной воде, солили. Если дело происходило зимой, напротив городской скотобойни на Томи вырубали для этого прорубь и ставили возле нее временное бревенчатое сооружение, где б можно было укрыться от стужи.

«Устройство такого помещения для приготовления кошерного мяса» санитарный врач признавал «*весьма желательным и целесообразным*»⁷.

И работы резчикам, надо заметить, всегда хватало: для еврейской общины на скотобойне ежегодно забивали свыше четырех тысяч голов скота. Санитарная служба находила, правда, что «*засорять речную воду кровью и*

отбросами недопустимо», требуя соблюдение чистоты и порядка⁸. Заставляли перенести избушку с середины реки на берег. Но в целом готовить кошерную пищу никто не мешал.

Как и справлять еврейские праздники, строить синагоги, заниматься богослужением.

* * *

Обязанности раввина в Томске с полусотни лет выполнял купец второй гильдии Бер Израилевич Левин. Личность совершенно удивительная. Можно сказать, легендарная.

Получив рекомендации, могилевский еврей Левин в январе 1859 года отправился в дальний путь, куда по собственной воле не ездили. Разве что по торговой либо чиновничьей надобности. В Томске ему предстояло пройти процедуру выборов, получить разрешение губернатора и Министра внутренних дел. Генерал-майор Озерский, возглавлявший губернию, не преминул дать согласие. Не стал возражать и по поводу того, чтобы Левин *«получил возможность исправлять эту должность»* одновременно в Каинске, где находилось благочестивое еврейское общество⁹.

Так Бер Левин *«вступил в должность»* раввина, оказавшись во главе Томского еврейского Духовного правления. Приобрел небольшой деревянный дом и с 1860 года прочно обосновался в губернском центре.

Именно при Левине на частные пожертвования была открыта в Томске молитвенная школа, при нем появилось еврейское училище. Идеи народного просвещения томский раввин, отдадим должное, всячески поддерживал, благодаря чему в январе 1881 года – небывалый случай! – получил серебряную медаль «За усердие» на Станиславской ленте от самого государя императора. Мало того, спустя четыре года Александр Третий *«всемилоостивейше пожаловал»* Левину золотую медаль.

Еврейский духовный наставник, вообще, был активен. Даже в почтенном возрасте успевал, кроме прямых обязанностей, принимать участие в делах городского общества. Так, в ноябре 1883 года он, известный своей благотворительностью, утвержден был в звании директора губернского попечительства о тюрьмах.

Примерно в ту самую пору уважаемый, пользующийся безупречным авторитетом раввин оказывается втянут в судебную склоку. Некто Абрам Гольдберг, ссыльный еврей, очевидно, разобиженный «недостаточно почтительным» к себе отношением, наводит на Левина хулу. Трудно сказать, в чём обстояло дело, однако окружной, а следом губернский суд доказали несостоятельность обвинений¹⁰.

Безупречную репутацию Левина история эта не могла запятнать, и через несколько лет в возрасте семидесяти двух лет за более чем сорокалетнюю безупречную службу Бер Израилевич получает две медали на Станиславской

ленте. О неистощимых жизненных силах этого человека свидетельствует то, что, будучи шестидесятилетним старцем, раввин женился вторым браком на каинской купеческой дочери Саре Глушевой, каковая родила ему новых наследников.

Всего же от двух браков Левин имел трех сыновей и столько же дочерей. Кто из сыновей раввина – Самуил, Израиль или Герш – пошел по стопам родителя, история умалчивает.

Не известно и то, сохранил ли раввин купеческое звание, выкупал ли промысловое свидетельство на занятия торговлей либо отошел от коммерческих дел совершенно.

* * *

Членов Духовного правления, старосту и казначея синагоги еврейское общество избирало раз в три года.

Обычно доверие на выборах оказывали одним и тем же, «выдвигая» по несколько раз. Проходили же выборы в синагоге. Перед началом их кандидату следовало представить письменное свидетельство о неподсудности, выдавала которое полицейская управа, а при благополучном исходе выборов полагалось дать клятву, подписав соответствующий «присяжный лист».

В архиве сохранился полный текст такой присяги:

Я, такой-то, обещаю и клянусь Господом Богом Израилевым, с чистым сердцем и не по иному, скрытому во мне смыслу, а по смыслу и ведению приводящих меня к присяге – в том, что хочу с чистым сердцем и душевным желанием и буду... поступать справедливо и бескорыстно, и всеми мерами заботиться, дабы занимаемая нашим молитвенным обществом синагога была посвящена исключительно богомолью, совершению обрядов веры и чтению книг нашего закона, чтоб в оной никакого другого собрания, противного общественному спокойствию, распоряжениям местного начальства и полицейскому порядку производимо не было, и никаких других вещей, кроме священных для евреев списков Торы, книг и утвари... сохраняемо не было.

Также обещаю не позволять и не допускать в оной при отправлении общественного богомоления, так и в другое время, равно как и в хранящихся в ней книгах, свитках, утвари, ничего противного существующим узаконениям и правилам или противного высокой власти Императора, Августейшего Его Дома, государства, постановленным от Него начальников и всех Его верных подданных, ответственю за всякое по сим предметам упущение, злоупотребление или беспорядок, и как я пред Богом в том всегда ответ дать могу, как сущий мне Господь Бог душевно и телесно поможет.

Аминь»¹¹.

Даже на первый, поверхностный взгляд видно назначение текста: возложить на евреев ответственность за всё, что происходит в стенах синагоги. Пусть ничего предосудительного, с полицейской точки зрения, в ней и не происходило. Евреи занимались своими делами и в жизнь городского общества почти не вмешивались, а если вмешивались, то редко и с благими на-

мерениями. Ведь сказано было в «Положении о праве участия в выборах гласных», принятом в июне 1892 года:

«Евреи к занятию каких бы то ни было должностей по городскому общественному управлению... допущены быть не могут»¹².

Не позволялось сынам Израиля выбирать наравне со всеми гласных городской Думы. Хотя пункт первый Положения допускал к участию в выборах всех русских подданных, владеющих в пределах города «*на правах собственности*» недвижимостью.

Вот выбирать синагогальных служащих, спасибо, не запрещали.

Староста синагоги помогал раввину вести «Книгу о пожертвованиях», которую вместе с «Книгой о родившихся, умерших и бракосочетающихся» Духовное правление обязано было подавать в городскую управу. Канцеляристы сверяли записи с имевшимися у них копиями, и если обнаруживали разночтения, ошибки, устраивали разнос – разногласия между Духовным правлением и управой улаживала канцелярия губернатора.

Ну, какие ошибки? В одном документе находим недовольство относительно «*небрежности в почерке, допущенном при ведении книг*», в другом – раздражение по поводу грамматических ошибок и каких-то «недописок», видно, недостаточно подробных записей¹³. С особым старанием проверяли бухгалтерскую, приходно-расходную книгу Духовного правления.

Каждую копейку тщательно протоколировали, а вносили в кассу общины, кто сколько сможет. Самые неимущие – по 20-50 копеек, состоятельные – по сто рублей и больше. Добровольных пожертвований, откровенно признать, было не так много. По праздникам в кассу правления поступали, правда, изрядные суммы. Такие взносы, рублей по двести, делали состоятельные евреи Фаддей Каплун, Абрам Юдкин, Вульф Альперович, Осип Штамов, Симха Глейзенхауз, Барух Кауснельсон, Исай Фанштейн, Матвей Бейлин, Яков Зайд, Абрам Самкин, Григорий Лейбович, купцы Фуксманы¹⁴.

Собранные средства направляли на богослужение и неотложные нужды общины, на поддержку неимущих евреев. Для них покупали дрова, воск, предметы домашнего обихода, Тору и другие духовные книги.

Из кассы общины получали жалование кантор, трапезник, раввин и староста синагоги. В разное время обязанности старосты занимали Маломед, Тернер, Дашевский, Блейман.

Купец Блейман, имевший виноторговлю, избирался старостой несколько сроков подряд. Скупые архивные строки не дают в полной мере представить эту фигуру, однако был он, видимо, человек предприимчивый. Судился, отстаивая права, со всеми по любому поводу, и сам не избежал наказания, будучи подвергнут шестимесячному тюремному заключению¹⁵. После чего во время новых выборов губернское правление не утвердило их ре-

зультаты, когда община, не разуверившись в порядочности купца, вновь доверила Бейлину должность старосты.

А вот губернские власти неодобрительно смотрели на людей, занимавшихся виноторговлей.

* * *

Разрешение на открытие питейных заведений давала городская управа. До 1882 года она не чинила особых препятствий членам еврейской общины. С той оговоркой, чтоб торговали напитками в собственном доме, согласно статье 306-й Устава о питейном сборе. Изменил это правило управляющий акцизными сборами по Западной Сибири – он разрешил выдавать патенты лишь «коренным» евреям, их родившимся в Сибири потомкам да тем, кто имел право вольного проживания.

Когда бумага сия дошла до томского градоначальника Цибульского, он крепко задумался: как быть?¹⁶

По закону, питейная торговля разрешалась всем евреям, проживавшим в местностях, «определённых для оседлости». Вопрос в том, входили сибирские города в этот перечень или нет, ведь Устав о паспортах вообще запрещал евреям селиться в Сибири.

С другой стороны, размышлял городской голова, закон позволял, в исключительных случаях, записывать евреев в податные сословия и местное купечество, обеспечивая право переезда. Сквозь пальцы смотрел закон и на ремесленников, детей ссыльнопоселенцев, отставных чиновников, «принятых обществом в свою среду». Не говоря о купцах 1-й гильдии, коим разрешалось жить и вести коммерцию в любых городах империи. Такие люди, несмотря на семитскую внешность, пользовались всеми правами, «коренному населению присваиваемыми».

Но, скажите на милость, мучился жестокими сомнениями городской голова, запрещать ли всё же евреям заниматься винокурением или нет, дозволить им торговать крепкими напитками либо всячески препятствовать?

Среди членов управы разгорелся спор. Одни выступали против выдачи евреям питейных патентов, разделяя начальственную позицию, другие возражали, советуя придерживаться более свободных правил, «иначе сие будет, господа, нарушением гражданских прав известного числа домовладельцев, имеющих вид на жительство». Стали голосовать – большинством голосов управа приняла сторону возражавших, оставив градоначальника при своем мнении.

Тем более, вразумительного ответа из Министерства внутренних дел, куда он, мучимый неопределенностью, обращался за разъяснениями, не пришло.

Но не таков был Захарий Цибульский, чтобы сдаться!

Через пару дней, не успокоившись, подаёт он прошение на имя г-на губернатора с просьбой рассудить, кто прав. Месяц спустя губернское по городским делам присутствие выносит вердикт: «Никто из евреев не имеет право на торговлю питьями вне черты оседлости»¹⁷, вернув всех, по сути, к началу спора – считать ли сибирские города чертой оседлости. Ведь, ежели считать, получается, что евреи, «давно прописанные в здешних обществах», суть уроженцы, со всеми, как говорится, вытекающими.

Словом, было над чем поломать голову чиновникам, хотя подобные словопрения имели вид тренировки пытливого ума, не более. Ибо, что касается прав, сибирякам обижаться право же, было грех – к какой национальности они бы ни принадлежали и где б ни молились, в синагоге, костеле или мечете. Томск всегда был веротерпимым городом.

Помимо евреев жили в Томске обрусевшие немцы да поляки. Чисто еврейских или немецких кварталов в городе, правда, не существовало, дома тех и других шли попеременно.

Скажем, на Магистратской неподалеку от Макса Крюгера и Эрнста фон Шульмена жили себе - поживали Абрам Мильштейн с домочадцами и Самуил Гонт¹⁸. Тут же находился терем купца-миллионера Второва, владельца пассажа на Базарном мосту. А на Дворянской улице в соседях Якова Зайда был Юман Фридрихович Китц.

На Солдатской жили Моисей Пшебус, Леонтий Фефербаум, Сара Пешковская, а на Нечаевской, где размещался «Торговый дом» Кухтерина, обитали Ева Рабинович, Натан Бархатов, Исай Маломед. Целые семитские кланы жили на Ерлыковской, Офицерской, Знаменской улицах, на Большой Подгорной и Монастырской, где находилась еврейская школа.

Самые именитые, заслуженные и состоятельные господа имели дома на Миллионной. Там обитали первые люди, денежные тузы – купцы Вытнов, Бронников, Некрасов, Королев, Толмачев. На той же «почтенной» улице жил на рубеже веков и раввин Бер Левин, получая от еврейского общества постоянное жалование триста рублей.

Впрочем, место проживания, пусть и престижное, не играло решающей роли: само по себе домовладение обеспечивало высокий социальный статус, наделяло известными правами, включая возможность вести виноторговлю. И занимались этим многие предприниматели – «первую скрипку» играли тут не евреи.

Большинство кабаков в Томске держали купцы Селиванов, Мизгер, Смирнов, Завьялов, Королев, жена ссыльного поляка Горелло, дворянин Глебович и Вытнов¹⁹. Владельцами оптовых винных складов выступали Лажников, Королев, Горбатовский, Гадалов, Вытнов, Смирнов. Водочные заводы имели всё те же Смирнов и Вытнов, а пивоварением занимались Крюгер, Зеленевский, Вакано, Рейхзелигман.

Среди полутора - двух десятков владельцев винных погребов с годовым оборотом порядка 15 тысяч рублей в Томской губернии было лишь

четверо купцов семитского происхождения – Бер, Ицкович, Фильберг и Шилкевич. Самые же крупные погребя держали Карнаков, Вытнов, Гадалов, Пастухова и Лажников.

Вот среди владельцев небольших пивных лавок и «питейных домов» действительно числилось немало евреев. Мелкую виноторговлю вели, скажем, Самуил Альперович, Абрам Бернштейн, Исай Минский, Самуил Быховский и другие²⁰.

Для открытия питейного заведения следовало написать прошение в городскую Думу – *«покорнейше прошу выдать установленное разрешение»*, внести 50-рублевый акциз и получить промысловое свидетельство²¹.

Что было по карману, в общем-то, многим.

Поскольку город имел от виноторговли неплохие налоговые барыши, препятствий городские власти не чинили – торгуй, мил человек, где и сколько заблагорассудится. Оно, конечно, имелись другие занятия, более уважаемые и общественно полезные, но в том-то и штука, что семитов к ним, как правило, не допускали.

Положим, на основании указа Правительствующего сената, евреям, проживавшим вне черты оседлости, *«не могло предоставляться право производить разносную или развозную торговлю предметами их производства»*²². Пожалуйста, изготовляй, что душе угодно, но продать не сможешь.

Логика в этом не было ни малейшей, но правило-то существовало...

* * *

Да только ли здесь имелись «перегибы»? Взять поселенцев: поощряя освоение обширных сибирских территорий, царское правительство всячески стимулировало этот процесс, наделяя землей новоприбывших крестьян.

Всех, только не евреев! Отвода земель из казенных и Кабинета Его Величества земель им не производить – таково было указание. В то же время на ссыльное поселение в сельскую глухомань губернии год за годом отправляли новые партии *«причисляемых в разряд крестьян»* евреев. В 1910 году в шести волостях Мариинского уезда проживало 267 иудеев, больше всего - в Боготольской и Дмитриевской волостях²³.

«Что касается евреев, - сообщал губернатору барнаульский уездный чиновник, - то они причисляются к старожильческому обществу не могут...»²⁴.

Правда, некоторым, прибавлял «участковый» начальник, в виде исключения, по особому разрешению полиции дозволялось временно селиться на казенных, предназначенных к распашке, землях. О том, что поселенцам разрешалось обрабатывать, засеивать эти земли, в документе не говорилось ни слова.

Меж тем число их росло. Больше трехсот евреев в ту пору занимались сельским хозяйством в Третьем крестьянском участке Каинского уезда, в Первом участке «крестьянствовали» ещё почти двести «*причисленных к местному обществу*» евреев²⁵. Находили себе пристанище поселенцы-иудеи в селах Зырянское, Семеновское, Камышинское Зырянской волости, в селе Купино Каинского уезда, в селе Лазоревом Мариинского уезда.

Характерно, что общественное мнение придерживалось при этом одновременно противоположных мнений: поощряя правительственные меры явно антисемитской направленности, «мыслящие и честные» люди призывали евреев «перевоспитаться» и заняться мирным трудом на благо отечества.

«Только труд на земле способен превратить еврея в полноценного человека...», - сообщало, к примеру, солидное столичное издание «Восточное обозрение»²⁶.

Некий «благонамеренный» публицист в статье «Евреи-земледельцы в Сибири» развивал свои положения следующим образом.

«Евреи, - писал он, - разными путями и способами налагая свою руку на часть продуктов труда, созданных потом и кровью трудящихся христиан, являются на пиру жизни незваными и нежеланными гостями, одинаково не любимыми всеми классами коренного населения.

Из всех проектов разрешения еврейского вопроса, начиная с проекта избиения еврейских младенцев и кончая проектом поголовного крещения... представляется нам наиболее дельным и симпатичным вариант, разрешающий гордиев узел этого вопроса на лоне природы, в деревне, у пруда, ассимилируя еврея с мужиком, чтобы... выветрить всё здание еврейства, удалить весь сор и гной из него, не насилуя ничьей совести...»

Ну, и прочее, в том же духе.

Чувствуете, какой блестящий стиль, каков полет мысли, какой «гуманистический», безусловно «человеколюбивый» настрой! Ну, а как в действительности «разрешался» тот самый узел на лоне природы, можно узнать из достоверных источников.

Еще в 1825 году томский губернатор Фролов, человек весьма либеральный, сообщал в городской магистрат, что по повелению г-на управляющего Кабинетом Его Императорского Величества «*евреев на местожительство на казенные земли нельзя определять даже проездом... для отращения причиняемого ими вреда и развращения людей*»²⁷.

Понятно, что это означало: выселение всех «*лиц еврейской национальности*» из горных заводов и рудников. Приказ распространялся на Колыванскую, Кузнецкую, другие волости Томской губернии. Даже евреям, «*записанным в мещане*» не повезло, они не могли получать паспорта.

Но не только правительственные органы - само общество страшно пылало «симпатией» к сынам Израиля, чему в архивах опять же находим массу свидетельств.

* * *

В 1882 году г-н Мерцалов, возглавлявший губернию, направил в столицу донесение о том, что *«колыванское мещанское общество составило приговор о выселении из Колывани евреев»*²⁸.

Дело обстояло в следующем.

Как-то раз колыванские граждане мещанского сословия, собравшись, взялись обсуждать поступки и суждения местных иноверцев. И до того воспалились, что тут же, не задумываясь, вынесли решение очистить город «от скверны». Присутствовавший на собрании городской голова Хромов с таким решением, однако, был не согласен.

И будто бы «допустил крайне дерзкое, вызывающее обращение к отдельным членам собрания и в целом к мещанскому обществу, что не могло не вызвать неудовольствия, едва не имевшего весьма прискорбные последствия...».

Так говорилось в донесении губернатора.

Купца Хромова, возглавлявшего городское колыванское общество на протяжении десяти лет, заподозрили в страшном грехе - сговоре с иудеями. По сведениям, дошедшим до губернатора, некоторые из колыванских евреев торговали вином с «благословения» Василия Хромова и под его фамилией. А с одним из евреев, Моисеем Рубановичем, якобы содержал оптовый винный склад, благодаря чему либеральнее, чем нужно, относился к «христопродавцам».

От городского головы потребовали объяснений. Вины за собой он не признал, назвал всё наветом – и губернатор начал разбирательство. В Колывань был отправлен советник губернского правления Хаов – чиновник с широкими полномочиями.

Дознание *«не подтвердило, что по патентам, выданным на имя городского головы евреи торгуют вином и держат с ним винный склад»*. На злосчастном собрании, выяснилось, Хромов не присутствовал, ибо находился в Семипалатинске по торговой надобности. Председательствовал же там мещанский староста Севастьянов.

Абсурдность ситуации была в том, что купца обвиняли в грехах прямо противоположного свойства: в стремлении выселить евреев из города и противодействовать сему. Хромову, в частности, ставили в вину, что он не дал хода «приговору» мещанского собрания. Мало того, на следующем собрании он стал разъяснять незаконность принятого решения.

Такого же мнения была и столица.

В письме, полученном из Министерства внутренних дел, сообщалось, что «выслать можно лишь тех евреев, которые не имеют права жить во внутренних губерниях и в Сибири, но не всех евреев вообще. Они относятся к мещанскому обществу и имеют те же права...».

И все же виновным посчитали градоначальника, его «*в высшей степени бестактные действия*», и полицию, давшую послабление евреям, которые открыто занимались виноторговлей. Когда же колыванский полицмейстер собрал мещан, чтоб сообщить о сем, разразился скандал, ведь ответственность за нарушение порядка в городе возлагалась на горожан. С колыванцев потребовали подписку, что им ведомо «*Высочайшее повеление о преследовании насилий против евреев*».

Сибиряки ничего, однако, подписывать не стали, возмутились: не может быть, чтоб Сам Государь взял под защиту «неправедных» иудеев!

Целый день колыванские жители бушевали, взывая к справедливости и всячески понося евреев. Дело принимало нешуточный оборот, но вмешалась полиция и погром пришлось отложить «до лучших времен». Полицмейстера Чебыкина привлекли к ответственности, судьбу же градоначальника, уличенного в симпатиях к евреям, должно было решить губернское по городским делам присутствие.

Чтоб объяснить колыванский инцидент, в Петербург полетело донесение. «*Сообщаю, - писал губернатор, - чем было вызвано неудовольствие мещан против евреев*». Мещанское общество арендовало у Горного ведомства выгонную землю, чтоб косить сено и выгуливать скотину. Евреи же, не внося платы, будто бы пользовались той землей на общих основаниях.

В городе некоторые из них торговали вином, составляя конкуренцию православным «коллегам» и простить эту удачливость им не могли. Словом, в основе конфликта лежало то самое неизбывное бытие, которое во все времена определяло сознание.

А чашу «народного негодования» переполнил такой нехороший случай: накануне Троицина дня владелец винного склада Моисей Рубанович, компаньон городского головы, взял да и сбавил цену на водку. Казалось бы, что тут плохого? - подешевели напитки. Но русские виноторговцы, вынужденные привести цены «в соответствие», так вовсе не думали.

С того всё и началось. И неизвестно, чем бы закончилось, если б не губернский советник. Погасив недовольство, посланник губернатора Хаов собрался было разобраться и с градоначальником, давшим подписку о невыезде, но тот, не дожидаясь дознания, выехал в обратном направлении, то есть в Томск. Отправился по торговым делам или «за справедливостью»...

* * *

Недоразумения, связанные с тем, полагать ли чертой оседлости для сибирских евреев место их поселения, испортило всем немало крови. В конце концов, законодательство внесло-таки ясность, твердо определив, что евреев можно причислять к купеческим обществам, равно как к мещанскому и крестьянскому сословию.

В действительности же всё зависело от конкретного чиновника - хмурого канцеляриста, решавшего судьбу просителя по своей чиновничьей прихоти. Самоуправство вынуждало евреев хлопотать перед властями, начиналась длинная и скучная переписка, которая основательно приелась и губернской канцелярии, и городской управе.

«В Томской губернии проживает огромное количество евреев, занимающихся торговлей и промыслом. Надо упорядочить вопрос с выдачей им полицейского удостоверения...»²⁹, - взывали члены управы.

Чтоб получить представление об *«огромном количестве евреев»*, достаточно обратиться к сведениям, опубликованным в «Сибирском торговом-промышленном календаре»³⁰.

Тогда, в 1899 году, значилось в Томске 52430 душ обоего пола. Из них дворян – 3656, потомственных граждан – 1719. В купеческом звании состояло 829 человек, ссыльными числились свыше двух тысяч. А еврейская община включала 3204 человека: немногим более шести процентов населения Томска. Ну, а во всей губернии проживало 13209 иудеев.

Если учесть, что общее число населения в губернии приближалось к четырем миллионам (данные за 1910 год), легко посчитать, что евреев было всего лишь 0,34 процента. В сельских местностях их насчитывалось того меньше, 0,09 процента.

Полицейское удостоверение давало право на жительство, узаконивало торговлю, ремесленнические занятия. Евреям позволяли записаться в купечество, выкупив промысловое свидетельство на торговое предприятие 1-го разряда, крупное промышленное предприятие либо судоходную компанию. Промысловый налог, который ежегодно, подтверждая торговое право, следовало вносить в казну, соответствовал пятистам рублей. От 50 до 500 рублей в год необходимо было платить, выкупая свидетельство 2-го разряда.

Стремление же записаться в «первые» продиктовано было не честолюбием, а здравым расчётом, желанием обрести льготы и привилегии.

Купцу 1-й гильдии, состоящему в ней свыше двенадцати лет, позволялось, к примеру, определить детей в учебные государственные учреждения на полный пансион. При условии, ежели купец был христианского вероисповедания - на иудеев правило не распространялось. Между тем в одном Томске вели крупную торговлю десятки состоятельных купцов, чье вероисповедание довольно отчетливо проступало в их облике.

Купцами 1-й гильдии в 1900 году состояли Натан Заславский – галантерея, парфюмерия, платье, обувь, и Илья Фуксман – торговля крупчаткой, мельница, конный завод. Ко 2-й гильдии причислялись Рафаил Бейлин, Янкель Зайд, Григорий Ицкович, Миней Хейсин, Иосиф Юдалевич, Зинаида Векштейн и многие другие, включая Фуксманов³¹.

Принято считать, что определенный достаток служил евреям «охранной грамотой», защитой от неприятностей, что часто и наблюдалось. Но вот документ – жалоба томского купца Федора Исааковича Монасевича в Главное управление Западной Сибири, находившееся в Омске³².

Монасевич причислен был к петербургскому купеческому обществу, получил свидетельство 2-й гильдии в Царско-Сельской городской ратуше. Перебравшись в Томск, купец расширил торговлю и спустя время, в 1869 году, записался в 1-ю гильдию. Точнее, попытался это сделать: местная Казенная палата отказала ему, как еврею.

«Имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, оказать законное удовлетворение по настоящей просьбе купца Монасевича...», - попросил властителя губернии Омский генерал-губернатор.

Стали разбираться. И наткнулись на новую законодательную неувязку.

В соответствии с Установлением торговых правил, еврей-купцы в месте оседлости, оказалось, могли объявлять капитал при соблюдении определенных условий лишь по 1-й гильдии, хотя часто вступали во 2-ю. Собственно, Казенная палата не противилась причислить Монасевича к томскому купечеству, но при условии, чтоб тот доказал законность переезда в Томскую губернию.

Отчаявшись, купец обратился с прошением к самому *«Всепресветлейшему, Державнейшему, Великому Государю Императору Александру Николаевичу»*. Коммерческие дела, сообщил торговец, заставили переехать в Сибирь, сие вполне допустимо. Равно как то, что *«купцам по закону предоставляется полнейшая свобода переходить из одной гильдии в другую без всяких в том стеснений и ограничений...»*.

Однако хлопоты не увенчались успехом. Переписка продолжалась лет пять, до 1870 года, пока Казенная палата не потребовала взыскивать с Монасевича полуторные пошлины, если он своевременно не объявит капитал для получения свидетельства 2-й гильдии.

Городская дума не была против. Так что, в конце концов, купец махнул рукой и подчинился обстоятельствам...

* * *

Томск был небольшим, в общем-то, городом. И все в нём, начиная с гимназистов, знали, что, допустим, игрушки лучше покупать в магазине Ливена, а превосходнейший выбор мануфактуры и галантерейных товаров легко обнаружить в магазине Заславского³³. За новыми часами обращались к Шерцингеру, приобрести сапоги спешили к Голонштоку, а обновить головной убор помогала мадам Слосман, владевшая шляпным заведением.

Имя Фильберта, имевшего магазин на Набережной Ушайки, увязывалось с бакалеей, Китц олицетворял «колбасное дело», а Прейсман - гастрономию. Собственные магазины, салоны, мастерские имели в Томске Лейбович, Гершевич, Гольдберг, Слосман, Шур. Агентами почтенных страховых обществ и транспортных контор служили Нейланд, Гинсберг, Зейдеман.

В газетах рекламировались меха Дубровича, поступавшие из Америки и Британских островов: норки, скунсы, еноты, японская лисица, каракули «высшего достоинства», котик, выхухоль, кенгуру, кролик. Имелись бобровые воротники и горностаевые ротонды, котиковые пелерины и лисьи муфты, пыжиковые шапки и боа из якутских соболей.

Магазины Заславского упоминались на первых полосах томских газет обычно в связи с рекламой изящных безделниц:

«Господа!

Большой выбор мужских и дамских цепочек, серебряных приборов в футлярах и без, столовые и чайные подарочные вещи. Для мужчин могу предложить золотые и серебряные часы фирмы Мозер и других лучших женевских фирм.

Цены умеренные»³⁴.

Многие торговцы выставляли изделия своего производства.

Так, в цехах Фельзенмайера готовили колбасы, копчености и рыбные паштеты. Заведение Прейсмана выпускало сигареты, а Хаймович с разрешения Медицинского департамента освоил производство минеральных вод. Когда получило развитие частное предпринимательство, в Томске возникло много артелей, мастерских, кустарных цехов. Работали там столяры, шорники, портные, сапожники – многие из них носили иудейские фамилии.

Процветали, впрочем, и традиционно «еврейские» ремесла. Лучшими портными в Томске считались, положим, Малкин, Захарович, Фельдман, Шлеймович и Шейнберг, а из шести местных ювелирных мастерских пять принадлежали евреям³⁵.

Фотосалоны в Томске имели Пейсахов и Хаймович, переплетные мастерские - Мануилов и Фурман. Сапожным ремеслом зарабатывали на хлеб Берман, Яцкевич и Гликман. Меблированные номера держали Маркович и Альперович. У входа в лучшие дамские салоны на вывесках значились фамилии Янковской, Мильштейн и Мацкевич. Постоянных клиентов имели обойно-драпировочные мастерские Каплан и Сегельмана.

Предприятия покрупнее носили имена таких владельцев, как Бернштейн (кирпичный завод), Фуксман (мыловаренный завод), Перельман (типография). В ряду томских скотопромышленников и мясоторговцев не последнее место занимали Абрам и Моисей Дондо, Иосиф Штамов, Илья Касильман, Яков Фуксман, Исай Шмулович, Лейбо Вайнер, Мария Еселевич, Самуил Лурье³⁶.

Один из ресторанов под названием «Биржа» находился во владении Якова Вольмана. Коммерческие бани в Томске держали, кроме прочих, Фе-

фербаум, Цем, Фонштейн, Цукерман и Дондо. Два Торговых дома средней руки носили название «Нейланд и К» (торговля керосином), «Штоль и Шмидт» (аптекарские товары).

Люди победней нанимались в извозчики, хотя обзавестись полицейским свидетельством, дающим право работать на бирже, евреям почему-то было труднее. Возможно, оттого, что извозный промысел давал пропитание многим семьям, и томичи с русскими фамилиями интриговали против иноверцев, иудеев и мусульман.

Впрочем, евреи брались за всякую работу, лишь бы приносила доход.

Даже, увы, за такую, которая обеспечивала сомнительную репутацию. К примеру, среди владелиц «желтых» домов, коих в Томске существовало около полутора десятка, были Хая Бернштейн, Рива Шпак и сестры Захир³⁷. А содержателем хора певичек, исполнявших фривольные куплеты со сцены ресторана «Европа», был Соломон Шапиро, которого репортеры призывали привлечь к ответственности за побои, наносимые дамам³⁸.

И все же пренебрегали приличием, стремясь обеспечить доходное дело, на самом деле, немногие. Примеров обратных находим куда больше - чего стоит хотя бы история Раисы Слосман, которая предложила городу наладить дилижансное сообщение.

«Значительная удаленность городских окраин от центра города и базара крайне затрудняет тех горожан, которые не имеют средств держать собственных лошадей и затрачивают немало времени на неблизкую ходьбу из конца в конец города...»³⁹, - говорилось в письме, адресованном городской думе.

Высокая такса делает извозчицьи экипажи недоступными многим томичам, а существует более дешевый вид транспорта - дилижансы, каждый на десять пассажиров. Предприимчивая дама предложила наладить круглогодичное движение по нескольким оживленным маршрутам.

« Я человек небогатый и считала бы смелым уверять кого-либо, что мною руководит одно лишь желание принести пользу населению - напротив, в этом деле для меня на первом плане - возместить затраты на устройство дилижансов, а также получить материальную выгоду...»⁴⁰, - откровенно писала г-жа Слосман.

Дума признала ее условия приемлемыми для Томска, *«который ничем не рискует, так как от города не требуют субсидий и в случае неудачи он не понесет ущерба. А если это окажется выгодным, дело вызовет конкуренцию и город получит дополнительный доход»*.

И всё ж предоставить пятилетнюю привилегию, опасаясь возмущения со стороны извозопромышленников, отцы города не решились.

* * *

В заботе о хлебе насущном дни проходили за днями. Но вот наступала суббота, и тут полагалось сбросить груз забот. Отдохнуть, в меру сил и возможностей.

Принято думать, что развлекаться тогда совсем не умели: будто сидели прадеды у самовара все вечера и ни к чему, собственно, не стремились. Да нет, конечно, стремились! И умели, будьте уверены, повеселиться и отдохнуть от души. В губернском Томске, пусть не столица, была возможность приятно и с пользой провести время у людей всех сословий.

Евреи в субботу посещали синагогу, занимались благотворительностью – богадельня действовала с 1858 года. В ее правление входили Самкин, Евсипович, Каплун, Пейсахов, Слосман, Бухгалтер, раввин Беры. А в Обществе народного развлечения, которое устраивало народные чтения, музыкальные вечера и спектакли, состояли Вильскер, Дистлер, Миркин, Фельдштейн и Медведевский. Представители общины участвовали в занятиях литературно-артистического кружка: проводили вечера, лекции, выставки. Давали спектакли и опекали публичную библиотеку⁴¹.

Это была, к слову, единственная в Томске организация, в уставе которой значилось: «Члены кружка, нарушившие правила нравственности, могут быть исключены из состава кружка по постановлению общего собрания...».

В старых газетах найдешь упоминания о детских еврейских вечерах, устраиваемых в зале Общественного собрания по случаю Пурима или Пейсаха. Такие вечера *«привлекали массу публики и удавались во всех отношениях»*. В первом отделении разыгрывали литературно-музыкальную композицию, затем выступал хор, аккомпанировал которому скрипач Линевич. Дети наряжались в костюмы разных исторических эпох и устраивали представление. Затем ребята, получив подарки, расходились – ну, а для взрослых объявляли танцы...

Любимым же развлечением томичей были бега!

Вице-президентом местного Общества рысистых лошадей состоял Григорий Фуксман, он многое сделал для коннозаводских «утех»⁴². При его участии строили ипподром, проводили бега. Во время скачек разыгрывали крупные призы, ставили солидные заклады. И нередко владелец лошади, не выдержав, сам садился в дрожки и выезжал на беговую дорожку. Хороших, чистокровных лошадей держали в Томске Фуксманы, а одним из лучших профессиональных наездников считался Исай Шумилов⁴³.

Что и говорить, достаток позволял найти забаву по душе, развлечься в городе или отправиться в путешествие. Но когда дело касалось вопросов веры, величина кошелек не имела значения: евреям, пожелавшим совершить паломничество в Палестину, помогали всей общиной.

Выезд за рубеж сопровождался тогда изрядными хлопотами по оформлению документов. Ничего этого для паломников, как правило, не требова-

лось: вместо обычных зарубежных паспортов они получали льготные, удешевленные – или бумагу, на которой таможенник ставил отметку. Оно и понятно, ежегодно к святым местам отправлялись тысячи и тысячи мусульман, православных, иудеев.

Когда в Одесском порту скапливались сотни человек, градоначальник давал распоряжение уладить формальности, предоставив паломникам судно на Ближний Восток. «Особые» рейсы совершало туда Русское общество пароходства и торговли.

В Иерусалим вместе с евреями устремлялись христиане, там им оказывала помощь православная миссия и Императорское Палестинское общество, содержавшее пансион, иерусалимскую школу, другие заведения. Евреи, совершая паломничество, полагались больше на себя. Да и трудностей-то во время путешествия, считай, не возникало. Раз в несколько лет, правда, порт Яффа объявляли закрытым по случаю холеры, и тогда паспорта паломникам не выдавали – вплоть до особого распоряжения властей⁴⁴.

Но трудности евреев не останавливали: попасть на Святую землю мечтали, по правде сказать, многие...

Хоть и считается, что в Сибири, где «перемешались языки и культуры», относились к корням без особого трепета, всё ж уважали традиции и там. Либеральный миролюбивый Томск не так сильно, как другие города, переболел горячкой «за веру, царя и отечество», и неукротимых «патриотов», спасавших отчизну от инородцев, среди томичей было меньше.

К неправославным вероисповеданиям город, и впрямь, относился терпимо. Не вмешивался, по большому счету, в дела еврейской общины, позволяя соблюдать обряды, строить синагоги, молиться.

И вообще, жить, как вздумается... лишь бы не во вред окружающим.

ПОРТРЕТ НАРОДОВОЛЬЦА: ЧУДНОВСКИЙ

Дневной свет льётся сквозь небольшое оконце как бы нехотя, скупо освещая убогое арестантское жилище.

В тот край, где лежанка, свет проникает утром, и тогда, почти не напрягая глаз, можно прочесть над головой надписи, которые сделали, скуки ради, предшественники. Надписи, впрочем, незатейливые – так, ничего особенного, обычные тюремные безделицы. И автографы тоже лишенные изыска: уголовные клички, инициалы, обычные имена.

А вот взять бы, подумал, да вывести здесь свое имя. Крупно начертать тут же рядом: «СОЛОМОН» – и приписать что-то никому не понятными буквами, по древнееврейски, какую-нибудь фразу из тех, что учил в детстве. Уж эта надпись не затеряется, любому бросится в глаза: какой Соломон? – не тот ли, кто просидел в этих стенах, причастный к нашумевшему делу, несколько лет? Чем не способ закрепить славу.

Но нет, писать здесь не стоит. Тем более, на иврите – священный язык, ему тут не место. Даже для него, прогрессивно мыслящего, как про себя думает, человека, даже для него существует грань, переступить которую нельзя. Хоть и порвал с родною средой, отделил себя от людей, близких по крови, чтобы приблизиться к людям, близким по духу. Пусть даже так – всё равно нельзя.

Да и не озабочен Соломон своим местом в истории. Плохо ему, тяжело: вчера был отец, приходил один, без матери. Коротко бросил: заболела.

Свидание дали короткое, но поговорить бы успели, только... отец промолчал. Не раскрыл рта. Сидел, сгорбившись на стуле, будто укрытый талитом, и смотрел в одну точку, отвернувшись от сына. Что он там увидел, какое будущее разглядел?

Лучше б закричал, как в тот первый раз, осыпал упреками – всё, что угодно, только б не молчал... Боже, как он постарел – сердце сжалось от боли: усталый взгляд из-под тяжелых век, седая борода, какая-то несвойственная ему покорность в фигуре, жалкая какая-то придавленность. Старик, совсем старик...

А когда расставались, зная, что видятся здесь в последний раз, отец не сдержался, заплакал. Отвернулся, пытаясь скрыть слабость, и тут же рывком поднялся со стула, чтобы уйти, но замешкался. Соломон хотел, было, броситься ему на шею, обнять и утешить: слезы отца потрясли – впервые в жизни видел его плачущим. Но сдержался: такой порыв означал бы примирение, шаг назад, а он выбор свой сделал.

Совместить же два этих мира – тот, частью которого был от рождения, реальный, и мир умозрительный, мир идей, к которому стремился и в котором жил последние годы, – совместить их было нельзя, он понимал. В его

представлении они не соприкасались, как две параллельные линии, уходящие в необозримое пространство.

Соломон лежал на старом тюфяке, водил пальцем по стене, точно рисовал чей-то образ, и думал.

Думал о том, что завтра поведут к надзирателю. Наденут кандалы и так, в цепях, как преступника-душегубца, повезут в Санкт-Петербург, где всюю идёт процесс. Поместят в Петропавловскую крепость, может, даже в тот каземат, где томились полвека назад декабристы. Оттуда под конвоем доставят в зал Особого присутствия Правительствующего сената, где после четырехлетнего одиночного заключения решится его судьба...

В сущности, сообщил он в тот день на волю, здесь, в одесской тюрьме, было совсем даже неплохо. Почти по домашнему.

«Жандармский полковник Кноп не доверял тюремной администрации, а потому ежедневно приводил в тюрьму двух жандармов, которые и были нашими полными хозяевами. В конце концов, с ними подружились, они носили с воли нам письма и оказывали всевозможные услуги. Некоторые из них трогательно привязались к нам... Жандармский унтер-офицер Орлов, прощаясь, клялся никогда не забывать нас...»¹.

Первые допросы снимал, помнится, сам начальник Одесского жандармского управления. Полковник Кноп был вежлив и необычайно доволен собой: вот же, голубчик, не ушел от нас, не сумел. Куда тебе, и не таких поймаем, умело расставив сети. Дай срок!

Обстоятельства ареста были ему известны лучше, чем кому бы то ни было: он же и сплёл паутину. Хотя судить, насколько умело, честно говоря, не мог, ведь это был первый его весомый успех. В некотором роде, дебют. Признаться, что причиной успеха стала полная неопытность молодых людей, доставлявших нелегальную литературу, полковник не желал и себе самому.

Картину ареста он знал, и всё же снова и снова просил рассказать, слушая с тем удовольствием, с каким внимают певцу, знаменитому тенору, любителю музыки.

Что ж тут рассказывать, пожимал Соломон плечами...

«Стояла лунная, слабо морозная январская ночь, вернее начало ночи. Андрей и Петр ехали в пролетке следом за извозчиком Соломона. Тот как будто все предусмотрел, выведал о Симе всё возможное, предупредил подлеца, что в случае чего его пристрелят, как собаку; документы у него были в порядке, отличная фальшивая борода.

И вот он нёсся куда-то в темноту на окраину, где Сима должен был передать книги, петлял чернейшими переулками, и вдруг исчез. Андрей и Петр остановили пролетку на углу переулка и услышали крик: «Кончено!». Соломон успел предупредить, и они умчались, спаслись...»².

Что говорить, дело известное: ехал, схватили, доставили в охранку.

Ну, хорошо, полковник Кноп доставал какие-то записи, листал. «Расскажите о себе... Если можно, подробнее. Вы ж не здешний, тут вот указано:

родом из Херсона, воспитывался в семье купца. После гимназии поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, но курс не закончил. Был исключен и выслан на родину за участие в студенческих волнениях. Так?..».

Соломон слушал своё жизнеописание равнодушно, будто речь шла не о нём, а о ком-то другом. Студенческие волнения... подумаешь, подвиг. По большому-то счету, он мало что сделал. Не то, что другие...

«Затем, - продолжал полковник, - отправился за границу, в Швейцарию и Австрию, слушать университетский курс, где сошелся с социалистами. Вернувшись, занялся доставкой политически вредной литературы...».

То была удивительная пора! Время надежд и мечтаний, время иллюзий.

«В ту пору в России всюду чувствовали смесь стремлений куда-то, желание работать на благо «униженных и оскорбленных», при неизвестности, как осуществить эти стремления, как взяться за дело»³. Но все они, кто брался за дело, были молоды, порывисты, исполнены жертвенного желания отдать свою жизнь за торжество справедливости.

И за рубежом были люди, желавшие того же, с ними Чудновский установил без труда тесную связь.

Как-то раз, вернувшись домой, застал у себя незнакомого человека.

«Жил я в районе венского медицинского студенчества, Joseph-stadts, - вспоминал позже, - по Lammgasse, на четвертом этаже. Возвращаясь однажды к вечеру из университета, открыв дверь комнаты, был поражен следующей сценой: на моей постели лежал юноша без сапог... Он молча улыбался мне во весь рот.

Это был Михаил Куприянов...»⁴.

Куприянова отправили в Вену, снабдив деньгами, с важным заданием: на Всемирной выставке, проходившей в те дни, следовало купить *«недорогую, но более усовершенствованную типографскую машину»*. И купив, переправить ее как-то в России.

Высмотрев образец, через посредство знакомого, австрийского социал-демократа Шая, машину доставили в надежное место и разобрали на части. Мало важные детали, по которым трудно было понять назначение механизма, выслали, как обычный груз, по железной дороге, а наиболее ценные части решили переправить через границу нелегальным путем.

Заветный железный ящик отвезли во Львов и оттуда, с помощью галицийских друзей Соломона и контрабандистов, готовых за деньги на всё, доставили по назначению. А скоро пришлось уезжать самому:

«По поручению общих друзей Куприянов убедил вернуться в Россию, где только началось народническое движение и ощущалась большая нужда в работниках...»⁵.

С университетским образованием было покончено.

Да и с размеренной, благодушной, в целом, жизнью, тоже: меньше, чем через год последует арест, одиночная камера, знаменитый процесс «сто девяноста трех», сибирская ссылка.

Но Чудновский уезжал из благополучной, ухоженной Вены без всякого сожаления. Он ехал к друзьям, возвращался к делу. Мчался в Россию на встречу судьбе, которую сам же и выбрал.

Сам – и никто иной.

* * *

Тихий еврейский мальчик из добропорядочной, почтенной семьи. Вот кем он был когда-то.

Робкий, застенчивый, чрезвычайно послушный. Жадный до знаний, до книг – редкий книголюб. Одинокий мечтатель, остро ощущавший несовершенство мира.

Как вышло, что он увлекся противоправительственной борьбой, сделал жизнь опасной, напряженной – и порвал с семьей? Чем притянуло его бунтарское общество, что увидел он в людях, с которыми не имел ничего общего ни по корням, ни по имущественному своему положению?..

Они себя звали «чайковцы».

Для Одессы, где был филиал петербургского кружка, руководил которым Чайковский, такое название годилось больше, чем для Киева или Москвы, где тоже имелись отделения. А ещё кружок называли Натансоновским – по имени Марка Натансона, который был, пожалуй, даже более яркой фигурой, чем Николай Чайковский.

Во всяком случае, более начитан, умен и последователен.

Чайковский, не переставая терзаться правильностью выбора, вскоре *«отказался от революционной деятельности, принял новую религию – бого-человеческую»*. Устроил в Америке религиозную коммуну, потом поселился в Англии. И окончил дни убежденным анархистом. Натансон же не изменил убеждений, оставался верен юношеским идеалам.

В петербургский кружок входили крупные личности: князь Петр Кропоткин, Софья Перовская, Дмитрий Клеменец. У киевлян были свои знаменитости: Аксельрод, Лопатин, братья Левенталь. Одесский кружок считался немногочисленным, но и там были люди, чьи имена впоследствии вошли в историю: Феликс Волховский, Андрей Желябов, Петр Макаревич.

Надо признать, и Соломон играл там заметную роль, но при всех незаурядных своих качествах в лидеры не годился. Был напрочь лишен честолюбия, довольствуясь скромным положением «одного из немногих». А вот друг его Феликс Волховский – тот да, был прирожденным руководителем: упорным, властным, красноречивым. Он *«принимал участие в нечаевском процессе и имел... некоторую известность в радикальных кругах»*⁶.

Одесские «чайковцы» собирались на квартире Волховского, проводили время в жарких спорах, оттачивая свои убеждения.

«Масса молодежи вовсе не была тогда революционно настроена, а потому призыв к революции, заговор пугали ее и далеко отбрасывали от революционного пути – на путь мирной работы. Меньшинство же, как «чайковцы», с самого начала противостояли агитации Нечаева и его тактике.

Они были дальновидны, эти «чайковцы». Они требовали от будущих революционеров основательной теоретической подготовки, нравственной чистоты и практической закалки... Такая система действий – надежная охрана от всякой «нечаевщины» и тому подобных «революционных авантюр»...»⁷.

Больше того, нравственную чистоту ставили на первое место: *«они тогда, можно сказать, болели вопросами этики»*. И молодого Чудновского такая система ценностей привлекала необычайно.

«Можно без преувеличения сказать, что это был цвет молодежи: ум, талант, довольно высокое умственное развитие в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная чистота, ригоризм в личных и общественных отношениях, - таковы были «чайковцы»...»⁸.

Да, они спорили – и всё же *«это была семья духовно близких людей»*. И нечаевский призыв «к топору» им казался абсолютно неверным, к насильственному перевороту они не стремились. Для них было важно другое: неутомимое просветительство, народное образование, работа с фабричными, с крестьянской общиной.

Самоусовершенствование в духе Толстого.

«Происходившая внезапно метаморфоза, превращавшая «средних людей» в изумительных альтруистов, героев, обуславливалась... глубокой уверенностью в возможность сразу превратить тогдашний возмутительнейший строй в самый совершенный...»

Легко отказавшись от карьеры, привилегированного положения, они отдавали все, что было, расставались с родными, чтобы посвятить себя служению трудящихся масс...»⁹.

Нетерпение – вот, пожалуй, главное свойство этих людей: Россия, несомненно, была больна, *«они спорили, как её лечить»*¹⁰. И бросались лечить, не договорившись о средствах: разномыслием отличались тогда все кружки, не только «чайковцы».

А потом был крупный процесс «сто девяносто трех», хотя трое умерли во время процесса и название уже не отражало реальное число «государственных преступников», среди которых оказался Соломон.

На суде он держался с достоинством, непрерывно остро словил, чтобы поддержать друзей, посмеивался над стоявшими рядом жандармами. От услуг адвоката отказался, защищал себя сам. Но итог был predetermined.

Приговор: лишение гражданских и политических прав. Пять лет каторги.

«Тебе повезло, пошутил кто-то из друзей: какие у еврея права, сам поуди, и лишать-то нечего – ты ничего не потерял».

Чуть позже каторгу заменили ссылкой. И закованный в кандалы, Соломон отправился из Петропавловской крепости в Сибирь. Местом ссылки ему определили Ялуторовск, известный пребыванием там декабристов.

Начались годы странствий, пересыльных этапов, полицейского произвола. Годы лишений, болезней, полунищенского существования.

Он писал родным письма, стараясь поддержать и утешить. Надеялся когда-то, спустя несколько лет, увидеться. Не знал, что попасть в Одессу ему суждено почти через двадцать лет, когда родителей уж не будет в живых...

Не будет отца, который любил его, гордился им. Возлагал на него, наследника, большие надежды...

Отца было жаль. И друзей, некоторые из которых оказались на виселице.

Себя Соломон не жалел: такова доля революционера, ничего не поделаешь. Надо с честью пройти свой путь: ссылка так ссылка.

«С самого начала, - писал он, - правительство смотрело на ссылку в Сибирь, как на меру колонизации. Оно видело в ней больше способ заселения обширных пустых и отдаленных областей, чем наказание, карательную меру... Но Сибирь для ссыльного – ненавистная мачеха, и никакими силами его в ней не удержишь»¹¹.

Да, мачеха: в Ялуторовске устроился неважно. Местное общество сторонилось «мятежника», местный батюшка, протоиерей сельской церкви, настаивал всех против него. А после покушения на государя императора и вообще воспылил гневом, на проповеди *«весьма прозрачно и тонко делал намеки на то, что ко всем подобным делам причастны все «политические» вообще»*¹².

То есть народники, надо понимать, и прочие интеллигенты.

«Спору нет, Сибирь нуждается в колонистах, она слишком редко и скудно населена, - размышлял между тем Чудновский. - Но ссылка, как мы видим, ничего почти Сибири и дать не может...».

Вольная колонизация полезней. Тем более, что «мотивов и готовности к вольной колонизации достаточно... Надо поставить переселенческое дело на правильную ногу: улучшить способ передвижения переселенцев, снабжать их денежными пособиями, давать указания о наиболее пригодных для колонизации землях... А Сибири есть чем привлечь колонистов – земля тут богата: леса, озера, дичь. Сибирь не голая безлюдная степь, а живая страна... имеет те же права, что Европейская Россия... и желание жить полноценной гражданской жизнью...»¹³.

Сибирских областников за подобные мысли сажали за решетку, ссылали. А ему, ссыльному, что было бояться?

Он установил связь со столичными газетами и отправлял туда желчные корреспонденции, чем страшно *«раздражал ялutorовское общество и ялutorовских чиновников»*, которые мечтали избавиться от незваного беспокойного «гостя».

И это им удалось: за связь с арестантом, оказавшим полиции вооруженное сопротивление, Чудновского отправили в Курганскую тюрьму.

«По дороге на всех почтовых станциях «собирались крестьяне глазеть на господина в кандалах, сопровождаемого двумя жандармами, - вспоминал позже. - В некоторых местах крестьяне демонстративно проявляли свое враждебное ко мне отношение, а на одной станции толпа выказала особую ко мне враждебность». Дело чуть не дошло до расправы, только участие жандармов спасло от самоуправства толпы.

«Напротив, жандармы были вежливы, заботливо старались приобрести для меня хорошую провизию... Немало я хохотал, когда эти простоватые тюменские жандармы наивно и серьезно убеждали меня, что, по всем видимостям, приближается время пришествия Антихриста...»¹⁴.

Что ж, ежели мерить народным страданием, говорил народоволец, это время пришло. Унтер-офицер, слыша возмутительные речи, только кряхтел да морщился. Однако потребность в умном, начитанном собеседнике мешала исполнить строгую на сей счет инструкцию.

Дорога запомнилась. На станциях давали резвых свежих коней, ехали без спешки, подолгу останавливаясь на каждой почтовой станции. Отдыхали за неспешной беседой, *«распивали чай с шаньгами, закусывали и преспокойно высыпались»*.

И в Кургане уважительное отношение к Соломону Лазаревичу сохранилось. По распоряжению исправника ему предоставили лучшую камеру, большую и светлую, с окном во двор. Разрешили гулять во дворе, сколько вздумается, отпускали *«улучшенную больничную пищу и давали вести переписку»*.

О лучшем, кажется, трудно было и мечтать!

«Но вмешался жандармский майор, помощник начальника Тобольского жандармского управления – тупой, невежественный и, вместе с тем, крайне чванливый, тщеславный субъект», который проявлял свою власть, как первое лицо в округе... и сразу же заявил особые права на политического...»¹⁵.

Словом, вёл себя, как самодур. Отобрал безобидную книгу по истории, которую Соломон читал в Петропавловской крепости, известной строгими правилами. Без конца придирался, ждал, когда тот сломается, покорно признает его власть.

Соломон негодовал, пытался оспаривать свои права. Потом, видя бесполезность споров, замолк. Его дух не сломали – следовало закалить и тело: противостояние могло быть долгим.

Теперь всегда, в любой мороз, форточку в камере оставлял открытой. И *«с разрешения смотрителя каждое утро обливал себя в камере ушатом холодной воды»*, чем необычайно интриговал охранников: они *«дивились такой силе воли и крепости организма»*.

Но майор не собирался менять поведение. Его вся эта история, похоже, забавляла.

Соломон попросил перо и бумагу, написал ультиматум. Заявил, что *«уморит себя голодом, если не прекратятся издевательства майора»*. В тот же день полицейский исправник донес, как положено, обо всем тобольскому губернатору. Пришла депеша: начальник края просил отказаться от голодовки, пока не придёт из столицы ответ.

Спустя два-три дня ответ был получен: министр внутренних дел граф Лорис-Меликов распорядился перевести арестанта в Тобольск.

* * *

Тобольская центральная тюрьма, надо признать, чистотой не блистала, была старой, затхлой, донельзя переполненной: яблоку негде упасть. Но сажать известного арестанта к уголовному сброду не стали, «политического» вообще поселили отдельно, вне стен тюрьмы.

Выделили аккуратный, где-то даже уютный флигелёк во дворе, приставили «своего» надзирателя, чтоб сопровождал, значит, во время прогулок. А Соломону что ж, пусть маячит поблизости, лишь бы не мешал думать. *«Кормили недурно, обращение было весьма деликатное»* – большего от тюремной администрации, собственно, и не требовалось.

Участника шумного процесса навестил сам губернский прокурор, важный господин, коего сопровождала целая свита мелкой чиновничьей сошки. Любезно осведомился о нуждах, рекомендовал обращаться, ежели что, непосредственно к нему: *«Да-да, прошу вас без церемоний, у нас тут, знаете, всё по-простому»*.

Спустя несколько дней явился тобольский полицмейстер. И тоже оставил приятное о себе впечатление. Был отменно вежлив и предупредителен, *«расспросил от имени губернатора о состоянии здоровья»*. И хотя новый арестант заверил, что чувствует себя вполне удовлетворительно, посоветовал тюремному врачу чаще навещать и *«всемерно заботиться о его здоровье»*.

Такого внимания, подумал Соломон, не устаивался в этом городе, наверное, ни одни купец. Не говоря уж о купце чуждого, неправославного вероисповедания.

Но время шло, а ничего в его судьбе не менялось. Лучшая в арестантском заведении клетка, с хорошей кормушкой и светлым окном, оставалось клеткой. Ненавистой, постылой, надоевшей.

И Соломон вновь обращается с ходатайством к министру, просит пересмотреть его дело и освободить от тюремного заключения.

Дерзкую просьбу, он понимал, следовало оставить без внимания, а вдобавок усилить тюремный режим для острастки, чтоб не повадно было беспокоить занятых важными государственными делами людей. Но просьбу... уважили. «*К удивлению тюремных властей*» и его собственному, пришло телеграфное сообщение за подписью графа Лорис-Меликова, где предписывалось освободить Чудновского под гласный надзор полиции.

Поистине, неведомо, что происходит в недрах огромной и сложной бюрократической машины. Какие шестеренки и куда вращаются, какие приводные ремни там действуют. А может, напротив, прекращают действие...

Под вечер, покончив с формальностями, арестанта освободили. И поскольку никого он в Тобольске не знал, помогли устроиться на квартиру. А на следующий, буквально же, день предстал полицмейстер и высказал совсем уж неожиданное предложение. Его превосходительство, «*зная материальную необеспеченность*» бывшего узника, поручил ему, полицмейстеру, «*приискать подходящее занятие*».

Страж порядка, торжественно, как о счастливом сюрпризе, известил, что подыскал-таки неплохое, во всех смыслах, занятие – делопроизводителем на частный завод, что находился за городом.

Соломон усмехнулся: губернатору не терпелось «*удалить с глаз долой*» опасного вольнодумца. Да и полицмейстеру лучше: на хорошем-то жалованье пуститься в бега никому не придет в голову. Ссылный ведь кто, такой же человек, как другие, и деньги наверняка любит не меньше других: отчего не любить.

«Владельцем винокуренного завода был «именитый купец первой гильдии С-в, крупнейший тобольский крез, жертвовател, член разных приютов, директор тюремного комитета». Властный, умный, предприимчивый заводчик – он «вел жизнь турецкого паши, держал целый гарем и сильно эксплуатировал рабочих...»¹⁶.

Когда приехали, увидели поразительную картину: длинный, ломящийся от разносолов стол в совершенно пустом помещении. Так здесь встречают гостей, было сказано, милости просим!

Отведав угощения, сподобились лицезреть самого хозяина. Он был краток и деловит.

«А воровать умеете? – лукаво усмехаясь, спросил у оторопевшего Соломона. – Что, совсем не умеете? Жаль...».

Полицмейстер при этих словах поежился, будто за шиворот бросили таракана, однако смолчал. И не такое, должно быть, слышал в тех стенах.

«Жаль, - продолжал купец, ласково улыбаясь. – Другой сворует у меня, потом снова словчит, обманет государство. Мне-то что, невелик убыток: подумаешь, сотня-другая, а государству похуже урон, посильнее. Если, конечно, с умом... А вы человек, знаю, умный».

Среди местных жителей подобные штуки называлось «коммерцией».

Бедная Сибирь, печально подумал Соломон. Он давно, с первых уж слов понял, что брать на завод человека с такой репутацией, купец и не собирался. Зато отказать себе в удовольствии порассуждать, не смущаясь, похвастать умением жить, он не смог. Право, не часто бывают здесь образованные, умные люди. Хоть бы даже и бывшие арестанты.

Да оно и к лучшему, что так обернулось, решил Соломон. Всё равно бы не стал тут работать. Только без заработка-то не обойтись. Нужно подыскать себе место.

Для этого, первым делом, надлежало оглядеться: что за люди живут тут в Тобольске, каковы заведения, что за общество.

Люди были обычные – как везде: чиновники протирали штаны в канцеляриях, торговцы гонялись за барышом, господа офицеры из местного гарнизона изнывали от скуки.

«Чтоб немного развлечься и посмотреть тобольский бомонд», Соломон явился на бал-маскарад, что давали в Благородном собрании. М-да, сделал вывод, народ ещё тот: разговоры о флирте, служебных интригах, попойке – и никаких тебе общественных устремлений.

Да и о нем в местном обществе сложилось, верно, невысокое мнение: враг порядка, нигилист – из тех, что всё отрицают. Опасный смутьян. Лишь с одним человеком нашел вроде бы взаимную симпатию: вышла странная пара – православный священник и ссыльный иудей. Но с тем-то, по крайней мере, было о чем поговорить. Как-никак, выпускник духовной академии, начитанный и неглупый, в общем, человек.

Остальные бывшего узника либо побаивались, либо порицали в сердцах, предпочитая держаться в стороне.

Соломон загрустил.

А тут еще в жандармском управлении, куда надлежало хаживать, весьма откровенно дали понять, что иметь под надзором беспокойного ссыльного весьма нежелательно. Оно, конечно, всё по закону: распоряжение свыше и так далее, но всё-таки, однако ж... как-то, знаете ли...

Словом, Соломон, не дожидаясь, пока выживут, явился в одно прекрасное утро к Его превосходительству начальнику губернии и попросил перевести в какой-нибудь уездный городок. И причину назвал совершенно пустяшную – первое, что пришло в голову, но искать основание не требовалось: губернатор без промедления дал согласие.

Через несколько дней, укрывшись с головой в казенную шубу, Чудновский катил в санях к новому месту назначения. Возвращался в Курган...

Там довольно тепло его встретили товарищи по ссылке, устроили к себе на квартиру, приняли как родного. Если и были какие сомнения в том, что правильно поступил, уехав из «столицы Сибири», теперь они развеялись окончательно. Здесь, стало быть, и будем жить-поживать, сказал себе Соломон. Хватит скитаться, пора где-то осесть.

Да не тут-то было!

Месяц спустя, в марте 1881 года, после покушения на священную особу государя императора Александра Второго, примчались жандармы и, зачитав предписание министра внутренних дел, приказали собраться. Наиболее опасных для престола ссыльных велено было удалить от столицы еще дальше, в Восточную Сибирь. Хотя метать бомбы в царя из Кургана было без того весьма затруднительно. Но... приказ есть приказ.

На сборы дали пару часов. Вечером того же дня Соломон уже ехал по бескрайним сибирским дорогам, держав на коленях скудное свое имущество. В пути останавливались редко, лишь на крупных станциях и в городах.

Проехали заснеженный Томск, покатили дальше.

Достигли Красноярска, подождали с неделю, пока соберется группа арестантов – и двинулись к Енисейску.

* * *

Против ожидания, Енисейск Соломону понравился: основательные каменные постройки, *«приличные магазины и лавки, склады, мощные улицы»*. Еще бы, центр золотопромышленности! Средоточие сибирских капиталов.

Свой брат-ссыльный чувствовал себя здесь довольно неплохо. Местная власть, занимаясь своими делами, почти не обращала внимания на «политических» - живут, ну и пусть живут потихоньку. Что читают, какую литературу, с кем встречаются, что обсуждают – никого тут, по большому счету, не интересовало.

Соломона встретил *«добродушный и щедрый Лев Маркович Зак, старейшина политссыльных Енисейска»*. Ничего, сказал, с чувством пожимая руку, ничего – жить тут можно. И даже, если повезет, найти неплохой заработок. Вот увидите...

Что ж, заработок да, никому не помешает. Только чем, позвольте, заняться: служить возбраняется, преподавать тоже.

Остается одно: взяться за журналистское перо. Благо, опыт имеется – первые заметки вышли десять лет назад, опубликованы были в одной из одесских газет. После участвовал в издании студенческого рукописного журнала. Даже в одесской тюрьме, с разрешения прокурора Судебной палаты, не оставлял публицистики, хотя печатали за его подписью, конечно, далеко не всё.

«В Ялуторовске, Кургане, Тобольске хотя и слабо, но все же грешил корреспонденциями, писал в столичные газеты». Поэтому когда пошли предложения, «с охотой дал согласие», принялся готовить «статистико-экономический очерк о Кургане, составленный на основе личных наблюдений и материалов, собранных другими...»¹⁷.

С предложением обратилось, впрочем, не местное, а томское издание – молодая, но уже достаточно известная «Сибирская газета». Оказаться в числе сотрудников такого яркого просветительского органа почел бы за честь

любой человек. Только газета, имея корреспондентов по всей Сибири, обращалась не к любому. Лишь к некоторым.

Соломон не без удивления узнал, что среди основателей газеты был его старый одесский друг Феликс Волховский. Расстались, казалось, сто лет назад, судьба разбросала «чайковцев» по городам-весям, раскидала, кого куда. А поди ж ты, оказались совсем рядом – по сибирским, конечно же, меркам. Может, доведётся и свидеться.

«В ту пору «Сибирскую газету» знал, вероятно, каждый грамотный человек. Она проникала в самые дальние «медвежьи» углы, рассказывала о сибирских, российских и даже зарубежных событиях. В ней было все – и стихи, и фельетоны, и серьезные статьи, аналитические обзоры и информационные подборки... обозрения иностранные, русские, сибирские, хроника томской жизни...»¹⁸.

Коммерческий интерес ее отцы-основатели не преследовали, о деньгах не думали, но труд ссыльных, *«несмотря на скудный бюджет»*, оплачивали неплохо, по три-пять копеек за строчку, и тираж набрали немалый: одних подписчиков по Сибири имели свыше тысячи человек.

Соломон с жаром принялся за работу.

Просмотрел написанное им о Кургане, добавил новые страницы, отредактировал и направил Волховскому. Очерк без промедления напечатали, похвалили высокий уровень. Выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пробавляться мелкими заметками было, однако, не интересно, а новый серьезный материал в городе, где оказался впервые, написать трудновато.

Помог случай. *«Преподаватель мужской прогимназии некто П-цкий»*, познакомившись с Соломоном, предложил сделку. Объяснил, что *«состоит членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Географического общества»* и по заданию его готовит *«серьезную научную работу»*. Но, будучи занят, рад пригласить к сотрудничеству толкового человека.

Очерк по описанию местного края решили написать сообща: один пусть готовит исторический обзор, другой возьмет на себя географию. За свой труд Соломон должен был получать 30 рублей в месяц, а гонорар по выходу книги условились поделить пополам. Причем скуповатый учитель настоял, чтоб из гонорарной доли Соломона был вычтен аванс, хотя сам исправно получал от «научного общества» необходимые средства.

Чудновский, подумав, согласился.

И дело пошло: давно, ох давно не работал с таким удовольствием! Это не проходные газетные сообщения, не поверхностные заметки досужего наблюдателя – тут огромная, необычайно ответственная социологическая работа. Цифры, таблицы. Точные статистические данные.

Исписанные тетради лежали на столе внушающей уважение стопкой. Обработать материал, тщательно осмыслить – и очерк готов. Какие там сро-

ки – писать заставлял интерес, искренний живой интерес. Ну, а соавтор, увы... тот, со своей стороны, никакого интереса не обнаруживал.

Дела у господина учителя шли, прямо сказать, неважно. Он так же гордо носил пышный титул члена Географического общества, сообщал всем о задании «государственной важности» и доверии, каковое ему, милостивые государи, было оказано. Но ничего из написанного никому не показывал. Соломону тоже.

Всё шло к тому, что работу, в итоге, выполнит ссыльный, а главный соавтор, человек с безупречной политической репутацией, представит её, как собственную. Такой оборот Соломона не устраивал: он потребовал объяснений. И не удовлетворившись ими, разорвал договор. Стал готовить очерк самостоятельно.

В журналах «Устой» и «Русская мысль» тем временем стали появляться его статьи о ссылке, положении приисковых рабочих, нуждах сибирского края. Попутный материал, что попадал в поле зрения при подготовке книги, представлял интерес. Им следовало умно распорядиться.

«В 1884 году, ввиду 300-летнего юбилея завоевания Сибири, Красноярская городская дума объявила конкурс на сочинение по истории Енисейской губернии». К той поре первые главы книги Чудновского уже появились в «Сибирской газеты». И редакция «проводила в Красноярскую думу всю рукопись», а затем «отпечатала её отдельной книжкой в виде бесплатного приложения к газете...»¹⁹.

Для рассмотрения рукописи была создана комиссия из гласных городской думы. Труд показался весомым, обстоятельным и чрезвычайно полезным: книгу Соломона, написанную за три года, красноярцы удостоили денежной премии.

На эти-то средства и была издана книга. Там было всё, что необходимо знать по истории края, его населению и основным местным занятиям. Приводились данные о путях сообщения, школах, больницах, тюрьмах.

Сведения оказались так красноречивы, что объяснений и не требовали. Ученый, занимавшийся чистой статистикой, обошелся б, наверно, без комментариев, но Соломон, оставаясь собой даже в ссылке, не удержался от замечаний. И в безобидной вроде бы книге вывел такое, что не прощалось тогда никому.

«Труд на приисках каторжный, - писал он. – Работа по контракту обязательна с пяти утра до восьми вечера... За утрату и неумышленную порчу чего-либо... рабочие отвечают по цене, назначенной приисковой таксою; за постройку для себя жилища рабочий не получает никакой платы и во время болезни не получает ничего». Положение рабочих, закабаленных сторулевым задатком, «поистине ужасное...»²⁰.

Описывая торговлю, Чудновский не преминул сообщить о *«беззастенчивой спекуляции на хлеб»*, поведал о винокурении, приносящем большие ба-

рыши, и «эксплуатации инородческого населения». Описывая платежи и сборы в казну, делал безошибочный вывод:

«Между платежами крестьянского сословия и торгово-промышленного класса – поразительная разница. Земская реформа, вероятно, хоть сколько-нибудь изменила бы подобное положение...»²¹.

Такую книгу социалисты могли использовать, как пособие для пропаганды опасных престолу идей. Опираясь на статистический сей материал, легко было обосновать нетерпимость существующего положения и закономерность подавляемых правительством выступлений.

Соломон вскрывал корни преступности, обрушивался на систему наказаний. Показывал положение ссыльных, к которым принадлежал сам.

«Ссыльные составляют значительную часть населения Енисейской губернии. Эти отщепенцы российского общества, попадают в Сибирь помимо и против своей воли; новое место и новые люди им ненавистны, ко всему они относятся, как к крагу.

И старожилы платят им тем же. Старожилы всячески преследуют и утесняют поселщика, эксплуатируют его, надувают, а тот при удобном случае бросается в бега – становится бродягой... Статистика давно уже показала, что бедность и нищета – самые важные стимулы к преступлениям, а в Енисейской губернии ссыльных больше, чем в других губерниях Сибири, и там высок уровень преступности...»²².

Простодушные красноярцы, которых увлекла энциклопедическая широта сведений, покорила научно-достоверная картина жизни, потрясла эрудиция автора, не придали значения возмутительным комментариям. Вместо того, чтоб обратиться в жандармское управление, поспешили связаться с редакцией «Сибирской газеты», сотрудником которой был Соломон.

И появилась книга, хорошо встреченная публикой.

В то время, как автор принимал поздравления, его имя всплыло где-то на самом «верху»: судьба уготовила новый переезд. Ещё один пересмотр дела послужил основанием милостивого решения. Соломону дозволили переместиться ближе к столице, переехать в знакомый Ялуторовск. Но, получив предписание, он заупрямился, составил прошение, где привел убедительные, на его взгляд, доводы, позволявшие избежать столь щедрой милости.

С доводами согласились, оставили ссыльного в Енисейске.

На самом деле, обживаться здесь он не собирался, готов был хоть в тот же день собрать пожитки и отправиться, куда дальше. Только не в Ялуторовск. Если уж пребывать в Сибири, лучше б остаток ссылки прожить рядом с Волховским, влиться в коллектив «Сибирской газеты». Но сделать это было не легко: переезд в Томск требовал убедительных мотивов. Так просто, сходу, получить разрешение было невозможно.

И Соломон пошел окольным путем, испросил дозволение на поездку в Томск для лечения глаз. После тусклых казематов Петропавловской крепости и скудной жизни в ссылке зрение, действительно, ослабло, лукавить не

приходилось. Но найти толкового врача в Томске было, наверное, не легче, чем в Енисейске – расчет был на другое: выехав и продлив срок лечения, добиться полного перевода.

Полечить глаза можно, это не возбраняется, махнула рукой власть. Тем более оплачивать поездку ссыльный собирался за свой счет, не за казенный – пускай едет!

Заняв у друзей 25 рублей и получив проходное свидетельство, Соломон вскоре пустился в дорогу. *«На хороших сибирских лошадях, с небольшими остановками в Каинске и Мариинске»*, довольно быстро преодолел восьмисотверстный путь. И на четвертые сутки прибыл в губернский Томск, подкатил на санях к дому Волховского.

* * *

«Ну, что ж, вот наши редакционные хоромы», - Феликс Вадимович сделал широкий жест, приглашая войти.

После кабинетов губернского правления, просторных и неплохо обставленных, где довелось побывать по приезду, «хоромы» выглядели совсем убого. Столы, едва не касаясь боками, завалены были рукописями, на шкафу громоздились подшивки газеты – за два года вышла не одна сотня номеров.

Сам Волховский работал здесь год. Ссылка, лишившая сословных прав, не могла изменить отношения к жизни: потомок гордых шляхтичей даже в крайней нужде ходил с высоко поднятой головой, хранил дворянское достоинство. Однако чего это стоило, знали только друзья: Волховский оказался в ужасном положении.

Поначалу «жил в захолустном городишке Тюкалинске, где похоронил... мать, последовавшую за ним в ссылку. В этой глухой дыре Волховскому приходилось выдерживать упорную борьбу за существование, но... духом не падал; он превратился в маляра, красил полы, писал вывески... словом, не брезговал самым тяжелым трудом... уповая на будущее.

В Тюкалинске сблизился с водворенной туда, ранее его осужденной Александрой Сергеевной Хоржевской. Они полюбили друг друга, стали мужем и женой...»²³.

Но время шло, уповать на будущее становилось труднее: нужда и болезни крепко держали в объятиях. Пробавляясь частными уроками, Александра Сергеевна пыталась бороться с нуждой, скрасить жизнь детей, наладить кое-какой быт. Потом заболела, впала в отчаяние, депрессию и, не видя про света, покончила с собой.

Выстрелила из револьвера в висок.

Хворый, полуоглохший после тюрьмы, поседевший Феликс был тоже близок к отчаянию – на руках остались две дочери. Но они-то, две щебетуны, и вернули его к жизни: судьба их целиком теперь зависела от него одно-

го. Волховский это понимал. И принялся за работу – яростно, иступленно, не жалея сил...

«Да-а, здесь и работаем! – обвел он рукой редакционную комнатку. – Рад видеть тебя, Соломон... Ты и не представляешь, как рад!..».

Волховский выступал театральным обозревателем, писал рецензии, литературные обзоры, аналитические статьи. И язвительные фельетоны, которые читали в городе все, от канцеляристов до первых особ. Подписывал их не без юмора – «Иван Брут».

Другого такого злого пера не было во всей Сибири, фельетонов Брута боялись, как чумы. Ну, а издатель Петр Макушин был доволен: тираж растёт, популярность тоже, чего еще и желать? Даже городской под окнами квартиры, приставленный «*слушать крамольные разговоры*», не особенно тяготил – издательские дела шли, в целом, неплохо.

«Умно щурясь, Макушин при обсуждении очередного номера умолял непреклонного Ивана Брута: «Помилосердствуйте, Феликс Вадимович, ваши фельетоны не в бровь, а в глаз, но уж больно много в них яду. Потихе бы, а? Глядишь, мы с газетой подольше б между Сциллой и Харибдой поплавали. Нынче, перед открытием университета, ловят каждую нашу ошибку. Ну-ка, прихлопнут «Сибирскую газету» – сами же с голоду помрете...».²⁴

«Как же, прихлопнут, – хмыкал Волховский, – это ещё посмотрим...».

Репутацию неблагонадежного издания газета заслужила с первого номера: он вышел аккуратно 1 марта 1881 года, в день «*страшной катастрофы в Петербурге и мучительной кончины императора Александра II*».

Совпадение показалось подозрительным начальнику жандармскому управления полковнику Александрову. Навело даже на мысль «*провести секретное расследование*», дабы узнать, «*не было ли в редакции уговора ознаменовать цареубийство выпуском первого номера*»²⁵.

И хотя расследование, конечно, ничего не дало, подозрения остались, а затем получили-таки богатую пищу.

Губернатор Мерцалов, оказавшись в нелегком положении, смущенно разводил руками: это ведь он, желая прослыть ревнителем просвещения и печати, помог «злomu» изданию. Выступил отцом-благодетелем новой газеты – и её непосредственным цензором.

«Ах, как нехорошо получилось, – переживал Его превосходительство, – нехорошо. Но кто ж знал, господа, кто знал...».

Быстро собравшись, губернатор передал дела управляющему Казенной палатой Гилярову и отправился в поездку – совершать ревизию вверенного ему края. Обязанности цензора «Сибирской газеты» тоже перешли «старому чиновнику», который «*был чужд каких-либо политических стремлений*», не признавал новшеств и полагал, что «*Сибири никакие реформы не только не нужны, но даже вредны*».

Началось противостояние.

Гиляров оказался цензором, каких не видывал свет: вымарывал фразы и целые куски. Каждый номер газеты, от начала до конца, резко исчеркивал красными чернилами, придираясь к безобидным вещам. Редакция убирала «крамольные» заметки и выпускала номер с пробелами, вызывая желчное недовольство цензора.

Конфликт достиг столицы, пошло разбирательство.

И всё же дерзкая газета уцелела, даже не получила, как водится, предупреждения: в защиту ее выступила столичная печать. Это что ж получается, провинциальный сибирский город, где скоро откроется университет, тянется к печатному слову, жаждет увидеть свет просвещения, который вот-вот воссияет над стыллой Сибирью. На газету устраивают гонения!

Огласка, словом, пошла на пользу, томичей оставили в покое. Но только на время...

Обо всем этом, посмеиваясь, поведал Соломону его старый товарищ.

«Теперь видишь, куда ты попал, - заключил Волховский. - Скучать не придётся, уверяю».

Пока пили чай, неспешно беседуя, подошли другие сотрудники.

К тому времени Корш, который вёл «Литературное обозрение», там уже не работал. Зато появились новые перья – Зданович, Иванчин-Писарев, Голубев, Сведенцев, Швецов, Попов, Загибалов. По-прежнему много и дельно писал Адрианов, натуралист и этнограф, блестящий знаток края.

Он же на правах редактора подписывал газету: после Корша оставался в редакции самой авторитетной фигурой. Не считая Волховского.

«Корш – человек, бесспорно, умный и талантливый, с громадной трудоспособностью, стал жертвой своей беспринципности и бесхарактерности, и будучи адвокатом, очутился в Томске как уголовный ссыльный. Сначала примкнул к «Сибирской газете». Потом разошелся по коренному вопросу – о роли уголовной ссылки и ее значении для Сибири...»²⁶.

А ссыльных в Томске, Соломон убедился, было немало – всяких, и уголовных, и политических. Были такие известные, как князь Александр Кропоткин или Болеслав Шостакович, и менее известные, как Степан Мокиевский-Зубок или Максимилиан Мороз.

После Енисейска, где ссыльные тихо-спокойно занимались своими делами, Томск выглядел чуть не центром общественной жизни Сибири. И не только благодаря строившемуся университету. Здесь были свои просветители, вроде Макушина, останавливались писатели, вроде Короленко, трудились столпы областничества – Потанин и Ядринцев.

«Политические в Томске, - вспоминал потом Соломон, - не чуждались местного общества, принимали участие в местной культурной работе. Почти все были членами томского Общества попечения о начальном образовании, учрежденного по инициативе

Петра Макушина», пока губернатор «по требованию жандармского начальства» не настоял, чтоб их исключили...²⁷

Осмотревшись, Соломон решил, что здесь, точно, стоит осесть. И принялся хлопотать о переводе, не оставляя газетной работы.

«Специального передовика в газете не было, - писал о выборе темы. - А между тем чувствовалась потребность в разработке вопросов социально-экономического характера. Тогда как раз ставилось на очередь усовершенствование путей сообщения в Сибири, улучшение судоходства, развитие её торговли и промышленности... И я всецело отдал себя этому делу, стал членом тесного редакционного кружка...»²⁸.

Соломон сошелся со многими ссыльными – особо приятельские отношения свел с князем Кропоткиным.

В Сибирь князь попал, как враг престола, хотя подрывать основы его не старался, в тайные организации не входил и политикой интересовался не больше других. Называя себя «кабинетным» революционером, готовился проявить свои дарования на ином поприще: увлекался философией, астрономией, переписывался с европейскими учеными.

Братья Кропоткины принадлежали к старинному дворянскому роду, были потомками князей Рюриковичей. Очень гордились знаменитым смоленским князем Ростиславом Удалым, другими известными прадедами. Ну, а по материнской линии вели род от запорожских гетманов, унаследовав дух непокорства и вольнолюбия.

Эти-то качества и дали о себе знать, приведя старшего в сибирскую ссылку, а младшего, знаменитого теоретика анархизма Петра Кропоткина, – в эмиграцию.

Александр Алексеевич «был своеобразный и оригинальный человек. По убеждениям... безусловный демократ, но в то же время... проникнут был сознанием своей родovitости... В обращении с местными властями бывал всегда крайне резок и неуступчив... а в отношении к колонии политических ссыльных князь Кропоткин был прекрасный товарищ, сохраняя всегда и всюду образцовое джентльменство...»²⁹.

Срок ссылки князя подходил к концу, а настроение, меж тем, становилось мрачнее. Состояние таяло, пришлось продать землю в Тамбовской губернии, чтоб рассчитаться с догами. Положение, впрочем, это не спасло – долги нарастали. Князь понимал, что пером ему зарабатывать на жизнь, как должно, не позволят, а ничего другого он не умел.

В зрелые годы *«впервые в жизни задумался, как ему жить и чем содержать семью»*³⁰. Стал раздраженным, мнительным, растерял жизнелюбие, которое одно и спасало. Соломон, как мог, утешал и поддерживал друга: тот был одним из одаренных, образованных людей своего времени. Перед ним открывалось блестящее будущее, он мог стать ученым, философом, живописцем.

А влачил свои дни в провинциальном городишке, где и оценить по достоинству его мало кто мог. Разве что ссыльные – такие ж, как он сам, да... господин губернатор. Ссыльных привлекали достоинства князя, его ум. Начальника края – титул.

Господин Красовский принял управление краем месяца через три после приезда Соломона. И сразу, с первых дней, заявил о своей значимости. После молебна в часовне Иверской Божьей матери, с чего начинал тут правление каждый наместник, Красовский собрал именитых людей города и произнес речь:

«От меня, господа, вы в праве ожидать более, нежели от других губернаторов, потому что в Москве я служил под началом градоправителя князя Владимира Андреевича Долгорукова... И я приложу все силы» к установлению законности и порядка, «начинаю дело с желанием добра и справедливости...»³¹.

Дело, как вскоре выяснилось, заботило наместника меньше всего. Куда важнее было участие в нем его, начальника края, – безусловно, самого умного, деятельного, просвещенного администратора за всю историю Томска. Искренне веря в свое превосходство, он старался внушить эту мысль окружающим.

Безмерное честолюбие не давало покоя Красовскому. Роль крупного деятеля, попавшего волею судеб в захолустный Томск, заставляла искать почтения в глазах ярких, незаурядных личностей. Не избежал сего «отеческого» внимания князь Кропоткин, ощутили особое «покровительство» губернатора и сотрудники «Сибирской газеты».

А Соломона наместник царя обхаживал больше других: ну, как же, автор известных статей, имеет в столичных кругах связи – иначе как публиковался бы в крупных журналах? Пусть же поведаст миру, что в одном отдаленнейшем крае начальствует столь добродетельный муж. Пусть расскажет о его, члена правительства, заслугах! – «этим «представительством» Красовский очень гордился и всюду его афишировал».

Соломон эти намеки понимал, старался как можно реже показываться на глаза губернатора. И все ж избежать неприятной ситуации не удалось.

* * *

Весной 1884 года Соломон стал готовиться к поездке на Алтай: Географическое общество попросило изучить переселенческое дело.

Обращаться к ссыльному было, конечно, не вполне уместно, но это обстоятельство «ученое общество», похоже, не очень смущало. Что делать, если никому другому предоставить столь ответственное поручение тут решительно невозможно.

Губернатор тоже, со своей стороны, не выразил удивления. Принял Соломона приветливо, вручил разрешение и даже снабдил письмом, кое предписывало оказывать всякое содействие в исполнении важного дела. Пожелал счастливой дороги.

А через несколько дней нагнал Соломона в Бийске, где тот собирал кое-какие сведения об Алтайском горном округе. С большой свитой чиновников Его превосходительство отправился делать ревизию края и, остановившись в особняке, прислал приглашение Соломону.

«С пафосом рассказал, как его любит всё население, как запросто и доверчиво к нему являются крестьяне и мещане со всевозможными просьбами и жалобами, как все благодарят за справедливое отеческое отношение». И тут же «предложил поехать с ним на пограничный с Монголией пункт, где находилась резиденция духовной миссии...»³².

Делать нечего, пришлось согласиться.

Там Соломон пробыл, однако, всего сутки, больше не позволяло время. Любезно откланявшись, сел в кибитку и поехал по собственному, не терпящему отлагательства делу, никуда уж в пути не сворачивая.

И вот Алтай: проступающие из дымки снеговые вершины, живописные предгорья, непокорные бурные реки. Поистине, райское место! Земля плодородна, природа щедра, всякой живности, домашней и дикой, не счесть. И просторы – такие просторы, что поёт, честное слово, душа.

Живи в свое удовольствие, вдали от властей, заводи хозяйство да радуйся жизни. Недаром устремились сюда крестьяне – тамбовцы, рязанцы, воронежцы, пермяки, вятчи... Кого тут только нет! Всем вроде хватает земли, у каждого свой надел. Есть очень богатые хозяева, и немало. Есть крепкие, успешные общины. И все, надо думать, довольны судьбой.

Таким представлялся Алтай – пока не узнал его ближе.

Обследовать весь горный округ, да еще будучи ссыльным, было делом немислимым. Соломон выбрал две волости, Смоленскую и Змеиногорскую, где было много горнозаводских и крестьянских селений. Ходил по дворам, интересовался жизнью, делал подробные записи. Встречался с чиновниками горного правления, волостными начальниками. Беседовал с учителями и сельскими врачами.

Раньше думал, что ехать сюда заставляла лишь крайняя нужда. Оказалось, нет: среди переселенцев, увидел, *«преобладают все-таки люди со средним достатком»*³³. Но положение их было далеко не безрадостным. И недовольные старожилы относились к пришлым враждебно, и недостаток разумных законов мешал прочно вжиться. Так что иные, помывавшись, уезжали обратно – возвращались из благодатного края в скудные землю места.

Соломон, как всякий народник, идеализировал сельскую общину. И когда взгляды его вступили в противоречие с фактами, он описал всё, как есть. Книжные схемы не годились для осмысления увиденного, настоящая карти-

на мало увязывалась с прежними представлениями. И Соломон, как честный исследователь, с ними расстался. Отметил, что и на Алтае *«личность преобладает над миром, а частный интерес над общественным»*, что *«крестьянская община разъедена и продолжает разъедаться всевозможными враждебными влияниями»*.

Работа выходила вполне объективной: Соломон *«блестяще справился с задачей»*³⁴. И губернатор Красовский, когда встретились, милостиво соизволил одобрить, обещав содействие в новой поездке, которую исследователь наметил через полгода.

Его превосходительство «подробно расспрашивал о деятельности администраторов Бийского округа и, узнав о неблагоприятных поступках по отношению к крестьянскому населению одного станowego пристава, распорядился в тот же день об удалении его со службы...»³⁵.

Красовский рассчитывал, что теперь-то, уж точно, господин журналист покажет его административное рвение в столичном издании. Но время шло, а ничего о его важной персоне не публиковалось – «ни в Русских ведомостях», ни даже в «Сибирской газете». И губернатор стал держать себя суше: Соломон его надежд не оправдал.

Как и другой публицист, редактор столичного «Дела», попавший сюда после заключения в Петропавловской крепости. Жарким июльским днем 1885 года Станюкович прибыл с женой и детьми, поселившись в гостинице «Россия», а затем снял *«небольшой домик с садом в страшном захолустье на Юрточной горе»*.

Город ему не понравился: «раздражали невыносимая жара, пыль и «ужасная грязь»... Но постепенно впечатление от Томска изменилось... Томск развивался как торговый центр, перевалочная база транзитных грузов, готовился стать университетским городом...»³⁶.

На местную печать Станюкович, которого с увлечением читала вся Россия, смотрел свысока, почти не скрывая пренебрежения. Однако предложение о сотрудничестве, с которым обратился Волховский, принял не без удовольствия: *«как человек, привыкший к более-менее широкой жизни»*, он постоянно *«нуждался в средствах»*.

Хотя жена его «вскоре по прибытии в Томск получила хорошо оплачиваемые уроки по музыке, Константин Михайлович, - указал в воспоминаниях Соломон, - весьма охотно запродавал нашей бедной газете задуманный роман за 400 рублей, с условием оплаты вперед всей суммы и обязательством доставлять к каждому номеру по небольшой главке в течение чуть ли не целого года...»³⁷.

Условия были обременительны. Такого исключительного положения не оговаривал никто, а в газете сотрудничали, между прочим, известные писа-

тели – Короленко и Мамин-Сибиряк. Очерки и эссе давали Мачтет, Наумов, Федоров-Омулевский, печатался здесь Ядринцев, публицист со всероссийским именем. И все же редакция заключила договор со Станюковичем: уж очень хотелось предоставить читателю хороший роман «о местной жизни».

Но понятие «хороший» допускало, оказывается, разные толкования: такую литературную стряпню, какой бывший редактор «Дела» потчевал сибиряков, невозможно было увидеть ни в каком другом издании. Вещь была настолько слабая, что даже в «захолустной провинции» мало годилась.

«Раза два случалось, что рыжеволосый персонаж оказывался в другой главе броне-том, или персонаж, фигурировавший под одним именем, появлялся с другим. С этим нужно было считаться и тщательно просматривать рукопись... Предварительного плана для романа Константин Михайлович себе не составил, он писал одновременно несколько романов, а к тому же редкий вечер не проводил в обществе за винтом, к которому питал большую слабость...»³⁸.

Тягостную обязанность читать рукопись редакция поручила Соломону.

В конце недели, пятничным утром, он являлся к писателю за новой «бессмертной» главкой. Тот, безмятежно улыбаясь, разводил руками. Соломон принимался настаивать, говорил о читателе, до которого романисту, похоже, не было дела. И в конце концов, устраивался в кресле с твердым намерением получить требуемую часть повествования.

Станюкович вздыхал, усаживался за письменный стол и наскоро, как ловкий портной, «сшивал» убористым почерком один лист с другим. Потом откладывал перо с видом славно потрудившегося человека, покладисто делал исправления, если Соломон здесь же, при нем, находил явные ляпы. И провожал незваного гостя до порога, чтоб прийти наконец в себя после вчерашнего бурного вечера да взяться за настоящую литературу.

А Соломон спешил в типографию, следил за набором и нёс, ближе к вечеру, свежие гранки господину цензору. На Станюковича он не был в обиде: таланту, считал, нужно прощать его слабости. Хотя плохо понимал, как талантливый человек может делать такое, что не дозволялось литературным ремесленникам, к которым причислял и себя. К работе над словом подходил он крайне серьезно, был к себе требователен, выверял свои рукописи с особым старанием.

Новая поездка на Алтай дала обширнейший материал, Соломон работал с подъемом: готовил очерк о поземельной сельской общине. Использовал архивный материал, добытый в волосных правлениях, и записи бесед с местными жителями. Приводил статистические данные, подтверждая каждый свой довод, каждое умозаключение подробными общими сведениями.

Интересовало его решительно всё: земельные споры и переделы покосов. Сельские порядки и условия быта. Из записей выходило, что крестьяне, принимая ссыльного за облеченного властью чиновника, искали у него за-

щиты. Хотя, заслышав имя, иные теряли к нему и почтительность, и интерес: с таким, дескать, именем и о себе позаботиться мудрено.

Тоже, скажите на милость, защитник: Соломон.

«Общий итог моих наблюдений и исследований, - писал Соломон в конце очерка, - тот, что в значительной части Алтайского горного округа община типа «права первого завладения» должна в близком будущем замениться общиной великороссийского типа... И замена эта совершится в силу внутренней, логической необходимости, в силу общей эволюции...»³⁹.

К такому же выводу приходил и внимательный читатель, изучив приводимые сведения. На другого читателя Соломон, впрочем, не рассчитывал.

Но особую известность принес ему следующий очерк, о народном быте алтайцев: после князя Кострова, первого сибирского этнографа, за подобную тему не отваживался взяться никто. Обстоятельство это известно было немногим: удивлялись тому, что исследование взял за себя человек, который по-прежнему находится под надзором полиции.

Да еще потерял расположение губернатора...

Соломон, впрямь, сделал невозможное. Он получил доступ к решениям волостных и третейских судов всего горного округа, записал рассказы старожилов. И собрал по Алтаю такой богатейший материал, какого ни у кого ещё не было. Работу признали классической все, кто занимался сибирским сельским бытом, и строилась она по классическому образцу: гражданское право, семейные отношения, опека. Наследственное право и уголовные преступления.

Общие понятия о законе и законности, доказывал Соломон, не годятся для понимания народной жизни. «В обычной жизни, русский крестьянин, где бы ни жил, руководствуется своим неписаным законом, выработанным жизнью, и установившимися юридическими воззрениями и обычаями...»⁴⁰.

Спустя десять лет, когда Соломон вернулся в Одессу, труд его получил широкую известность. Петербургский журнал «Русское богатство» публиковал очерк на протяжении трех месяцев. Эта работа вместе с очерками о переселенцах, раскольниках, ссыльных, поземельной общине и волостном суде на Алтае давала самое полное представление о жизни обширного округа, занимавшего чуть ли не половину Томской губернии.

По этим работам, достоверным и основательным, можно было изучать все стороны жизни Алтая. Кто еще мог похвастать таким результатом?.. Но отдельные фрагменты исследования, которые появлялись на страницах «Сибирской газеты», не давали о нем представления. Ведь то был не роман, где главный герой легко менял свое имя. То был серьезный научный труд, итог кропотливых исследований.

Оценить по достоинству очерки Соломона в Томске тогда было некому. Заговорили о них спустя много лет, когда университетские ученые взялись за основательное изучение края. Автор очерков, Соломон Чудновский, покинувший Томск за два года до открытия университета, доживал ту пору свои дни далеко от Сибири.

Старый, усталый, больной...



ПОРТРЕТ ПУБЛИЦИСТА: БЕЙЛИН

Михаил Бейлин...

Когда-то это имя знали во всей Сибири: адвокат и редактор Бейлин.

Незаурядный публицист, политик либерального толка, просветитель. Он «сделал себя сам», добился известности и общественного положения благодаря своим способностям и уму. Он воплотил в себе черты того дерзкого и образованного поколения молодых евреев, которые впитали идеи «Гаскалы», отстаивали необходимость политической эмансипации евреев. Но не порывали со своей средой, а выступали от ее имени.

Одних этот путь приводил к политической борьбе, участию в рабочем движении. Других вовлек в ряды убежденных сионистов. Третьих заставил действовать для обновления и развития самого человека, пытаться изменить сознание поверивших в себя, свои силы «униженных и оскорбленных».

В осуществлении последней, едва ли не самой трудной задачи, мало кто из томичей тогда продвинулся так далеко, как Бейлин.

Он возглавил томское отделение Общества распространения просвещения между евреями. Он больше, чем кто-либо из еврейской общины, открыто и последовательно выступал в прогрессивной сибирской печати, сделав Слово главным своим разящим оружием. И он же стал воплощением мятущегося, рефлексирующего и в то же время деятельного представителя национального крыла конституционных демократов.

Увы, типичной стала и трагическая его участь: ни при старом, монархическом строе, ни при новой, советской власти такие люди не переставали испытывать удары судьбы.

* * *

Хаим-Яков Бейлин родился в 1874 году, происходил из состоятельной семьи торговца, владельца магазина ювелирных изделий.

Детские годы его прошли в доме на «знатной» Почтамтской улице, где обитали томские тузы, именитые купцы. Однако интерес к коммерческому делу у него не появился. Напротив, возникло желание стать правоведом и защищать интересы тех, кто стоял на другом краю социальной лестницы. Правда, к этому Бейлин пришел не сразу – вначале готовился стать врачом.

Окончив курс наук в классической гимназии и получив от купеческого старосты Ивана Сычева *«увольнительное свидетельство»*, Хаим Бейлин поступает в Томский Императорский университет¹. А следующей весной, на исходе первого года обучения, пишет прошение университетскому инспектору. *«Не чувствуя склонности к изучению медицинских наук»*, просит перевести его на юридический факультет. Причем собирается продолжить образование в Казани, не объясняя причин.

Ожидание тянется несколько месяцев.

В конце лета приходит наконец бумага: правление Казанского университета извещает, что *«за неимением вакансий для лиц иудейского вероисповедания г-н Бейлин не может быть принят в число студентов»*².

Что интересно, в эту же пору другой Бейлин, однофамилец из Царицына обращается к Министру народного просвещения с просьбой принять в число слушателей Томского университета для получения степени провизора. И тоже получает отказ. Но аптекарский помощник Лейзер Бейлин проявляет настойчивость и добивается своего, становится *«кандидатом в число посторонних слушателей университета»*³. А томский Бейлин продолжает учить медицину, посещает лекции по анатомии, химии и ботанике.

Затем хлопочет об отпуске, едет в Казань, к знакомому студенту Ольшевскому, и в Москву, по коммерческим делам отца. В конце 1894 года пишет ректору Томского университета и просит *«уволить его... вследствие осложнения в семейных делах»*⁴.

Никаких подробностей он не приводит, но можно понять, что причиной ухода из университета стала, по всей вероятности, болезнь отца и необходимость взять на себя обязанности по торговым делам. Тем не менее, спустя время, Хаим Бейлин вновь поступает в университет, получает юридическое образование и начинает работать помощником присяжного поверенного.

В 1903 году имя Михаила Рафаиловича впервые появляется в справочном издании Гурьева⁵, что говорит о прочной профессиональной репутации. Но порадоваться сему обстоятельству отцу уж не довелось: в феврале того года купца второй гильдии Рафаила Бейлина не стало⁶. Ушел из жизни один из членов попечительного совета Томского еврейского училища, известный своей щедростью *«деятель на ниве народного образования»*.

Сын тоже понимал важность просвещения, стремился оказывать в деле его распространения посильную помощь. Разница была лишь в том, что

Бейлин-старший заботился исключительно об еврейском училище, а Михаил Рафаилович, занимаясь просветительством, не делал особых различий.

Да и не он один. Точно так же понимали просветительство учительница еврейской школы Анна Цейтлин и выпускница Московской драматической школы Лидия Арех, дочь томского раввина Левина. Обе, как Бейлин, участвовали в народных чтениях, которые устраивало Общество попечения о начальном образовании⁷, выступали не только перед еврейской аудиторией.

Но что интересно: устраивая чтения, посвященные еврейским праздникам, молодые просветители и тут стремились как можно больше *«поднимать дух массы»*, влиять на самосознание общины. Полагали нужным выйти за рамки предписанного традицией понимания для достижения социальных целей.

Вот, к примеру, программа литературно-музыкального вечера, которую Бейлин, в соответствии с предписанием, подал в канцелярию попечителя Западно-Сибирского учебного округа.

Вечер был приурочен к празднованию Хануки, в программу входило три отделения.

«1) ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: очерк истории еврейского народа... где автор подробно останавливается на эпохе Маккавеев, рассказ ведется в эпическом тоне;

2) «Дедушкины сказки» - изложение в форме рассказа дедушки внучатам о несчастной исторической судьбе евреев и гонении на них со стороны христиан. Содержит немало горьких истин по адресу народов, гнавших евреев;

3) ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: речь раввина, выясняющая историю и значению праздника Ханука...».

Примечание цензора: *«Допустима к публичному произношению»*.

«4) Стихотворение «В синагоге», где возносится молитва об освобождении евреев от томительного гнета мучительного рабства...».

В этом месте попечитель округа насторожился и сделал приписку: *«Так как мучительному рабству в России евреи не подвергаются, полагаю, что публичное произношение такого стихотворения вовсе не желательно»*.

«5) ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ: «Иегуда бен Галеви» – стихотворение Гейне, содержащее данные из биографии еврейского поэта...».

Вывод цензора: *«Ничего неудобного для публичного прочтения не содержит»*.

«6) Рассказ польской писательницы Марии Конопницкой, рисующий тип старого честного еврея-труженика, которому случившийся в том городе еврейский погром наносит сердечную рану...».

Сей номер программы, *«вызывающий сочувствие к честному труженику»*, возражения почему-то тоже не вызвал: начальственное мнение было таково: рассказ *«никаких неудобств к прочтению не представляет»*.

«7) речь раввина Минора, призывающая евреев к самопожертвованию и единению». Речь *«вполне допустима к публичному чтению...»*⁸.

Дальше говорилось, что *«прочие номера программы представляют собой музыку и пение»* – и тоже разрешаются к прослушиванию.

Утверждать имена тех, кому надлежало выступить перед публикой, входило в обязанность директора народных училищ Щепкина. Больше его заботило, конечно, содержание выступлений: к участию в чтениях допускали всех, кто считал нужным содействовать развитию народного образования.

И все-таки один человек, Михаил Бейлин, «выпадал» из списка не раз. По мнению департамента полиции, который вмешивался в дела просветительского Общества, разрешить ему заниматься означенной деятельностью *«представлялось нежелательным...»*⁹.

В число политически неблагонадежных Бейлин попал как член Томского отделения партии кадетов. И как публицист, выступавший против беззакония и деспотизма. Он писал о нарушении прав рабочих, ограничении гражданских свобод. Показывал университетскую жизнь, городское самоуправление.

Бейлин подходил к публицистике, как юрист, – упорно, со знанием дела развивая мысль о несовершенстве законодательной системы.

В статье о золотых приисках Сибири исследовал условия жизни промышленных рабочих, показал характер закабаления, особенности индивидуального и артельного труда. Доказал, что существующий порядок вещей обеспечивает *«громадную выгоду золотопромышленнику»*, дает весомую прибыль казне, помогает наживаться торговцам, но невыгоден рабочим.

Хотя, во многом, они сами способствуют *«артельному закабалению»* и нарушению прав, безропотно соглашаясь на предложения хозяина прииска, который, как паук, *«ловко плетет паутину, где беспомощно бьются сотни измученных молодых жизней...»*¹⁰.

* * *

Чаще всего печатные работы Бейлина появлялись на страницах самого прогрессивного томского издания, газеты «Сибирская жизнь».

В конце 1905 года под давлением черносотенцев Петр Макушин, известный просветитель и владелец газеты, решает продать типографию. И уступает издание «Жизни» группе томских профессоров, разделявших взгляды кадетов. На либеральную прессу обрушиваются гонения со стороны властей

и цензурного комитета. Но именно в эту пору в Томске появляется новое издание демократического направления – газета «Сибирская мысль».

Ее издателем и редактором выступает Михаил Бейлин.

Первый номер газеты вышел в октябре 1906 года. Купить ее можно было в редакции – дом купца Некрасова на углу Почтамтской и Набережной Ушайки, и в книжном магазине Макушина.

Связь с бывшим макушинским изданием подчеркивается постоянно: его подписчики первые три недели получают «Сибирскую мысль» бесплатно. А когда «за вредное направление» самая массовая газета «Сибирская жизнь» временно прекращает издаваться, подписчикам вновь предлагают вместо нее родственное по духу издание Бейлина, который выступил одним из соучредителей «Сибирской жизни».

Так осуществляется преемственность: Бейлин выступает последователем крупнейшего сибирского просветителя Макушина.

«Сибирская мысль» пишет о положении в университетах. Выступает в защиту прав рабочих. Печатает циркуляры правительства и «разъяснения» Сената, которые носят охранительный или антинародный характер. Ужесточение требований цензуры, связанное с наступлением на свободу слова, делает невозможным открытое выражение либеральных взглядов. Но газета, следуя названию, показывает себя мыслящим органом. Находит способ доводить до читателя мнения по важнейшим вопросам.

При этом «еврейская» тема неплохо вписывается в общий контекст издания – уже в силу того, что возрождение национального самосознания, сохранение народных традиций, обеспечение гражданского равенства волнуют и представителей кадетской партии, к которой относится Бейлин.

Из номера в номер газета пишет о черносотенном движении – в виде заметок об очередном собрании «истинно русских людей», сообщений о новых шагах «народной» партии, ироничных реплик.

«Союзу русского народа не везет. В печати то и дело появляются неприятные для него известия», - сокрушается газета. И сообщает о том, что известный в Кишиневе черносотенец Крушеван все-таки угодил в тюрьму за клевету, а в Тульском отделении Союза начался раскол после того, как его председателя обвинили в растрате партийных денег¹¹.

В условиях, когда цензура, ограждая от нападок православную церковь, преследовала малейшую критику в адрес «основы престола», требовалась решимость, чтобы дать, скажем, отчет о заседании Синода, где архипастыри высказывались в поддержку черносотенцев¹².

Появлялись на страницах газеты и заметки о самой еврейской общине: уведомления о предстоящем собрании Духовного правления, заметки о последствиях погрома, реплики о концертах в пользу еврейского училища¹³. А вся первая полоса первого номера газеты намеренно или случайно оказалась заполнена «еврейскими» объявлениями: медицинские услуги рекламировали

врачи Гутман, Вендер, Зундалевич, Янкелевич, Завадовский и зубо-врачебная школа Каменецкого.

Дальше, впрочем, такая особенность уже не наблюдалась. Да и реклама постепенно стала сходиться с первой страницы издания, что говорило в пользу его окрепшего финансового состояния.

Газета обрела неповторимое лицо и звучание. В ней можно было найти имена известных общественных деятелей – таких, как Потанин. Рассказы писателей, не скрывавших демократических взглядов – таких, как Вяткин.

Некоторые же статьи, судя по стилю, писал сам редактор. Политические его убеждения «прочитывались» в заметках программного характера. Бейлин не призывал, как эсеры, к террору. Не убеждал, как большевики, в необходимости вооруженного восстания. Он верил в мирный путь преобразований и, как большинство кадет, связывал надежды с «духовной мощью интеллигенции», «прочным слиянием с массой», которую надо воспитывать и просвещать¹⁴.

Верил, что с помощью Думы, законным путем, можно добиться перемен: «думская» тема не сходила со страниц газеты.

Бейлин показал себя хорошим редактором. Тем не менее, ответственность за содержательную сторону издания спустя время передал профессору Обручеву, а сам стал довольствоваться ролью издателя. С 37-го номера «Сибирская мысль» выходит за редакторской подписью основателя томской геологической школы, одного из крупных сибирских ученых. Но сохраняет прежний облик, тематику, стиль.

Видимо, частная юридическая практика, которой продолжал заниматься Бейлин, не оставляла большой возможности для газетной работы. И оказавшись перед выбором, он сделал его в пользу основной профессии. Не исключено, что отказаться от редактирования был вынужден из-за коммерческих дел, которые после смерти отца легли на плечи матери Бейлы и требовали некоторого его участия.

В то же время Бейлин продолжает участвовать в жизни еврейской общины. Выступает с докладами, организует вместе с другими вечера и концерты в пользу еврейского училища.

Когда в Томске создано отделение Союза для достижения полноправия российских евреев, Бейлин оказался среди его участников. Цели организации не противоречили его убеждениям, напротив, совпадали с тем, к чему призывал многие годы.

Бейлин становится заметной фигурой в еврейской общине города.

Под его председательством проходят «собрания еврейского общества»¹⁵. Он участвует в благотворительных вечерах и чтениях. Хлопочет об открытии местного отделения Петербургского Общества по распространению просвещения между евреями России, которое пользовалось жертвованиями томичей...

* * *

Разрешение на открытие, по-видимому, первого в Сибири еврейского просветительского Общества от губернатора Гондатти было получено. И в конце января 1910 года прошли выборы комитета¹⁶.

Председателем избрали присяжного поверенного Бейлина. Членами комитета стали врач Фуксман, зубной врач Лурия, помощник присяжного поверенного Левин и другой Левин – купец. Действительные члены комитета вносили по 25 рублей ежегодно, взнос членов-соревнователей Общества составлял 3 рубля. Прочие «сотрудники» платили по 50 копеек.

На деньги, собранные от взносов, пожертвований и благотворительных вечеров *«приобретали пособия учащимся и педагогическое оборудование»*¹⁷. В согласии с программой Петербургского общества, поддерживали еврейское училище и образцовый еврейский хедер. Но в столице, кроме того, существовало Еврейское историко-этнографическое общество, там действовали Общество еврейской народной музыки, еврейское Общество поощрения художников. В Томске же все направления охватывало одно Бейлинское Общество.

Правда, следом открылось еще и Еврейское литературное общество, возглавил которое купец Быховский, но просветительская организация, руководимая Бейлиным, ставила задачи более широкие.

Детище барона Гинзбурга, основателя столичного просветительского Общества, нашло у томичей поддержку. Местные пресса давала сведения о собраниях и благотворительных вечерах еврейских просветителей. На цели Общества, не скупясь, жертвовали деньги купцы Фуксман и Хейсин. При Обществе возник дамский кружок, который помогал укреплять материальную базу учебных заведений и проводить вечера.

Члены Общества читали лекции, посвященные еврейским праздникам, истории еврейского народа, особенностям существующих в иудаизме течений. Обсуждали такие волнующие темы, как культурное воспитание евреев диаспоры.

Руководил же всей этой работой Бейлин: председателем Общества он оставался на протяжении двух лет, до сентября 1912 года – затем Общество возглавил Каменецкий. Но и после переизбрания неизменно входил в состав комитета, а в 1916 году встал во главе Общества снова.

*«Общество существует несколько лет и очень популярно, - писала газета «Утро Сибири». – Его цели: открытие для евреев учебных заведений, курсов, библиотек, устройство культурно-просветительских мероприятий (чтений, бесед), содействие развитию литературы, искусства, помощь нуждающимся учителям и учащимся...»*¹⁸.

В мае 1914 года при содействии Общества была открыта первая в Сибири еврейская библиотека-читальня. За год ее книжный фонд возрос до ты-

сячи с лишним изданий, а число абонентов приблизилось к полусотне. В 1915 году на содержание детской загородной колонии в поселке Степановка Общество внесло 655 рублей¹⁹.

Деятельность литературного Общества вскоре прекратилась, а популярность просветительского только возрастала. Теперь уже там проводили литературные вечера, обсуждали поэзию Бялика, читали Шолом-Алейхема, чествовали еврейского бытописателя Абрамовича. Там же устраивали концерты и ставили драматические постановки. Изучали философские идеи Маймонида.

«Еще недавно занятая удовлетворением религиозных потребностей и благотворительностью еврейская община вступила на путь широкой культурно-просветительской деятельности, - сообщала «Сибирская жизнь». - В настоящее время Томское отделение ОПЕ содержит второе еврейское училище, библиотеку, оказывает помощь учащимся-евреям... еженедельно проводит собеседования общества. На днях открылось Общество ремесленного труда... В целях объединения деятельности всех еврейских организаций в Томске местной еврейской интеллигенцией решено организовать еврейский Народный дом...»²⁰.

Михаил Рафаилович был из тех, кто поддержал открытие первых в Сибири Высших женских курсов.

Директором курсов назначен был профессор Вейнберг, который провозглашал равный доступ к образованию. Так среди слушательниц математического и естественного отделения курсов оказались Вера Каминер, Елена Гершкопф, Ревекка Гильман, Сара Шур, Александра Берлин, Шейна Файбушевич, Лия Штамова, Малка Юдалевич, Мария Фейцер, Ольга Цам, другие «лица иудейского вероисповедания» из городов Сибири и Дальнего Востока²¹.

В числе прочих либералов Бейлин отстаивал их право на образование, используя страницы самой популярной в Томске газеты «Сибирская жизнь».

* * *

С ней теперь целиком связана деятельность Бейлина. Всё больше времени отдает он редактированию и издательскому делу. Его квартира в доме на улице Дворянской, 24, становится одним из редакционных кабинетов.

Газета не вытесняет адвокатскую практику, Бейлин по-прежнему участвует в процессах, по мере возможности защищает в суде права обиженных. И делает это профессионально, хотя такой известности, как Рафаил Вейсман, заложивший правовые основы сибирского областничества, или Петр Вологодский, который выступал на процессе по делу о еврейском погроме, Бейлин не имел.

Но не потому, что в зале судебных заседаний пользовался словом хуже, чем в печатном издании. Бейлин понимал, что единичные оправдательные

приговоры, хоть и важны для торжества справедливости, едва ли превосходят по значимости воздействие на сотни, тысячи человек – тираж «Сибирской жизни» доходил до 10 тысяч экземпляров.

Но с газетой, так уж вышло, оказались связаны два скандальных случая, когда именно он, Михаил Бейлин, испытал несправедливость.

В апреле 1912 года газета поместила безобидную заметку о нравах юрьевских студентов. Томские студенты-технологи сочли себя оскорбленными, явились в редакцию газеты, подняли шум. И один «представитель академистов», самый вздорный, в качестве аргумента прибегнул к трости.

Многие возмутились, порицали «академистов» и выражали Бейлину соболезнование. А профессор Карташов, директор Технологического института, написал следующее:

«Выражая сожаление по поводу случившегося, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, уведомить меня, предполагаете ли Вы привлечь студента Голубева к судебной ответственности». И добавил, что распорядился начать собственное «расследование указанного происшествия на предмет предания г. Голубева профессорскому дисциплинарному суду...»²².

Оставить безнаказанным посягательство на честь, значило оскорбить всю томскую адвокатуру. К тому же Бейлин дорожил репутацией опытного присяжного поверенного, чтоб отказаться защитить самого себя.

Суд состоялся, порок был наказан, справедливость восторжествовала.

Но вскоре Бейлину пришлось защищать себя снова, и вновь в непосредственной связи с газетой. В 1913 году профессор Новомбергский обвинил его в том, что он использует «Сибирскую жизнь» в качестве саморекламы. А попутно высказал подозрения в корыстном интересе Бейлина, который поддерживал Техничко-промышленное бюро, много сделавшее для развития городского освещения и благоустройства.

Для чего понадобилось порочить Бейлина, сказать трудно. Но то, что дело выходило за рамки личных отношений, не подлежало сомнению. Новая статья носила откровенно оскорбительный характер. Бейлин подал в суд и взялся защищать свое честное имя.

Суд, признав профессора виновным, подверг аресту на полтора месяца.

В истории российской журналистики вряд ли найдется другой такой случай, чтоб адвокат, выступая одновременно, как публицист, защищал себя и других в зале суда и в печати. Бейлину это удавалось. Он знал вес публичного слова, понимал его значение и пользовался словом мастерски.

Люди, которые делали это еще лучше, талантливые поэты и писатели, вызывали у него бесконечное уважение. С некоторыми из них Бейлин был хорошо знаком: переписывался с Георгием Гребенщиковым, которого высоко ценил Горький. Поддерживал отношения с публицистом и этнографом Александром Адриановым. Общался с писателем и ученым Василием Анучиным.

Круг знакомых Бейлина – вся прогрессивная томская профессура, журналисты демократического крыла, представители либеральной адвокатуры. По всей вероятности, он поддерживал связь и с лидером областников Потаниным.

Когда кипение политической жизни дошло до «высшего градуса», Бейлин полностью отдал себя газетной работе. Сотрудничал в «Сибирской жизни» до последнего дня, пока большевики не закрыли газету, как «враждебный революции» орган.

С приходом колчаковских войск газета возобновила работу. И этого оказалось достаточно, чтобы позже, когда власть вновь переменялась, обрушиться на коллектив с репрессиями.

«На другой день после возвращения большевиков газета «Знамя революции» стала набираться в типографии адриановской «Сибирской жизни». А в марте 1920 года «уездная комиссия по борьбе с контрреволюцией... в числе других противников Советской власти расстреляла Адрианова», редактора «провокационной» газеты²³.

Вместе с ним пострадали активные сотрудники газеты. И среди них Михаил Бейлин – несколько лет он провел в лагерях.

Какова дальнейшая его судьба, увы, неизвестно. Но то, что имя томского публициста не вошло в многотомный перечень жертв томских политических репрессий, позволяет надеяться, что он был амнистирован.

Впрочем, для понимания фигуры Бейлина, оценки его деятельности, наверное, не так уж важно, каков был итог. Важнее то, что его порядочность, просветительский опыт, авторитет защитника бесправных – всё это оказалось неостребованным.

Новой власти не нужны были люди самостоятельно думавшие, имевшие чувство собственного достоинства и способные отстаивать его законными способами. Изменилась система ценностей – и Бейлин остался не у дел.

А значит, в любом случае, судьба его оказалась бы трагичной.

ПОРТРЕТ УЧЕНОГО: КИЖНЕР

Два города оставили глубокий след в судьбе профессора Кижнера – Москва и Томск.

Привязанность к Москве объяснялась просто: там он родился, провел детство и юность, туда вернулся известным ученым. С Томском было сложнее, о нём знаменитый химик вспоминал потом и с любовью, и с болью. Именно здесь он сделал два крупных открытия, вошедших в историю науки. Здесь полностью раскрылся его великолепный исследовательский дар.

Томский период научной деятельности Кижнера был плодотворен: здесь написал он свыше половины научных работ – около сорока статей, вошедших в отечественные и зарубежные издания начала XX века. Но в Томске же потерял здоровье, стал беспомощным инвалидом. Мало того! – тут он, возможно впервые столкнулся с подлостью, произволом, несправедливостью.

Жизнь поставила его перед нравственным выбором: остаться собой, сохранить верность убеждениям либо, дорожа местом, согласиться молчаливо с тем, что глубоко чуждо.

И Николай Матвеевич выдержал это испытание так же блестяще, как выдерживал научные экзамены. Из Томска профессор уезжал не подавленным и не сломленным. Он покидал Сибирь умудренным человеком, уверенным в своей правоте и силе. Хотя... осознание правоты было единственным, что облегчало отъезд: покинуть кафедру, друзей, созданную им лабораторию, учеников было тяжело и обидно.

Еще тяжелее было бросать на «полуслове» научную работу – исследования, которым надлежало подтвердить замечательные его догадки и прозрения. Отъезд не просто сказался в судьбе доктора химии, будущего академика – он сказался на состоянии науки. Без всяких сомнений...

В новый, дополненный словарь авторитетного издания Брокгауза и Эфрона статья о профессоре Кижнере была включена, когда он работал в Томске¹. Удостоиться такой чести дано было не каждому. Да и позже, в советские времена, ни одно академическое издание не обходило вниманием ученого, разработавшего собственный оригинальный метод получения углеводов².

Но в Томске настоящего признания его заслуги перед наукой не получили – не считая мемориальной доски на одном из корпусов бывшего Технологического института.

С Кижнером вышло так, как бывает с ученым, который становится, в некотором смысле, заложником своей славы. Его путь в науке, печатные труды известны настолько хорошо, насколько мало освещена «человеческая» сторона биографии выдающегося химика-органика, как рекомендовала его Краткая Еврейская энциклопедия³. Судьба Кижнера остается в тени его научного имени по сей день...

И меньше всего известны ранние годы ученого.

По одним данным, происходил он из семьи военного фельдшера. По другим, отцом его был некий надворный советник. Окончив Первую московскую гимназию, Кижнер поступает на физико-математический факультет Московского университета. Произошло это в 1886 году.

К третьему курсу окончательно определились его научные интересы: органическая химия.

«Вспоминаю, с каким нетерпением я ждал первой лекции Марковникова, – писал Николай Матвеевич. - Его имя окружено было в наших глазах ореолом химического авторитета...»⁴.

Профессор Марковников, ученик Бутлерова, и профессор Лугинин, руководивший практическими занятиями по химии, оказывали на студентов огромное влияние. Под их руководством Кижнер выполнил первые самостоятельные работы. Но и сам благодаря пылливому уму, жажде знаний, способностям к науке обратил на себя внимание профессоров. По их просьбе был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию.

Осенью 1890 года Кижнера зачислили лаборантом «сверх штата».

В воспоминаниях Андрея Белого, одного из представителей «Серебряного века», фигура молодого Кижнера представлена достаточно живо, и в то же время слегка гротесково.

«Года два натькался на лысого, рыжего... очкастого человека, одетого черт знает как: в чем-то рыже-засаленном и пережженном. Он обнаруживался нелепо у брома, в подвале, в проходе; толкнешь его здесь, там наткнёшься; он не человек, а немой инвентарь.

– Кто это?

– Кижнер.

Тогда ещё я просовывал нос в его специальную работу «О строении гексагидробензола», его же я знал по прибору... а человека под ним не заметил. Уверен: введи-ка в переднюю лаборатории бабу-ягу, поведет она носом и скажет: «Здесь Кижнера дух: гексагидробензолом здесь пахнет».

В мое время лаборатория во многом становилась какою-то «кижнерицею», а Кижнера – нет. Тот насвистывает, этот голос подает, Кижнер – вовсе немой... Было бы странно узнать, что у Кижнера – дом или, боже упаси, есть жена; его дом – органическая лаборатория...»⁵.

Ирония вполне объяснима. В глазах будущего поэта, получившего специальное образование под влиянием отца, декана факультета Николая Бугаева, человек, целиком поглощенный исследованиями, фанатично преданный науке, не мог не вызвать улыбку и сожаление.

Но беглый портрет «соратника по лаборатории», надо отдать должное, был всё же сделан мастерски:

«Оголтелый взгляд малых, безвеких ... глазок, точно головки притёртых двух пробочек, красненький носик, очки, рыжий растреп бороденочки, кругловатая лысинка: часть собственного прибора...»⁶.

Таким, очевидно, представал ученик профессора Марковникова, преподавший в лаборатории от зари до позднего вечера.

Через три года, в двадцать шесть лет, Кижнер сдаёт магистерские экзамены. Его избирают приват-доцентом Московского университета, поручают самостоятельно вести занятия со студентами. За оригинальную научную работу присуждают премию Бутлерова.

А исследования продолжаются. Защитив в Петербургском университете диссертацию, он удостоивается степени магистра химии. Подготовка докторской диссертации заняла ещё пять лет.

В апреле 1900 года состоялась её защита: имя Кижнера становится известным в России и за ее пределами. Обе монографии издаются отдельными книгами, имеют успех...

В эту пору в Томске завершилось строительство первого за Уралом технического вуза. И харьковский профессор Ефим Зубашев, назначенный ректором Императорского Технологического института, начинает формировать штат служащих. На химическое отделение института, созданное при поддержке Менделеева, он привлекает ученых поистине знаменитых.

В Томск прибывают профессор Бирон, открывший явление вторичной периодичности закона Менделеева, профессор Вейнберг, исследователь магнетизма Земли, профессор Кулев, создавший новые лекарственные препараты, будущие академики Чижевский и Кижнер. Они едут в Сибирь, не в силах устоять перед напором Зубашева, надеясь продолжить научные исследования в новых, хорошо оснащенных мастерских и лабораториях.

По тем временам Томский институт был действительно оснащен не хуже, а может, и лучше столичных вузов. Да и сама обстановка в институте, когда им руководил Ефим Зубашев, располагала к углубленной творческой работе.

Зубашев добился разрешения принимать на учебу выпускников средних технических заведений и «реалистов». На протяжении пяти лет то был единственный в России вуз, пользовавшийся такой привилегией. В надежде получить высшее образование туда устремились юноши иудейского вероисповедания: администрация института не придерживалась «процентной» нормы.

Тому способствовала позиция Зубашева.

* * *

1 июля 1901 года доктора химии Кижнера «высочайшим приказом по ведомству Министерства Народного Просвещения» зачислили в штат Им-

ператорского Технологического института. Он становится ординарным профессором по кафедре органической химии.

Добиваясь его перевода, директор института писал попечителю Западно-Сибирского учебного округа:

«Считаю своим долгом заявить, что г-н Кижнер по своим работам является одним из лучших в настоящее время специалистов по органической химии, в каковом, собственно говоря, и нуждается институт...»⁷.

И сам Кижнер тоже нуждался в работе, где бы ничто ни отвлекало от химических опытов, подготовки статей. Созданная им лаборатория стала одной из лучших в институте. Приборы и материалы для нее Кижнер получал из Германии, он формировал «химическую» библиотеку сборниками и журналами, выписывая из университетских центров Европы.

Профессор читал курс лекций студентам химического отделения и будущим геологам, руководил дипломными работами и проектами. А оставшееся от занятий время проводил в лаборатории.

«Моим духовным отцом был профессор Кижнер, - вспоминал первый выпускник химического отделения Ванюков. - Он четко относился к студенчеству и был строг в лаборатории. Руководил моей первой работой по рафинированию меди и рекомендовал ее к печати...»⁸.

Очень важное откровение: назвать духовным отцом могли не каждого наставника.

Тематика исследований Кижнера оставалась прежней, но определились и новые направления работы. В журнале «Русского физико-химического общества», самом престижном отечественном издании «естественников», одна за другой появляются основательные, глубокие статьи по вопросам органической химии.

Однако надежды на «тихую пристань», островок спокойствия и научного уединения, пришлось всё же оставить. Охватившие страну «беспорядки» не миновали Томск: начались студенческие волнения. И в этой ситуации каждому, даже далекому от политики, сотруднику вуза следовало определить позицию. Николай Матвеевич это и сделал.

В анонимном донесении на имя попечителя учебного округа Лаврентьева, значилось:

«Вследствие студенческой забастовки в институте образовались две партии... Господа Салтыков и Кижнер не устроили экзаменов, желая таким образом подрезать работающих студентов, которые против забастовки. Под влиянием этих лиц и другие профессора относились так же. Г-н Кижнер неоднократно заявлял, что его никто не может заставить экзаменовывать антизабастовщиков...»⁹.

Донос мало соответствовал истине – Кижнер никого не преследовал за убеждения, но и не скрывал отношения к происходившему. Будучи членом профессорского суда, выступал в защиту студентов, которые призывали к автономии высшей школы, ратовали оградить ее от произвола чиновников.

В рукописи «О состоянии Технологического института», имевшейся среди материалов учебного округа, было красноречивое описание «возмутительного» поведения Кижнера.

«Профессор Кижнер, - сообщал некто г-ну Лаврентьеву, - по данным из вполне достоверных источников, является организатором забастовки среди профессоров и студентов, и в декабре 1905 года на собраниях и сходках в стенах института выступал с речами революционного направления, порицая, между прочим, профессоров и студентов, не сочувствующих учебной забастовке...»¹⁰.

И тут не обошлось без преувеличения: выступать с речами, тем более «революционного направления», Кижнер не мог, ему это было чуждо. Он вел себя, как ученый, который имеет свое мнение по любому, даже далекому от науки поводу, и не считает нужным его скрывать. Но репутация «вольнодумца», закрепилась за ним прочно.

В феврале 1906 года постановлением томского генерал-губернатора профессор Кижнер был «устранен от занимаемой должности с обязательством в течении 48 часов выехать из Томска... с воспрещением пребывать в Сибири и Степном крае на время военного положения»¹¹.

Одновременно с ним лишились должности Зубашев, обвиненный в лояльности к «дерзким» студентам, профессор Герарди и присяжный поверенный Вологодский.

Служебная карьера опальных профессоров на том, казалось, должна была завершиться. Помог случай.

За день до ареста директор института Зубашев получил от министра народного просвещения графа Толстого телеграмму. Тот просил выехать в Петербург для участия в совещании по реформе высших учебных заведений. Такое же приглашение получил Кижнер.

И вот, имея предписание о высылке, оба неугодных властям профессора, Зубашев и Кижнер, берут положенные по чину прогонные, едут в столицу, участвуют в совещании. А затем начинают хлопотать о своей участи.

Известие о случившемся, надо сказать, озадачило графа Толстого, он обещал разобраться и помочь, но вскоре сам лишился министерского поста.

В Томске между тем тоже произошли перемены: во главе губернии встал барон Нолькен, что положение профессоров, впрочем, не изменило. Новый губернатор настаивал на ссылке Зубашева и Кижнера в Архангельскую губернию.

Зубашев имел в правительственных кругах связи, и несмотря на то, что в высшей власти началась чехарда, сумел заручиться поддержкой влиятель-

ных лиц. Сам Столыпин, возглавивший Кабинет министров, милостиво соизволил пересмотреть дело опальных ученых.

Свою роль, вероятно, сыграли письмо графа Витте томскому губернатору и ходатайство, с которым выступили томские профессора. Как бы там ни было, твердыня дрогнула: губернская власть разрешила ученым вернуться в Томск.

Окрыленный Зубашев шлет из Москвы телеграмму:

«Петербург, «Северная» гостиница. Кижнеру.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР РАЗРЕШИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НО ПРОСИТ ТЕЛЕГРАММЫ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ВОЗВРАЩЕНИИ ТОМСК ЗУБАШЕВ»¹².

Николай Матвеевич кратко телеграфирует в ответ:

«ВЫЕЗЖАЮ СРЕДУ СКОРЫМ ПОЕЗДОМ КИЖНЕР»¹³.

Чего было больше в этом порывистом возвращении – радости или печали – не известно. Всё худшее, думал, осталось позади, но время, упущенное для науки, было смертельно жалко. На суету и волнительные хлопоты, на переписку и мучительное ожидание ушел год. За эти месяцы можно было столько успеть!

И Кижнер с головой уходит в науку.

Для него неприятности временно кончились – Зубашева злая судьба преследует дальше. Во вверенном ему институте произошло преступление: ограблена вузовская касса, убит кассир. Среди участников грабежа – студент института. Не дожидаясь расследования, Ефим Лукьянович подает в отставку. Переживания сильно сказались на здоровье: он ослеп на оба глаза.

Лишь спустя время обрел способность видеть, зрение частично вернулось к одному глазу. Но и для Кижнера, который страдал тяжелейшим недугом, случившееся не прошло бесследно. Болезнь его резко обострилась – настолько, что вскоре он оказался в инвалидной коляске.

* * *

Первые признаки болезни появились через два года после приезда в Томск.

Как предположили позже врачи, причиной могли стать занятия с вредными, ядовитыми веществами: аммиаком и гидразинами. Сам Кижнер упреки в неосторожном обращении с химическими веществами не принимал: такая оплошность могла повлиять на профессиональную его репутацию, которой он дорожил. Но болезнь была мучительна и опасна.

В 1903 году Кижнер берет четырехмесячный отпуск с сохранением содержания и едет на лечение, которое, увы, не помогло.

Через год профессор вновь вынужден просить об отпуске. Он едет в Москву, ложится на операционный стол: профессор Алексеев ампутирует правую ногу в нижней трети голени. Диагноз неумолим и страшен: гангрена конечностей.

После операции настало улучшение. Но не надолго, гангренозные язвы появились на левой ноге. Болезнь прогрессирует. И все же Кижнер не падает духом. Передвигаясь на костылях, посещает занятия, ведет коллоквиумы. Только лабораторные исследования приходится временно оставить. Часами простаивать за колбами и препаратами, он пока не в состоянии.

Опыты были приостановлены, заведование лабораторией перешло другому. Болезненное состояние профессора, однако, не всех устраивало.

«Профессор Кижнер никаких должностей в институте не занимает и не имеет никаких постоянных занятий...»¹⁴, - раздраженно сообщал в докладной один из сослуживцев.

Не доработав до конца учебного года, Кижнер берет новый отпуск: вместе с профессором Тираспольским в марте 1905 года едет на лечение за границу. Когда они уезжают, в Томск приходит сообщение, что оба ученых по приказу государя императора награждены орденами Святого Станислава 2-й степени.

Это была не первая награда Кижнера: до приезда в Томск он удостоился ордена, получил медаль в память царствования Александра Третьего и медаль по случаю «священного коронования Их Императорского Величества» Николая Романова. Но о новом признании заслуг Кижнер не знал: он проходил обследование в берлинской клинике профессора Бергмана.

Вся надежда на него, европейское светило. Если кто и способен сотворить чудо, так только он.

Кижнер верит в науку и доверяет профессионалам, хорошо знающим дело. Он спокоен – и успокаивает родных. Шлёт из Берлина две открытки – одиннадцатилетнему сыну Борису и жене Софье Петровне.

«Сегодня получил окончательное известие об экзаменах Бориса, пускай теперь сил нагуливает побольше; надеюсь, что к моему приезду он не разучится ходить пешком. Левая моя нога в полном порядке...»¹⁵, - сообщает профессор.

Ожидания подтвердились: болезнь отступила.

Дабы закрепить успех, летом следующего года Кижнер едет туда же. Но нервное переутомление, связанное с тягостной историей выселения, даёт о себе знать: лечение продвигается уж не так успешно. Страшный недуг снова берет верх...

Как настоящий ученый, зарубежные поездки он обращает на пользу делу. Подбирает нужное для лаборатории оборудование, ищет приборы, покупает свежие научные журналы.

Летом 1909 года Кижнер едет за рубеж в третий и последний раз, видимо, мало веря в успех. Болезнь обострилась настолько, что и несведущим стал очевиден исход. Через год ампутировали вторую ногу...

Отныне профессор передвигался в инвалидной коляске, изредка вставая на протезы, чтоб войти в студенческую аудиторию на своих изувеченных ногах – хотя бы с помощью костылей.

Но занятий наукой не бросил. Напротив, стал заниматься с еще большим рвением, сожалея об одном – о впустую потерянном времени, цену которого по-настоящему сознают, наверное, лишь художники и ученые.

«Надо удивляться его могучему духу и воле: инвалид в полном смысле слова, он продолжал экспериментально работать, выпуская одну печатную работу за другой...»¹⁶, - писал академик Арбузов.

Количество опытов дало качественный скачок, эксперименты завершились открытием. Новый метод получения углеводов – метод каталитического разложения гидразинов – нашел признание в России и за рубежом. И мало кто знал, что открытие совершено было тогда, когда автор утратил способность передвигаться.

«Реакция Кижнера» стала основой метода синтеза углеводов высокой частоты и сделала легко доступными многие новые органические соединения»¹⁷, - сообщали об открытии.

Но в мировую науку метод вошел под иным названием.

Через полтора года в одном немецком журнале появилась работа известного химика Людвиг Вольфа сходного содержания. Опыты сибирского ученого, которые привели к тому же результату, в ней не упоминались. Ссылка на исследования Кижнера там не было, хотя этой теме он посвятил несколько статей, вышедших в журнале «Физико-химического общества».

Ученый вступил в переписку. Вольф любезно ответил, что русским языком не владеет и о работе почтенного коллеги совершенно не знал. Рефераты, опубликованные в немецком издании «*Chemisches Zentral bat*», тоже почему-то остались ему неизвестны. Но приоритет Кижнера был столь очевиден, что Вольф вынужден был это признать.

Тем не менее метод получил имена двух исследователей.

«Здесь нам вновь приходится иметь дело с фактами, когда сознательно замалчиваются работы русских ученых...»¹⁸, - указывал впоследствии академик Арбузов.

Другого такая несправедливость привела бы в смятение, выбила из колеи, но Николай Матвеевич был выше честолюбивых устремлений. Он продолжал невозмутимо работать. И год спустя заявил о новом открытии. «*Был найден новый, крайне плодотворный метод синтеза углеводов ряда цик-*

лопана. Метод открыл новые широкие возможности для синтеза бициклических углеводов»¹⁹.

Оба открытия вошли во все, без исключения, химические справочники и энциклопедии, а сам ученый спустя время был удостоен весьма престижной Большой Бутлеровской премии. Второе открытие произошло в 1912 году.

В июле того же года доктор химии профессор по кафедре органической химии Технологического института статский советник Кижнер был «уволен от службы согласно приказа»²⁰. А через год покинул город навсегда.

Томск, как случилось не раз, лишился известного на весь мир ученого. Или, лучше сказать, избавился от него, чтоб... полвека спустя увековечить его имя на мемориальной доске.

* * *

Нездоровье профессора не могло не сказаться на учебном процессе.

Во время вынужденных его поездок лекции и занятия по органической химии прекращались либо проводились от случая к случаю. К тому же сама процедура увольнения в отпуск выполнялась не всегда должным образом, на что указывал попечитель учебного округа Лаврентьев. Он требовал, дабы директор института «ограждал интересы преподавания и не останавливался перед подачей особых мнений, где того требует долг службы»²¹.

Однако найти достойную замену профессору Кижнеру было непросто, в институте это понимали. И что означает «особое мнение», тоже, в общем, догадывались. Последующие события – студенческие волнения, репрессии против Кижнера и других профессоров – подтвердили худшие опасения.

Независимость суждений, открытое пренебрежение к бюрократической системе, человеческое достоинство – всё это невероятно раздражало чиновничью власть. И она ждала повод, чтобы излить раздражение. Но Кижнер, ученый и преподаватель, такого повода «упрямо» не давал. Отношения со студентами у него были ровными и абсолютно не зависели от политических взглядов.

Со студентами, вспоминают, профессор был строг, что не мешало ему пользоваться авторитетом. Ибо за внешней строгостью, все видели, скрывалась отеческая забота и неравнодушие.

Бывали случаи, когда профессор входил в положение студентов и шел им навстречу вопреки бездушным инструкциям.

Только благодаря ему, скажем, смог завершить образование Яков Грин, оказавшийся в сложной ситуации: его отец, купец Даниил Грин, был разбит параличом и в отчаянии покончил жизнь самоубийством, оставив семью без средств к существованию. Студент вернулся домой, где провел почти два года, а затем обратился к Кижнеру с письмом, попросил выставить зачет по органической химии, поскольку «каждый зачет теперь всё ставит на карту».

«Вполне сознавая, что с моей стороны очень дурно беспокоить Вас частным письмом, я тем не менее рассчитываю на снисхождение...»²², - писал студент из Мариуполя.

И не ошибся: без внимания просьба не осталась. Надо ли говорить, что такого рода поступки укрепляли репутацию Кижнера как человека порядочного и «не чуждого снисхождению». И это качество, в конце концов, стоило ему должности...

Газета «Сибирская жизнь» в одном из апрельских номеров 1912 года поместила заметку о нравах и невежестве юрьевских студентов, что показалось оскорбительным томичам. В седьмом часу вечера в редакцию – угол Дворянской и Ямского переулков – «явилась группа лиц в форме студентов-технологов... которые рекомендовали себя официальными представителями академистов»²³.

Они вели себя вызывающе грубо, а один из них, студент Голубев, избил тростью члена редакции присяжного поверенного Бейлина.

В считанные часы весть облетела весь город. «Представители адвокатуры, профессоры и общественные деятели явились на квартиру Михаила Рафаиловича, чтобы выразить соболезнование и возмущение»²⁴ по поводу происшествия, в коем усмотрели посягательства на свободу слова и черносотенную выходку.

Узнав о поступке студентов своего института, профессор Кижнер написал гневный протест и передал в редакцию. Письмо было опубликовано на следующий день, 18 апреля.

«Оскорблен не столько Бейлин – кто будет оскорбляться на бешеную собаку, если даже она причиняет смертельные ранения! – сколько вся высшая школа, в которой появилась эта гнойная язва студенчества. Язва, которая имеет дерзость называть себя академической корпорацией... Со словом «академист» теперь связывают представление не о студенте, преданном науке, а о погромщике с резиной или дубиной в руке, а иногда и с револьвером...»²⁵, - писал Кижнер.

В том же номере на событие откликнулись профессор Обручев, помощник присяжного поверенного Шатилов и другие. Их выступление «взяли на карандаш», что имело последствия. Пострадал по службе Шатилов – будущий создатель Томского краеведческого музея, крупный этнограф. И Обручев, будущий академик, автор знаменитых романов, был вынужден оставить вуз и уехать из города.

Увы, и судьбу Кижнера выступление повернуло достаточно круто. Хотя письма и телеграммы с осуждением выходки «просвещенных представителей местных реакционеров» продолжали поступать и печатались потом целый месяц. Телеграммы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Таганрога, Костромы и Семипалатинска. Сообщения из Омска, Иркутска, Барнаула, Читы и далекого Харбина.

С выражением сочувствия г-ну Бейлину выступил даже влиятельный и степенный Совет старейшин Томского Общественного собрания.

«Сожаление по поводу происшедшего случая» выразил также глава института Карташов, дав указание «расследовать происшествие на предмет предания г. Голубева профессорскому дисциплинарному суду...»²⁶.

Но бюрократический аппарат учебного округа был неумолим: Кижнеру предложили оставить профессорскую должность.

«В своем письме г. Кижнер не только выражает сочувствие лицу, пострадавшему от оскорбления, на что имеет, конечно, полное право, но позволяет себе наносить гнусное оскорбление всей академической корпорации вообще, называя её «гнилой язвой студенческой жизни», а студентов-академистов – погромщиками, - указывал директору института попечитель округа Лаврентьев. - Такое заявление профессора об академической корпорации студентов, помимо его полной неосновательности по существу и резкой по форме, не может не оказать вредного влияния на учащуюся молодежь, возбуждая одну часть студенчества против другой...»²⁷.

Попечитель требовал *«поставить на вид профессору Кижнеру его неосторожный и мало обдуманый поступок, и спросить, не пожелает ли он перейти на службу в другое учебное заведение, где нет ненавистных ему академистов»*.

Это было давление на ученого, выбранного институтским советом: требование, выходящее за рамки должностных полномочий попечителя округа. И Кижнера это возмутило.

Он пишет рапорт на имя директора института, где достойно отстаивает позицию. Ответ ученого убедителен и точен, как манифест подлинной, *«беспартийной науки»*.

«В аудитории и лаборатории... находятся не представители того или иного политического течения, а студенты, ищущие знания., - пишет Кижнер. - И кто же может мне бросить упрек, что я в своей педагогической деятельности отношении к студенчеству ставил в зависимость от политического направления? Наука беспартийна, а дробление студентов на различные политические течения – кадеты, академисты и другие – никакого отношения к высшей школе не имеет...»²⁸.

Формально чиновник, каким был Лаврентьев, обязан был думать так же, и претензий к ученому иметь, вроде б, не мог. Но обида, с которой попечитель вступился за честь «корпорации», была «личного свойства». И этим, надо полагать, объяснялся столь гневный тон. В письме Кижнера он усмотрел обвинение в собственный адрес – и возмущению не было предела!

Получив рапорт, он снова пишет директору института:

«Профессор Кижнер имел неслыханную, возмутительную дерзость в печатном органе оскорбить научную корпорацию. Этот поступок, заслуживающий самого глубокого порицания, поставлен был мною на вид г-ну Кижнеру...»²⁹.

И дальше звучит фраза, которая ставит всё на свои места. Лаврентьев объясняет, что требование отставки продиктовано «заботой» о благе профессора, коего оскорбленные академики с полным основанием могут избить, как Бейлина: *«Сии последние имеют полное право потребовать удовлетворения за нанесенное оскорбление... это совершенно естественно...»*³⁰.

Выходило, что чиновник министерского округа берет под защиту черносотенцев, да еще благословляет их на новый «подвиг», вполне естественный в его глазах. Яснее сказать было невозможно.

Оставаться работать под началом такого сановника профессор не мог. 2 мая 1912 года он подал прошение об отставке *«по состоянию здоровья»*. А через месяц уже был уволен и получил полный расчет.

* * *

Для институтских коллег, имевших представление о причинах отставки, случившееся не было неожиданностью. Повлиять на решение они вряд ли могли, но постарались удержать ученого, пребывание которого делало честь любому, даже столичному, вузу.

Совет института стал хлопотать, чтобы Кижнеру разрешили читать курс лекций по органической химии в следующем учебном году. Так в министерство, где Кижнера знали, пришло известие об его уходе.

На министерском бланке за подписью главы департамента общих дел приходит депеша с просьбой разъяснить странную ситуацию. Что произошло? Оставил профессор службу по собственному желанию, *«вследствие болезненного состояния»*, или его к тому вынудили? Ведь *«подобное предложение не могло, казалось бы, исходить от попечителя учебного округа без ведома министерства»*³¹.

Ничуть не смущаясь, господин попечитель отвечает на это следующим образом:

«Никакого предложения господину Кижнеру о подаче им в отставку мною сделано не было, да и не могло быть сделано, так как на сие я не имею ни малейшего права...»³².

Что ж, откровенная ложь всегда шла рука об руку с подлостью.

Министерство такой ответ, видно, устроил, в институт поступает распоряжение: профессору Кижнеру разрешить преподавание курса *«из платы по найму»*. Но с условием, что он оставит институтскую квартиру, которая помещалась в том же учебном корпусе.

Передвигаться на протезах из квартиры в аудиторию сорокапятилетнему инвалиду было невероятно тяжело. Требование снять жилье вне инсти-

тутского здания было равносильно запрещению преподавательской деятельности.

Сознавая это, Совет института снова шлет в министерство запрос, и вновь Всесильная Инструкция оказалась сильнее. Профессор оставил служебную квартиру, перебрался с семьей под чью-то кровлю, но занятия со студентами продолжил.

К тому периоду относится его статья «О совместимости окисления предельных и непредельных углеводородов». Он пишет работу по нефти, где в числе первых высказывает гипотезу относительно её неорганического происхождения, ссылаясь на последние научные изыскания в области геологии и химии. Его толкование процессов образования нефти не отличается от мнения, которое господствует в современной науке, хотя было высказано без малого сто лет назад³³.

И в других случаях научная его прозорливость свидетельствовала о себе красноречиво, редкий научный дар не вызывал сомнений даже у недоброжелателей. Но блистательные эти качества не помогли продолжить работу. Оставив учеников, лабораторию, любимое дело, Николай Матвеевич покидает Томск...

В 1914 году он вернулся в столицу, устроился в Московский городской университет имени Шанявского и работал там до революции. Но уже без видимых творческих взлетов, продолжая осваивать научный багаж, который подготовлен был в Томске.

Позже, правда, на основе прежних и новых изысканий ему удалось разработать метод получения органических красителей, что оказалось востребовано новой властью. Его пригласили в Институт органических полупродуктов и красителей, который занимался созданием отечественной анилинокрасочной промышленности.

Там профессор, ставший почетным членом Академии Наук, и трудился до конца своих дней...

Умер Николай Матвеевич, как истинный ученый – в лаборатории во время химических опытов. За неделю до дня рождения: в декабре 1935 года ему исполнилось бы шестьдесят девять лет.

Δ

II. БЕЗУМНЫЕ ДНИ КАРТИНА ПОГРОМА¹

Около суток изуродованные, обезображенные тела находились в ограде стоявшего неподалеку Троицкого кафедрального собора. Потом на подводах свезли их в больницу Приказа общественного призрения, оттуда - в сторожку Преображенского кладбища, где после судебно-медицинской экспертизы погибших торопливо и малоллюдно предали земле...

Город оцепенел от страха, охватившего всех ужаса перед слепой первобытной силой толпы.

Люди были не в силах постичь случившегося. Да и мудрено было поверить, понять смысл самой жестокой, бессмысленной бойни за всю трехвековую историю тихого Томска...

Но тогда, в период смут и волнений начала XX века, что-то похожее происходило в разных местах империи. Сбившись в полупьяные стаи, «патриоты» отправлялись громить, жечь, убивать. «Водворять порядок».

Страну, казалось, было уж ничем не удивить, но она содрогнулась, узнав о томских зверствах из коротких сообщений телеграфных агентств.

«По своей жесткости томский погром резко выделялся из всех бывших погромов», - сказал позже городской голова Макушин, выступая с трибуны Первой Государственной думы².

Трудно было ужасные три дня, которые город пережил в октябре 1905 года, отнести на счет чьей-то оплошности, непродуманности, злого стечения обстоятельств. Не требовалось много ума, чтобы понять: кровавые события происходили, повинясь воле известных лиц. Мало того, по хорошо подготовленному сценарию. Только мнение это томичи старались держать при себе.

По городу ходили противоречивые слухи.

«Трудно надеяться, чтобы и суд разобрался в этом хаосе и выяснил настоящих виновников...», - сообщала по горячим следам одна брошюра³.

Со временем многие факты получили иное толкование, кое-что предстало в новом свете. Поэтому так важно воссоздать события в их истинном виде⁴.

День за днем. Час за часом...

* * *

13 ОКТЯБРЯ. В городе – патрули. Настроение тревожное. Студенты устраивают сходки, высказывают «резкие речи». Бастуют железнодорожные

служащие. Митингующих оцепили солдаты. На центральных улицах – казаки.

14 ОКТЯБРЯ К железнодорожникам примкнули телеграфисты. Банки, государственные учреждения охраняют войска. Некоторые магазины стали закрываться. Вечером в городе собралась сходка. Полиция не вмешивалась...

15 ОКТЯБРЯ. Прекращена служба почти во всех присутственных местах. Улицы патрулируются. Прекратили занятия реалисты. Толпа учащихся двинулась к мужской гимназии. Затем все вместе, человек сто пятьдесят, направились к семинарии и женской гимназии. Среди барышень произошла форменная паника:

«Многие выскакивали на улицу без калош и верхнего платья, маленькие плакали...».

Гимназистки постарше присоединились к *«революционно настроенным»* учащимся. Примеру последовали воспитанники Коммерческого училища.

Здание Народного дома, как называли Бесплатную библиотеку, где «бунтовщики» и кое-то из взрослых собрались митинговать, оцепила полиция. На требование разойтись забаррикадировались, заявив, что *«на малейшее насилие со стороны полиции ответят выстрелами»*. В помощь полиции подоспели солдаты и казаки. Вид свирепых воинов не воодушевил на капитуляцию: обещаниям безопасности отказались верить.

Положение создалось критическое. Близилась ночь. В городской думе гласные вместе с родителями митингующих искали выход. Депутация с требованием *«освободить учащихся»* появилась перед губернатором Азанчевым-Азанчевским.

Тот принял гласных грубо, однако согласился отпустить детей, а взрослых распорядился арестовать. *«Не хотят сдаваться - возьмём измором»*, - сказал губернатор. Осажденные не приняли «милостивое» предложение.

Уже родители, потеряв голову, готовились вооружаться, спеша детям на помощь, уже запахло сражением. Но тут губернатору стало известно, что несколько сотен разъяренных томичей направляются к его особняку. И он распорядился снять саду. Около полуночи голодные, издерганные дети разошлись по домам.

16 ОКТЯБРЯ. По случаю выходного царит оживление, исчезли патрули. Помещение управы переполнено. Ожидая осады, многие явились с провизией. А в зал Общественного собрания пришло вдвое больше томичей – рабочие, мелкие служащие, представители левых партий. Выступали присяжный поверенный Вологодский - представитель съезда земских и городских деятелей, городской голова Макушин, гласный думы Шипицын.

Стало известно о столичных беспорядках и распоряжении московского градоначальника Трепова: «*Холостых залпов не давать, патронов не жалеть!*».

Обсудив московские события, решили вооружаться. По рядам пустили шапки, туда посыпались монеты, кольца, часы, серьги. Революционный энтузиазм достиг такого накала, что «*в помещении собрания побито было много лампочек и попорчена мебель*». Пол здания, не рассчитанный на такое число людей, дал опасную осадку.

17 ОКТЯБРЯ. Губернатор попросил городского голову, чтобы митинги проходили без ущерба для общественной собственности. Новый митинг состоялся в театре купца Королева: там пели революционные песни, выступали с речами. Большинство государственных учреждений вновь закрылось. Бастовали приказчики, добиваясь хорошего жалованья: ходили по городу и требовали от владельцев магазинов и лавок закрыть торговлю.

На Базарной площади, у Второвского пассажа, на приказчиков напала толпа «*патриотически настроенных*» ломовых извозчиков и лабазников. Завязалась драка. В пылу потасовки раздалось несколько выстрелов.

18 ОКТЯБРЯ. Вновь заволновались учащиеся. Попечительский совет принял решение считать учебные заведения, находившиеся в ведении министерства финансов, закрытыми. К зданию мужской гимназии с утра стали стекаться учащиеся, среди которых были десятилетние. Они требовали бойкотировать занятия. К ним примкнули учащиеся низших учебных заведений.

Когда гимназисты подошли к Коммерческому училищу, на крыльцо вышел директор Егоров и обещал распустить учеников. «Мятежники» собрались уходить, как вдруг налетели казаки и началась дикая расправа. Свистели в воздухе нагайки, детей топтали лошаадьми. Особенно досталось двоим: гимназистке вышибли глаз, а семинаристу рассекли нагайкой лицо.

«Гимназисток казаки хватили за волосы и поднимали за косы на воздух. Многие были избиты и окровавлены...».

Малолетние «преступники» бросились в здание Окружного суда, стоящее напротив. Из него вышел присяжный поверенный Вологодский. Он обратился к казачьему офицеру с требованием прекратить избиение детей. На него напали два казака и стали бить нагайками. Спустя время председатель суда Витте проводил детей до здания управы.

А в это время у губернатора шло «*совещание граждан Томска по вопросу об умиротворении*». Его превосходительство заявил, что не против создания «*охраны городской безопасности*»...

Весть об избиении детей облетела город. Томск забурлил. Вечером прошло три митинга - в думе, королёвском театре и помещении Железнодорожного собрания. Самые решительные требовали скорейших мер, вплоть до ареста губернатора и передачи власти городской думе. Собравшиеся в

здании театра общественные деятели сформулировали требования к губернской власти:

«Выдачу вещевого довольствия полиции прекратить и немедленно ее распустить, организовать народную милицию; отстранить от должности губернатора...».

Ответ начальник губернии должен был дать в тот же вечер. Иначе дума, заявили, будет распущена, вместо неё сформируют новый орган общественного управления.

В тот же день дума приняла известное постановление:

1. потребовать отстранения от должности томского полицмейстера Никольского «в виду допущения им превышения власти»;
2. немедленно удалить из города казаков;
3. если требования останутся без внимания, известить министра внутренних дел об устранении от власти самого губернатора;
4. сообщить прокурору Округного суда о возбуждении уголовного дела против полицмейстера Никольского;
5. для охраны города учредить городскую стражу из конных и пеших до ста человек и более. Формировать стражу, решили, должна управа, она же даст деньги на обмундирование и вооружение;
6. не выделять средства на содержание полиции, аренду помещения для казаков;
7. попросить попечителя Западно-Сибирского округа в тревожное это время везде запретить занятия, и возобновить лишь с разрешения управы, педагогического совета и родителей;
8. потребовать у губернатора от имени городского общественного управления немедленно освободить из-под стражи и мест заключения всех, привлеченных по политическим преступлениям, в связи с недавними волнениями.

Ультиматум подписали 26 гласных думы, потребовав вдобавок, чтобы начальник пожарной команды подчинялся городским властям.

Вечером подтвердились слухи о царском манифесте, дарующим свободы. Томичи встретили весть прохладно. Ночью из тюрем освободили арестантов, находившихся под стражей за политические преступления.

19 ОКТЯБРЯ. С утра было тихо. Возле столбов, где появился текст манифеста, стояли томичи.

«Октябрьские дни, дни перехода России к новой жизни, основанной на правовых началах, ознаменовались народными волнениями и беспорядком по всей России», - сообщали газеты.

Стали объединяться черносотенцы - лабазники, водовозы, извозчики и мелкие торговцы. Они избивали ораторов. Одного на Соляной площади убили. Толпа разбила зеркальные стекла в магазине купца Второва.

* * *

20 ОКТЯБРЯ. Черносотенцы собирались с восьми утра. Кузнецы, ремесленники, мясники, извозчики, татары из Заисточья стягивались к площади у пожарного депо - рядом с полицейской управой. Комитет общественной безопасности провёл совещание с членами Добровольного пожарного общества. Всем записавшимся в городскую охрану, выдали оружие.

В это время в доме губернатора Азанчеева-Азанчевского и на квартире архиерея Макария шли совещания. Там присутствовали начальник охранного отделения, местные купцы-державники, кое-кто из промышленников. Обсуждались меры борьбы с «крамоллой».

Черносотенцы негодовали, что из-за стачки приказчиков закрыты магазины, торговля прекращена и негде из-за смутьян выпить.

«Говорили: «Нам новых порядков не нужно. Деда наши управлялись царем и мы жить без царя не желаем...».

Извозчики на Хомяковской бирже предупреждали, что у кузниц толпа вооружается ломами, молотками и ножами.

Через час появились национальные флаги. Стали хлопотать, чтоб из полицейского участка дали вынести портрет государя. Получили его, на площади дважды раздалось «Ура!»...

Около часа дня толпа двинулась по главной улице на Соборную площадь, увеличиваясь по мере продвижения. Если кто не снимал шапку перед портретом государя императора или отворачивался, с него сбивали шапку и избивали. Возле думы избили трех человек. К тому времени толпа насчитывала около двухсот человек.

По дороге выбили стекла в здании думы. Несколько человек убили. Первой жертвой стал гласный думы Яропольский. Томичей, проходивших мимо, убили только за то, что они возмутились: «Зачем вы бьете человека?». В числе первых погибли Гейльман, студент Евстафьев, ученик железнодорожного училища Шарыгин.

«Народ в ужасе бежал, уступая дорогу озверевшей толпе черносотенцев...».

Возле дома архиерея толпа, которая достигла тысячи человек, остановившись, попросила отслужить молебен в соборе за здоровье государя. Владыка благословил толпу у архиерейского дома, направил в собор, обещая прибыть туда позже. Полиция отсутствовала. В казармах солдаты строились в ряды и получали патроны. Сотня казаков и рота солдат оцепила театр и здание железнодорожного Управления.

Сначала в городе было спокойно. Но разошелся слух об убийствах, началась паника. В это время в театре шел митинг, где присутствовало до трех тысяч человек. Когда стало известно, что к площади идет толпа манифестантов, митингующие покинули театр.

У здания железнодорожного Управления встали шеренгой члены охраны, вооруженные револьверами. Они уговаривали толпу разойтись. Черносотенцы напирали. Колом ударили студента, находившегося в рядах охраны. Раздался первый залп в воздух.

Случайно ранили кого-то из толпы. Студент Зеленский подобрал раненого, отвез на извозчике в ближайшую больницу. (По другой версии двоих погромщиков убили, в том числе того, кто нес портрет Государя. Причем убили свои же, бросая камни в членов народной охраны).

Услышав выстрелы, черносотенцы дрогнули и стали разбегаться. Если б не войска, все бы разошлись. Но, увидев, что войска на стороне «народа», черносотенцы вновь сбились в кучу и ринулись на охрану. Отряд попросил увести роту солдат. В ответ комендант гарнизона потребовал сложить оружие, пригрозив открыть огонь.

Тогда отряд и все, кто был на площади, включая женщин и детей, бросились в здание Управления дороги. Некоторые кинулись в театр, имевший один двор с Управлением. В опасности оказались люди, не имевшие отношение к митингу.

Положение осложнялось тем, что служащие Управления получали в тот день жалование - в здании до того, как туда хлынула толпа, было много народа. На Соборной площади толпа избивала всех, кто был в студенческой или ученической форме. Всюду раздавалось: «*Бей студентов! Бей жидов!*».

Губернатор мер не принимал.

Когда в соборе закончилось молебствие, из него вышли молившиеся, среди которых были известные люди, занимавшие высокое положение. Они не стали вмешиваться и ушли.

Осажденные между тем были в панике. Одна женщина с малолетней дочерью пала на колени перед толпой, моля о пощаде. Их немедленно убили...

* * *

ОКОЛО ТРЁХ ЧАСОВ ДНЯ. Осажденных вызвали на переговоры. Командир роты солдат потребовал, чтобы из здания вышли женщины - их, мол, не тронут. Членам охраны приказали сдать оружие, под конвоем их должны были отправить в тюрьму. Служащие умоляли не покидать здание, не веря в защиту войск. Тех, кто поверил и вышел, убили. Среди них был инженер Клионовский.

«Выходивших из осажденного здания, чтобы сдаться, толпа, - вспоминают, - разрывала на куски и грабила...»⁵.

Получив от народной охраны отказ, войска отошли к собору, а их место заняли погромщики. Толпа стала громить здание. Осажденные бросились

выше, забаррикадировались мебелью. Связались по телефону с управой. Городской голова сказал, что на требование очистить площадь от казаков и увести войска губернатор ответил отказом.

«Управа ничем вам помочь не может...», - сказал Макушин.

ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ ДНЯ. В осажденное здание вошли полицеймейстер и комендант гарнизона. Снова предложили отряду сдаться, сложив оружие. Женщин, пожелавших уйти, обещали выпустить, гарантируя безопасность. Отряд отказался.

ПЯТЬ ЧАСОВ ДНЯ. Толпа озверела от убийств. В тот день стоял мороз, но всем было жарко. На площади всё же развели костер. Тогда и родилась мысль поджечь осажденных. На первом этаже развели громадный костер из ломаной мебели и книг. Облили керосином и подожгли. Точно так же поступили с театром. Оба здания, которые являлись *«гнездом крамолы»*, быстро запылали.

Когда загорелся первый этаж, осажденные хотели потушить огонь, выставив несколько человек для защиты. Им этого не дали. В здании началась паника. Многие рвались к выходу. Выбежавших схватили, раздели и растерзали.

«Два огромных здания запылали, и скоро море огня залило большую площадь. В этом аду мелькали человеческие силуэты...».

Солдаты не давали пожарной команде тушить огонь, перерубая водопроводные рукава. Спасаясь от огня, люди бросились на крышу. Солдаты открыли прицельный огонь. Тех, кто пытался спастись по дождевым трубам, тоже убивали. Небольшая часть осажденных с оружием в руках, человек пятьдесят, прорвалась сквозь погромщиков. Побежали в сторону Заисточья.

Но там встретили другую толпу, вооруженную кольями. Всех их убили, включая начальника милицейского отряда Нордвига. Уцелели лишь несколько человек, которые бросились в сторону и схоронились дворами.

ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА. Толпа отошла от здания, его снова оцепили солдаты. В горевшем здании некоторые стреляли в себя или бросались вниз головой с третьего этажа на каменный тротуар, спасаясь от мученической смерти в огне.

«Становилось душно. Дым резал глаза. Люди разбивали окна, чтобы глотнуть воздуха, высовывались наружу, а в них летели солдатские пули», - вспоминали очевидцы.

Вечером в соборе шла всеобщая. А озверевшая от крови толпа в это время жгла людей.

«Не дай бог врагу испытать то, что испытали несчастные жертвы людского зверства... Одна молодая барышня с рыданиями упрашивала студента пристрелить ее. В длинном коридоре слышались выстрелы. Кто-то кончал собой самоубийством...»⁶.

Люди обезумев, врываются в кабинеты и прятались под столами, ожидая, что туда ринутся погромщики.

«Мы, отрезанные от всего мира, предоставлены были самим себе. Многие сбились в одной из комнат управления... Невыразимые уныние и тоска царили среди нас. Мы понимали, что нам грозит ужасная, смертельная опасность...

Когда мы увидели внизу красные языки пламени, почувствовали удушливый запах дыма, нами овладел ужас. «Спасите нас, спасите!», - кричал иступленно какой-то господин. Другой кричал в телефон: «Мы горим, мы погибаем!». Потом... он бросил трубку аппарата, схватился за голову и зарыдал... Кто-то сказал: «Все равно умирать. Встретим смерть достойно, чем гореть здесь заживо». И несколько человек, вооружившись, бросились вслед за ним вниз. Внизу раздался оглушительный рев толпы... Те, кто задыхались, бросались к окнам и падали, обливаясь кровью...», - сообщали уцелевшие в этом аду⁷.

Только один офицер смилостивился к осажденным. Он приказал солдатам защитить спасшихся. Сказав толпе, что это арестованные, отвел их в казармы, оттуда все потом разошлись по домам. Спаслись также несколько служащих, откупившихся от погромщиков, раздав полученное в тот день жалование. Их обобрали, но отпустили невредимыми.

По свидетельству очевидцев, губернатор любовался пожаром на крыльце своего особняка. Он отвечал:

«Ничего сделать не могу, всем теперь дарована свобода!..».

ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА: крыша рухнула. Здание сгорело. Многие сгорели живьем...

* * *

21 ОКТЯБРЯ. Толпа бесчинствует. Население в панике. Губернатор, по слухам, куда-то срочно уехал. На Соборной площади и окрестных улицах - трупы растерзанных. Помощник губернатора Бирюков просил «*воздержаться от грабежей*». Его призывы не возымели действия. Толпа отправилась громить еврейские дома и магазины. То же сделали с домом городского головы Макушина. Лишь часов в 7 вечера на улицах появились казаки.

До поздней ночи по улицам города двигались возы с награбленным добром. Из ближних деревень приехали поживиться крестьяне...

«Вот мальчуган, лет десяти, тащит громадную кучу кожаных кусков, теряя их по дороге... Вот какая-то баба несет кучу чего-то, завязанную в шаль, оттуда падают ботинки, сапоги, перчатки... Идет солдат с ружьем в богатой бобровой шапке, в новых сапогах, суконных галошах. Под мышкой у него - дырявые пимы и старая солдатская фуражка...

Около моста везут, ведущему в Заозерье, расположился какой-то оборванный субъект, и открыто распродает десятки карманных часов...»⁸.

22 ОКТЯБРЯ. Погромы продолжаются. Прошел слух о введении военного положения. Толпа продолжала громить библиотеки, еврейские дома и лавки. Потом появились наконец солдаты и казаки. К вечеру стало спокойнее...

Назавтра появились патрули. Еще через день заработали учреждения, магазины.

Город постепенно отходил от шока. Говорили, что число жертв перевалило за тысячу. В официальном списке погибших значились 56 фамилий. Еще 86 человек с увечьями, травмами, ожогами находились в городской больнице, иные умирали с ран. Без вести пропавших было 11 человек.

Окончательное число жертв так и не было названо...

* * *

Сведений о погроме сохранилось немало.

Но что удивительно: почти нигде не упоминался антисемитский характер событий. Хотя на протяжении двух дней разнузданная, озверевшая толпа безнаказанно громила еврейские магазины, лавки, парикмахерские, часовые мастерские и аптеки. Пострадали заведения Гольдберга, Заславского, Фуксмана, Гершевича, Дризина, Бараховича, Слосмана, Пойзнера, Пермана, Анцеловича, других владельцев.

Обезумевшие от страха беззащитные горожане кинулись бежать из города. Вместе с евреями выезжали русские, оставляя на произвол судьбы имущество. И бегство было оправдано: полицейские патрули и казачьи отряды появились лишь на исходе третьих суток...

Градоначальник Макушин, который держался либеральных взглядов и без предубеждений относился к евреям, чудом избежал гибели. Вовремя получив предупреждение, он бежал из города с женой Елизаветой Абрамовной и детьми, а вернувшись, увидел, что хозяйство разграблено, библиотека сожжена. Погромщики прирезали домашнюю живность.

В тот же день Макушин сложил с себя полномочия городского головы.

«Больно до слез расставаться с добрым делом и теми интересными планами, которые управой были намечены, но я нахожусь в ужасе и оцепенении от людской злобы. Толпе Бог простит, она не виновата, но стыдно и грешно тем, кто орудует за этой толпой...»⁹, - писал он в управу.

После погрома многие еврейские семьи собрались покинуть город, в котором давно и крепко обосновались. Но этого не произошло: бежать было некуда, всюду происходило одно и то же. Пришлось налаживать жизнь заново, восстанавливать имущество, восполнять убытки. Хотя некоторые оказались разорены настолько, что лишь помощь общины спасла их от нищеты и голода.

И тогда евреи, арендовавшие торговые лавки у городской управы, обратились в думу с посланием.

«Достояние, добытое трудом всей жизни, погибло, - писали они. - Мы пострадали всеми оборотными средствами, состоящими из товара, который находился в лавках в день погрома... Просим дать в аренду на 1906 год лавки за полцены тем, кто снова захочет торговать, и принять решение о возврате задатков тем, кто не пожелает...»¹⁰.

Гласные думы, рассмотрев заявление, постановили вернуть задаток прекратившим торговлю, а желавшим продолжить платы не снижать, *«но допустить в виде льготы рассрочку взноса арендной платы за 1906 год»*. Рассрочка, впрочем, дела не меняла: город посчитал, что преодолеть последствия погрома и справиться с бедой евреи смогут сами, без помощи властей.

Справиться было непросто. Еще труднее оказалось свыкнуться с мыслью о неизбежности нового погрома. Жить в атмосфере опасности, находится в постоянной тревоге, когда везде кликушествовали «патриоты», поступали сведения о бесчинствах в других городах, было невыносимо.

Что могла противопоставить произволу, насилию и ненависти лишенная прав еврейская община?

Только одно: присутствие духа, верность корням и традициям. Все три молитвенных прихода города, руководили которыми председатели приходских правлений Лурия, Самкин и Цам, сохранили численность. Продолжало действовать еврейское училище, директором которого и председателем попечительского совета был купец Исаак Быховский.

Но следствие по делу о черносотенном погроме шло своим чередом, а когда завершилось, пошла волокита. Несколько раз слушание дела без веских причин переносилось и, в конце концов, на скамье подсудимых осталось полтора десятка не самых активных участников кровавых событий. Приговор: около восьми месяцев тюремного заключения¹¹.

Истинные же виновники ответственности избежали.

Δ

ПОРТРЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЯ: ВОЛЬФСОН

Несколько дней после жестокого побоища томские газеты давали имена погибших.

Некрологи шли почти в каждом номере: железнодорожник Лебедев, сторож Кузьмин, мещанин Зисман, студент Вербицкий, предприниматель Плотников, фабричный мастер Гейльман, студент Писарев.

Страшный мартиролог, казалось, не кончится никогда. Жертвы жуткого погрома, когда целых три дня Томск находился во власти опьяневшей от крови и вседозволенности толпы, упоминались в скудном контексте: «убит, умер от ран». Менялись только названия погостов: кладбище женского монастыря, Вознесенское, Преображенское.

Там же, на Преображенском, нашел вечный покой техник службы путей сообщения Сибирской железной дороги Дмитрий Вольфсон. Он был убит в первый же день погрома, оказавшись, среди осажденных в пылающем здании железнодорожного управления.

Погиб, не дожив ровно месяц до сорокапятилетия...

А спустя два месяца после его гибели, в январе девятьсот шестого, Потанин написал о нем взволнованную, проникнутую скорбью статью.

«Бывают люди, которые не одарены средствами, необходимыми, чтобы оставить после себя след в виде реальных воспоминаний, - писал Григорий Николаевич, - но когда они жили, их душевная красота разливала теплоту в окружающей среде и делала жизнь сносной и даже приятной...»¹.

Да, он не был знаменитостью, говорил «отец областничества», ведь в понимании толпы сей «титул» заслуживал только писатель, путешественник или крупный ученый. И не без сарказма вспоминал, как петербургское общество недоумевало по поводу высоких слов в адрес почившего Гоголя: «*Да кто он такой, генерал-адъютант или тайный советник?*».

Вольфсон не дожил до почтенных чинов и к ним не стремился.

«Это был человек с деликатными чувствами, его отзывчивое сердце не позволяло и никогда бы не позволило сделаться «чиновником» в особенном смысле этого слова. Служение обществу он ставил выше служения государству.

Он не приносил интересов отдельной личности в жертву доктрине, какую бы благородной она ни казалась. Важнее всего для него был живой человек. Свою личную потребность он готов был подавить, если этого требовала потребность другого человека...»².

О Вольфсоне говорили с теплотой на вечере в Технологическом институте, который состоялся за три дня до потанинской статьи. Память его почтили члены томского отделения Всероссийского союза учителей.

«Публики собралось так много, что аудитория не могла вместить всех желающих, и многим пришлось стоять в коридоре», - сообщалось в отчете. И не удивительно: томичи ценили бескорыстных просветителей. Отдавали должное их трудолюбию, порядочности и энергии.

Хотя судьбою Вольфсон обласкан не был. *«Скромный идеалист»*, который учил детей в одной из воскресных школ города, собирал материал, публиковал статьи о педагогике, при жизни не был удостоен внимания.

* * *

Киевлянин Вольфсон оказался в Томске уже в зрелом возрасте. До этого довелось ему немало путешествовать. Жил он в Одессе, Харькове, Крыму, на Кавказе и Урале, в Москве и Петербурге.

Жизнь складывалась тяжело. Попав в немилость к состоятельному отцу или отказавшись от помощи по «идейным» соображениям, Вольфсон рано встал на ноги. Еще подростком, учась в ремесленном училище, стал зарабатывать на пропитание собственным трудом.

Он был из тех, кто достигал положения не связями и услужливостью, а исключительно благодаря способностям и уму.

«Работал писмоводителем, писцом. А когда этот скромный заработок ускользал из его рук, поступал в качестве юнги на корабль, стоял даже в Одесском порту, на берегу моря, нагружал и разгружал приходящие суда.

Так продолжалось довольно долго...»³.

Казалось, шансов вырваться из нищеты у портового грузчика совершенно не было. Но знакомый помог попасть на строительство железной дороги. Знаний у скитальца хватило, чтобы выдержать экзамен на звание техника, и в немолодом уже возрасте Вольфсон поступил в штат служащих Челябинского участка Сибирской железной дороги.

А когда железнодорожное управление перевели в Томск, без колебаний отправился на новое место службы.

Из послужного списка Вольфсона:

«образование: Киевское реальное училище;

- 29 января 1890 года получил свидетельство Техничко-Строительного комитета МВД о праве производства работ по гражданской и строительно-дорожной части;

- служил техником в Пермь-Котласской железной дороге;

- должность в Томске: временный десятник Службы пути по сооружениям, техник технического отдела Службы пути Западно-Сибирской железной дороги;

- холост...»⁴.

В Томск приехал в 1901 году. Вступил здесь в просветительские Общества, стал принимать участие в проведении вечеров и лекций. Показывал себя деятельным членом Общества взаимопомощи.

«Скитальческая жизнь Дмитрия Дмитриевича и встреча с людьми темными, неграмотными вселили в него потребность учить и просвещать подобным тем, с какими приходилось ему сталкиваться, развивать в них любовь к книжке, любовь к знанию...»⁵.

Вольфсон в эту пору деятелен и энергичен.

Прихрамывая на левую ногу, постоянно куда-то спешит – и всюду поспевает. Учит, читает лекции, пишет статьи по народному образованию в сибирских изданиях. Большая часть этих работ появляется в «Енисее».

Он преподает в школе и собирает материал по истории сибирских воскресных школ, считая их *«прототипом народных университетов»*. Изучает архивы, посылает в другие города запросы. Терпеливо, по крупицам собирает материал.

«Результатом этих работ явилось ценное, единственное в своем роде сочинение «Сибирские воскресные школы». В книге этой, содержащей подробные отчеты о 31 школе, указывается, между прочим, что как правительство ни стесняло деятельность воскресных школ Томска, то отдавая их под надзор духовенства, то ограничивая строгими циркулярами, школы все-таки появлялись и крепились...»⁶.

Он мечтал о времени, когда не станет неграмотных, а образование всюду будет бесплатным и на *«темный народ»* прольется свет знаний.

Книгу по воскресным школам снабдил предисловием, назвав ее главным трудом всей своей жизни. Собираясь объединить и осмыслить разрозненные сведения о начальном образовании в Сибири, Вольфсон написал: *«Думаю, моя скромная попытка не будет поставлена мне в укор»*.

И обратился к читателям:

«Убедительно прошу и впредь присылать мне отчеты о воскресных школах Сибири и сообщать о вновь открываемых...»⁷.

Воскресные школы, писал Вольфсон, появились в Томске задолго до открытия университета. И хотя их было немного, хорошо уже то, что в краю *«возмутительного произвола»*, какое-то время действовали школы, *«дающие не только религиозные начала, но и грамоту»*.

Преподавание и учеба в народных учебных заведениях проходили бесплатно, а существовали школы на частные пожертвования и городские субсидии.

«Томске первая мысль об открытии воскресной школы принадлежала учащимся приходских училищ. И нашла поддержку в лице Макушина, председателя училищного

совета, Буткеева, смотрителя уездного училища, и директора местной гимназии Сцибрского. 23 августа 1880 года они подали прошение на имя смотрителя училищ...»⁸.

За три дня до закладки университета.

Вольфсон подробно описывает состояние томских школ, дают богатейшие сведения по Сибири – показывает состояние дел в Омске, Тобольске, Красноярске, Енисейске, Иркутске, Чите и других городах.

Убеждает, что «сибиряки давно созрели для культурной цели», что пора вводить в Сибири земство, которое бы способствовало развитию просвещения и «поднятию умственного уровня масс».

Даёт таблицу: женская воскресная школа в Томске за двадцать лет обучила 3348 православных детей, 68 католиков, 13 лютеран и 190 иудеев. В мужской школе за это же время получили начальное образование 1677 православных, 23 католика, 9 сектантов и 22 иудея.

Последние слова книги вполне годились для эпитафии:

«Только в школе, - писал Вольфсон, - вся сила страны, в ней одной – все счастье народа...»⁹.

Закончив работу, которую называли «настойной книгой всех сибирских учителей», Дмитрий Дмитриевич взялся за другую. Задумал книгу о просветительских обществах Сибири, и со многими установил связь.

Результаты нового исследования, которое опиралось на «опросные бланки» и картину переписи 1897 года, обескураживали. Выходило, что в Сибири – одна школа на 3000 верст и 2000 детей, и что армию безграмотных в крае каждый год пополняют 500 тысяч людей.

Полмиллиона лишенных начального образования сибиряков!

«Дмитрий Дмитриевич приходит к мысли, что единственным средством борьбы с этой ужасной цифрой невежества может служить только открытие в Сибири начальных школ в таком количестве, которое было бы достаточно для обучения безграмотных детей.

И вот он с энергией принимается за новую работу, озаглавленную им «Всеобщее образование в Сибири...»¹⁰.

Призыв к открытию новых школ, просвещению тех, кто проводит жизнь в тяжком труде и нужде, звучит всё сильнее. Книга, верит Вольфсон, должна помочь этой цели.

Закончив книгу за месяц до гибели, он сдал ее цензору.

Через две недели рукопись оказалась в типографии, ее приняли в печать. Утром 20 октября, за несколько часов до смерти, Вольфсон пришел в типографию и попросил рабочих ускорить выпуск.

Но увидеть свой труд ему не удалось.

«Темные силы, невольные убийцы жестоко наказали самих себя: они казнили своего лучшего друга, неумолимого печальника об их духовных нуждах...», - писал в «Сибирскую жизнь» заведующий Минусинским музеем Арсений Ярилов¹¹.

«Невольными» убийцами он считал пьяных, озверевших черносотенцев, полагая, что просвещение помогло бы пробудить в них человеческие чувства.

Преподаватели, коллеги Вольфсона, высказались определеннее: *«Невежественные люди своей кровавой расправой дали яркую иллюстрацию необходимости истинного просвещения масс, на чем так горячо настаивал убитый ими Дмитрий Дмитриевич»*¹².

Всё так... Только цена «иллюстрации» оказалась высока: жизнь скромного, доброго, интеллигентного человека.

И вновь уместно привести выдержку из знаменательной, пылкой статьи Потанина.

«Задачей жизни и своего труда он поставил воспитание поколения в либеральном направлении...осуществление на земле всеобщего человеческого счастья...

Он сделался сибирским общественным деятелем. Как демократ, отдал силы и время молодому поколению, вышедшему из слоев простого народа и учившемуся в томских воскресных школах...

Он знал, конечно, воскресные школы лучше, чем начальство Сибирского учебного округа, которое, однако, не задумалось найти деятельность бескорыстного, преданного делу работника, трудившегося безвозмездно, вредною и запретило ему занятия в воскресной школе...»¹³.

Потанин был прав: человек, который *«служение общества ставил выше служения государству»*, имел право называться *«благородным другом сибирского простонародья»*.

Другом и учителем тем, кто его зверски убил...

А в ведомстве, где служил Дмитрий Дмитриевич, вскоре после того, как его не стало, появилась лаконичная запись:

«Уволен от службы с 20 октября 1905 года приказом по Железной дороге от 8 февраля 1906 года...»¹⁴.

Δ

ПОРТРЕТ ЗОДЧЕГО: ФИШЕЛЬ

Примечательных зданий в старом Томске немало. Но есть лишь одно, на фасаде которого – герб Томской губернии, издавна промышлявшей извозом: вздыбленный конь на зеленом поле.

Сто лет назад здесь размещался городской ломбард. Затем владельцы сменились. В последние годы здание занимает Государственный областной архив, в фондах которого есть документы, имеющие отношение к автору здания.

Имя архитектора знают все томичи по сохранившемуся у входа «автографу». На цементной доске выведено:

«ПОСТРОИЛЪ ХУДОЖНИКЪ Т.Л. ФИШЕЛЬ»

Только человек, убежденный в том, что его творения заслуживают упоминания об авторе, трезво и достойно оценивавший свои работы, мог оставить на здании «подпись». Во всем городе подобных табличек всего две-три, не больше.

Таким был Товий Лазаревич Фишель, томский зодчий, шесть лет пребывавший в должности архитектора городского общественного управления. Один из самых талантливых зодчих за всю историю города.

Жизнеописание Фишеля, несмотря на то, что в городе он играл заметную роль, сохранилось мало. Отчасти потому, что для Томска был он человеком временным, принятым управой на выборную должность. Отчасти в силу того, что и сам, участвуя в общественной жизни, предпочитал оставаться в тени.

Что знали о нем в Томске?

Коренной одессит, сын небогатого торговца. В возрасте двадцати семи лет закончил Петербургскую Академию художеств. Слабое здоровье не позволило это сделать раньше, учебу приходилось прерывать. Правда, с пользой для дела: вынужденные перерывы в занятиях Фишель использовал, работая помощником знаменитого зодчего, академика Фон-Гогена, автора особняков, памятников и общественных зданий в Петербурге, Одессе, Пензе¹.

Получив диплом «неклассного художника», Фишель начал работать самостоятельно. В Одессе спроектировал и построил несколько зданий, украсивших город. Самая заметная работа той поры – здание «Пассажа» на Дерибасовской улице, выстроенное в 1899 году при содействии архитектора Владока. Мастерство Фишеля росло, ему прочили успешную карьеру, хотя получать заказы в Одессе, где творили в ту пору крупные мастера, было не просто.

Но мысль покинуть город возникала всё чаще. Из-за разгула антисемитизма обстановка для молодого зодчего становилась нестерпимой.

Черносотенные настроения проникали всюду, они ощущались и в творческой, и в научной среде. Какую-то роль, возможно, сыграли и личные обстоятельства, но... Как бы там ни было, Фишель покинул Одессу. Уехал за несколько недель до погрома, когда было разграблено свыше полутора тысяч еврейских домов, магазинов и лавок.

А в Томске оказался благодаря случаю.

Лишившись архитектора и не сумев найти замену, Томская городская управа обратилась к Петербургскому уполномоченному Денисевичу. Но и тот помочь не смог. Поиски зашли в тупик: желающих выехать из столицы в далекую Сибирь не находилось. И тогда Денисевич предложил это место одесситу Фишелю, дав отменную рекомендацию.

«Г-на Фишеля знаю несколько лет, как опытного талантливое архитектора чрезвычайной работоспособности и относящегося всегда добросовестно к порученному делу. Из петербургских архитекторов мне не удалось подыскать ни одного, который решился бы переехать в Томск.

Уверен, что если назначение г. Фишеля состоится, его работой будет вполне удовлетворено городское общественное управление», - сообщалось в письме на имя томского городского головы Алексея Макушина².

Имя академика Фон-Гогена томичам, видно, было известно – его ученика тут же приняли в штат городской управы.

Поселившись в центре города, в доме №36 по Дворянской улице, недалеко от управы, Товий Лазаревич Фишель 25 июля 1905 года вступает в должность городского архитектора.

* * *

Блестящие рекомендации оправдались. Город получил трудолюбивого и необычайно способного зодчего.

По его проектам возводят каменные и деревянные дома. По его чертежам изготавливают великолепную мебель. Под его руководством строят, обновляют, капитально ремонтируют многие городские здания.

Фишель работает по частным заказам, строит особняки для купцов и предпринимателей. По его чертежам был выстроен дом известного сибирского просветителя Петра Макушина. Перу Фишеля принадлежат проекты доходного дома купца Ивана Некрасова, особняка купца Григория Нестерова, других домов в городе³.

Развитие образования формировало, во многом, облик городской застройки. Для нужд народного просвещения в начале XX века управа выделяла ассигнования, привлекала государственные средства и частные пожертвования. Едва ли не каждый год томичи ремонтировали, расширяли, строили учебные заведения. И в этой работе важнейшее участие принимал городской архитектор.

Он определял место постройки и её характер. Решал, строить по типовому документу или предложить свой проект. Вёл наблюдение за строительством и руководил им там, чтоб сэкономить в интересах города хотя бы какую-то сумму.

Благодаря Фишелю на томских улицах возникли новые учебные заведения: двухэтажные каменные школы на Миллионной и Жандармской улицах. Владимирское училище, выстроенное в память о первой Государственной Думе, и крупнейшее в городе Заозерное училище⁴. На средства купца Ильи Фуксмана, одного из удачливых коммерсантов Томска, в 1910 году зодчий строит двухэтажное каменное здание еврейского начального училища⁵.

Несколько торговых корпусов обязаны своим появлением Фишелю: торговые лавки на Спасском базаре, Съестной ряд на Базарной площади, уникальный по архитектуре Мучной корпус. Среди торговцев крупчаткой, вложивших средства в строительство здания, был купец Григорий Фуксман, владелец паровой мельницы и конезавода⁶. Корпус на шесть торговых помещений, по числу пайщиков, спроектирован был так, что в рисунке фасада здания просматривались очертания мучных мешков.

Городской архитектор не оставил без внимания и медицинские учреждения. Построил бараки при инфекционной больнице, спроектировал дезинфекционную камеру. Сделал пристройку к городской больнице Некрасова. На капитал, что пожертвовал городу купец Калинин-Шушляев, построил богадельню⁷. Причем по просьбе управы выполнил два чертежа – проект пристройки к существующей богадельне и проект отдельного здания. А во дворе ночлежного дома возвел флигель, сделав проект и смету опять-таки в двух вариантах.

На берегу реки Ушайки зодчий строит один из первых в городе синематографов⁸. Проект здания заказал ему шведский подданный Гергард Линдерборг. Давая разрешение на аренду земли и строительство синематографа, городская дума указала, *«чтобы здание было вполне приличного вида с железной крышей и построено по утвержденному городской управою плану»*. Получив проект, заказчик остался доволен. Не возникло претензий и у городских властей.

Всё, за что Фишель ни брался, он делал тщательно, хорошо, творчески.

Вместе с архитектором Лангером, который проектировал деревянную синагогу на Нечаевской улице, Фишель возвёл красивейшее в городе здание, Дом науки на Белом озере – позже проект доработал Крячков⁹.

Приступая к работам, зодчий, по заведенному порядку, давал подписку. Текст такого документа, выполненный рукою Фишеля, хранится в архиве:

«Имея право производства построек на основании существующих узаконений по свидетельству, выданному Техничко-строительной комиссией Министерства внутренних дел, даю сию подписку Строительному отделению Томского губернского управления в том, что принимаю на себя ответственность за правильность и прочность построек...».

И подпись: неклассный художник Т.Л. Фишель¹⁰.

Последней томской работой архитектора стало выполненное в неоклассическом стиле здание городского ломбарда на Духовской улице¹¹.

Весной 1911 года Фишель представил проект в управу, получил одобрение. Дума утвердила смету и проектные чертежи. Но строительство велось уже без него: зодчий был вынужден покинуть Томск. Без него в августе того же года состоялось торжественное освящение нового здания еврейского училища имени Фуксмана.

«Торжество, - писали газеты, - открылось пением молитвы, после которой И. Фрейдкин сделал краткий обзор истории училища за 38 лет, где были приведены данные о бюджете...»¹².

Считалось, что Фишель уехал из-за слабого здоровья, повинувшись требованию врачей. Да и сам он в прошении об отставке называл, по сути, ту же причину:

«Честь имею просить городскую управу в виду переутомления освободить меня от обязанностей городского архитектора...»¹³.

И все же дело было в другом. Продолжать работать в обстановке интриг, мелочных придирок, несправедливых упреков со стороны членов управы и гласных Фишель, обладавший чувством достоинства и знавший себе цену, не мог.

По дороге в Петербург, на челябинской станции, он отбил телеграмму:

«Расставаясь с холодной Сибирью, шлю сердечный привет и признательность за ласку, тепло и радушие всем моим томским друзьям...»¹⁴.

* * *

Документы позволяют представить характер и образ жизни одаренного ученика фон-Гогена.

Был он скромным и замкнутым человеком, отдавал делу всего себя, без остатка. Принимал участие в работе Врачебно-санитарного совета. Входил в комиссию по благоустройству города. Состоял присяжным заседателем окружного суда по Томскому узду – единственный иудей из 60-ти человек¹⁵.

Входил в городскую комиссию по оказанию помощи томичам, пострадавшим от наводнения 1910 года, в комиссию по изучению пожарного дела. И в комиссию «по изучению постановки учебного и хозяйственного дела в ремесленных училищах города».

Хлопотал с другими в правительственной Комиссии по новым железным дорогам «о проведении южной ветки» на Томск¹⁶. А когда в Томском Технологическом институте при инженерно-строительном отделении откры-

лось подотделение инженеров гражданских сооружений, был вовлечен в преподавание. И показал себя на этом поприще неплохо...

Занятия архитектурой, общественная деятельность не мешали уделять внимание живописи. Известны его статьи, отзывы, рецензии и заметки по искусствоведению в «Сибирской жизни».

В то время сибирская архитектура переживала подъем. Он был ознаменован использованием местного колорита, особых приемов и символов, что позволяло говорить о зарождении «сибирского стиля». Одни убеждали, что рассуждать о нем преждевременно. Другие доказывали обратное – к числу их принадлежал Фишель. Свое мнение он аргументировал примерами из практики¹⁷.

Поиски регионального своеобразия в архитектуре привели, в самом деле, к использованию приемов декоративной стилизации, уходящей корнями в искусство коренных сибирских народов. Томские зодчие украшали наличники домов стилизованным изображением хвойных деревьев и шишек, применяли хантыйский орнамент. Делали лепные вставки в виде белок, украшали фасады силуэтами соболей.

Сам Фишель в проекте пристройке к ремесленному училищу для декоративной отделки фасада использовал изображение медведей. Применял северный орнамент при проектировании особняка Макушина, других зданий. И не только деревянных: первый проект ломбарда, выполненный в северном, норвежском стиле, включал «сибирские мотивы»¹⁸.

В рецензии на первую в Томске периодическую художественную выставку, открывшуюся 26 декабря 1908 года, Фишель писал:

«Это начало самостоятельного направления живописи в Сибири, направления, изучающего ее своеобразную, могучую природу и многочисленные народности...»¹⁹.

Томичи отдавали должное умному, даровитому архитектору. Приглашали его в конкурсные комиссии и комитеты. Избирали в состав правления Общества любителей художеств.

В январе 1910 года, после второй городской выставки, Фишель пишет статью, где доказывает необходимость открытия в Томске рисовальной школы. Усилиями членов Общества в том же году Школа живописи начинает работу в помещении Женской профессиональной школы.

Не хватало средств – Фишель через газету призывает городские власти и меценатов поддержать новую школу. Советует поторопиться, чтобы получить пособие от Академии художеств *«хотя бы к будущему году»*.

Вместе с художниками Базановой, Щегловым и другими хлопочет о разрешении открыть Художественно-промышленную школу с граверной, резной, лепной, чеканной, эмалевой и печатной мастерскими. Входит в Комитет по созданию этнографического музея под открытым небом. Предлага-

ет открыть городскую картинную галерею и собирать лучшие произведения художественного и прикладного творчества.

Когда в Петербурге открылся Всероссийский съезд художников, из Томска туда отправились делегаты, члены Художественного общества. И среди них – Фишель, делегат от коммерческого училища²⁰, где перед тем, кстати сказать, в устав внесено было примечание о «10-процентном» приеме детей иудейского вероисповедания.

Помогая устраивать выставки, Фишель поддерживал начинающих талантливых живописцев. Чтобы обеспечить работой молодых художников, правление Общества предложило как-то выполнить для табачной фабрики Лаферм рекламные плакаты. Рамы для конкурсных работ, которые появились затем в виде щитов на Набережной Ушайки, бесплатно проектировал Фишель²¹.

В жизни еврейской общины чиновник управы Фишель прямо не участвует. Однако его симпатии – на стороне тех, кто стремится к сохранению и развитию еврейской культуры, традиций, уничтожению гражданского бесправия российских иудеев.

В начале 1910 года открываются в Томске две просветительные организации: местное отделение Общества по распространению просвещения между евреями России и отделение Петербургского еврейского литературного общества²². Они проводят вечера, концерты еврейской музыки. Устраивают публичные чтения. Всё это живо интересует Фишеля.

Тем более, что организаторы Обществ – хорошо знакомые ему люди: присяжный поверенный Бейлин, купцы Гуревич, Быховский, раввин Беры.

Атмосфера почитания народных традиций, уважения к историческим корням становится характерной для томского Общества любителей художеств. И происходит это во многом благодаря Фишелю, его разносторонним статьям и заметкам.

Не без участия зодчего в Общество входят представители еврейской общины – врачи Прейсман и Гринберг, а на выставках появляются работы молодых пейзажистов и графиков – Линдермана, Кац, Менчика, Тепфера, этюды Ароновой²³.

То была насыщенная, плодотворная пора в жизни Фишеля. Он был полон замыслов, пользовался авторитетом. Имел много частных заказов. И вдруг отказался от выгодной должности, положения, успеха, порвал с друзьями и, не докончив два крупных объекта – ломбард и Заозерное училище, уехал из города.

Сознавая, какого специалиста теряет Томск, городские власти пытались его удержать. Но тщетно...

* * *

В характеристике, выданной Фишелю секретарем управы, читаем:

«Состоя на службе в должности городского архитектора, Товий Лазаревич Фишель... к своим обязанностям относился с надлежащим вниманием, аккуратностью и добросовестностью, проявляя всегда деятельную энергию и полное понимание своего дела...

В период служения интересам города г. Фишель, не выходя за рамки сметных назначений, а по некоторым капитальным сооружениям допустив экономию, позволил сберечь для города, по общей сложности, 15595 рублей 73 копейки...»²⁴.

Здесь управа слухавила, занизив сумму сэкономленных Фишелем средств. Лишь на строительстве городских училищ, по сведениям, опубликованным самой управой, Фишель, составлявший смету и контролировавший работы, сэкономил почти 18 тысяч²⁵. Строительство каменного флигеля во дворе ночлежного дома обошлось, благодаря ему, в минимальную сумму – 9500 рублей.

И так было все шесть лет безупречного *«служения интересам города»*.

Нет, сомнений в высоких профессиональных качествах Фишеля ни у кого не возникало. Тем большее недоумение вызывали случаи, когда город или ведомственные учреждения отвергали проект, добросовестно выполненный городским архитектором, и принимали заведомо ущербный, дорогой вариант постройки.

Так, в апреле 1909 года, выполняя заказ учебного округа, Фишель представил эскиз здания Второй женской гимназии. Эскиз признали неудовлетворительным и передали заказ окружному архитектору Министерства народного просвещения. Городская комиссия, рассмотрев новый проект, нашла его недопустим, а гласные думы *«присоединились к изложенным замечаниям»*.

Тем не менее, проект был принят, что объяснялось размером гонорара дорогостоящего, по смете, здания²⁶.

При строительстве Заозерного училища пренебрежительное отношение к работе зодчего привело к тому, что он сложил с себя обязательства по контролю за отделкой *«вчерне завершенной под его наблюдением постройки»*. Проект фасада, утвержденный думой, не понравился заведующему постройкой Селиванову. Тот потребовал изменить его *«сообразно своим вкусам»*.

И Фишель написал заявление, которое заканчивалось словами:

«Находя для себя неудобным дальнейшее ведение работ, покорнейше прошу освободить меня от технического надзора по вышеуказанной постройке...»²⁷.

На бумаге стоит дата: 19 ноября 1911 года.

К тому времени, возмущенный невежеством и придирками, Фишель уже оставил должность городского архитектора, продолжая наблюдать за строительством городских объектов, дабы закончить начатую работу...

Найти замену город смог далеко не сразу. Все опытные зодчие, способные занять вакантную должность, ответили отказом. Частная и ведомственная работа архитектора оплачивалась лучше и была не столь напряженной.

Когда переговоры, длившееся все лето 1911 года, ничего не дали, *«управа признала необходимым повысить вознаграждение городскому архитектору с оставлением ему двух процентов от сметы суммы»*.

Городской голова Некрасов через петербургского представителя Новосёлова разместил объявление в столичной газете «Новое время» и журнале «Зодчий». Обратился в правление Императорского Общества архитекторов, прося *«указать подходящих лиц, желающих занять сию должность»*.

В конкурсе приняли участие, в общей сложности, десять человек²⁸.

Среди них – выпускник Академии художеств сын купца-еврея Григорий Бархин: ученик академика Клейна, возводивший хоральную синагогу в Вильно, он участвовал в сооружении Московского музея изящных искусств. Был автором проекта «Дворца мира», победившего на Международном конкурсе в Гааге.

Профессор Померанцев рекомендовал его, как *«делового, услужливого и способного архитектора»*. Профессор Бенуа заявил в сопроводительном письме, что знает бывшего помощника Виленского губернского архитектора, как *«знающего, способного, трудолюбивого зодчего»*.

Казалось, лучшей кандидатуры сибирякам не сыскать.

После долгих обсуждений, томская управа остановила выбор на трех претендентах: первым в списке значилось имя Бархина. Но, вопреки ожиданиям, должность городского архитектора досталась не ему. И не Самуилу Пастернаку, который с отличием окончил инженерно-строительное отделение Киевского политехнического института и практиковал у лучших частных архитекторов Киева.

Кандидатуру его томичи всерьез даже не рассматривали, несмотря на рекомендации профессора Дубелира, профессора Иванова и директора Киевского политехникума г-на Дементьева. В конкурсных документах на имя Пастернака значилось, что молодой человек, 26 лет от роду, *«принадлежит к людям иудейского вероисповедания»*²⁹.

И кто же явился преемником Фишеля?

Главным архитектором города стал Лука Князев, человек без опыта, только что окончивший *«курс наук в Институте гражданских инженеров»*. Архитектор с «безупречной» родословной и большими амбициями. Проработав несколько месяцев, Князев возмутился, что управа *«не назначила ему помощника»*, ибо молодой архитектор не справлялся с обязанностями.

*«Назначение второго архитектора считаю нарушением своих личных интересов», - откровенно, без всякого смущения, писал он в управу. – Передача новых застроек с процентным вознаграждением нарушает мои имущественные интересы, так как процентное вознаграждение является добавлением к моему жалованию...»*³⁰.

Не полагаясь на принятые формы служебного разбирательства, Князев начинает интриговать, привлекает членов управы. И добивается своего: городская дума отменяет постановление о назначении второго архитектора.

Тем не менее, обиженный Князев подает в отставку и уезжает в Ревель. Туда же управа выслала деньги, 836 рублей 68 копеек, «за наблюдение строительных работ, составление сметы и проекта» трех томских зданий. Но дополнительное вознаграждение пересылать не стала.

«Принимая во внимание, что по всем постройкам, по которым г.Князев составлял сметы или производил наблюдения, обнаружены различные дефекты и пробелы, управа не нашла возможным удовлетворить его просьбу о выдаче вознаграждения...»³¹.

И тогда молодой человек, плохо разбиравшийся в архитектуре, зато превосходно знавший свои права, обратился к мировому судье 5-го полицейского участка Томска с иском к городу на сумму 1600 рублей.

Величина претензий была столь несуразна, что позже через доверенное лицо Князев сообщил томичам, будто «желает окончить дело миром по условию уплаты ему немедленно 1200 рублей».

И что же? Притязания Князева «ввиду непредставления достаточных доказательств» его вины суд признал справедливыми, и город был вынужден откупаться от проработавшего меньше года архитектора...

Почти вся эта история происходила на глазах Фишеля, честность и профессионализм которого томичи вспоминали тогда часто. Но завершилась уже без него: распрощавшись с друзьями, Товий Лазаревич уехал из города навсегда.

А спустя два года томичи с прискорбием узнали о его смерти.

III. ТОТ САМЫЙ НАРЫМ

КАРТИНА ССЫЛКИ

Холодно здесь. Холодно и бесприютно.

Чахлые невзрачные растения, кусты и деревья, не видевшие настоящего солнца, а за ними болота. На сотни, тысячи вёрст – поросшие рыжим, словно бы ржавым мхом бездонные болота.

Гиблые места, хуже не бывает. Хуже, должно быть, лишь в преисподней. Но туда, в обиталище грешных душ, дорога живым заказана, а в эти края водворяют. Везут и везут.

Доставят тебя под конвоем, как пса на цепи, бросят жалкое пособие, как кость, и скажут: «Живи». Помилосердствуйте, где же тут жить, в этих душных и тесных, похожих на конуру, домишках? И как жить – вдали от семьи и друзей, от всего, что дорого...

Выйдешь ночью на крыльцо: темень и пустота. Огромное звёздное небо над головой, а под ним, в центре мироздания – глухое, Богом забытое селение. Настолько глухое, что мнится порой, будто и нет ничего, кроме него, будто вся прошлая жизнь – мираж, игра больного сознания, короткий сон.

И так станет тягостно на душе, так сдавит сердце тоска, что уже не слова, а жалобный стон вырвется из груди. Захочется взвыть, как бедному псу.

Плохо здесь ссыльному. Бесприютно и холодно...

Срок ссылки, поначалу казавшийся небольшим, теперь совершенно пугает: три года в Нарыме, что тридцать лет где-то в иных, не таких глухих местах. Попробуй-ка, выживи!

Но товарищ, который сильнее тебя духом, бодрит и делает вид, что ничего такого не замечает. Говорит о долге, взывает к гражданской совести, толкает к дальнейшей борьбе с ненавистным самодержавием. Пройдет много лет, говорит, и где-то, в какой-нибудь тоненькой книжечке, посвященной Нарыму, ты непременно прочтешь:

«Здесь в течение многих лет зверски эксплуатировалось и стонало под игом произвола и насилия трудовое население. Здесь из года в год вымирили остяки и эвенки. Здесь томились в ссылке революционеры. Нарым заслуженно считался гиблым краем...»¹.

Потому-то сюда и ссылали.

После Варшавы или, к примеру, Киева и губернский Томск покажется унылым, неказистым, даром что благодаря университету носит титул «Сибирских Афин». А чем дальше на север, тем хуже – бедней и неустроенней.

Плывешь по Оби – от деревни к деревне полдня пути, и погода всё пасмурней, тучи тяжелее, ветер студенее, и на душе, соответственно климату, –

сплошной холод. Дорога в Нарым сама по себе испытание, чего только не передумаешь, пока едешь.

Ну, а придешь на место, осмотришься и тихо вздохнешь: кособокие деревянные избы, подворья за массивными воротами, откуда доносится мычанье и квохтанье. Каменных зданий всего два – дом купца Родюкова да жилище купца Заводовского. Не считая, конечно же, церкви, но и та столь невзрачна, что уж лучше бы, думаешь, была деревянной, с затейливой резьбой.

Одно слово: Нарым.

* * *

Везут сюда господ социалистов чуть не со всей империи. Везут поляков, евреев, латышей, русских. Всех политически неблагонадежных, всех отступников, злейших врагов престола.

Доставляют в Нарымский край эсеров, социал-демократов, бундовцев, анархистов, членов Польской социалистической партии – и откровенных уголовников, налётчиков, которые причисляют себя к революционерам. Нарым всех примет, всех приютит.

Нарым остудит горячие головы.

Оно, конечно, ссылали сюда и раньше, но только весной 1906 года, после известных событий, ссылка в Нарымский край стала массовой.

Многие месяцы «томские тюрьмы заполнялись пересыльными в Нарымский край. В ожидании этапа они томились в Томском губернском замке и загородном отделении, так называемом «Нарымском бараке». Большинство ссылаемых совершенно не были знакомы с условиями ссылки, обычно прибывали в неподходящей для сурового сибирского климата одежде... и почти все без копейки в кармане...»².

Тюремное начальство передавало ссыльных томскому уездному надзирателю. Тот тщательно сверял список, отсылал бумагу Его превосходительству губернатору, а затем доставлял тех, кто поставил себя вне закона, в Нарымский край – за четыреста верст.

Фамилии в списке, чаще всего, были не русские – значились там, главным образом, поляки и евреи. Или польские евреи – из Варшавы, других городов и местечек. Евреи нередко преобладали:

«Волынский мещанин Ихель Пинхасович Швец,
- преподаватель еврейской школы из Бреста Абрам Левин,
- рижская мещанка Стерна Вульфовна Заригацкая,
- екатеринославский мещанин Саул Сендерович,
- таврический мещанин Яков Лившиц,
- купеческий сын Моисей Розенблом, аптекарский помощник Лазарь Иоффе, студент Московского университета Александр Розенберг,
- прилукские мещане Арзиэль Самойлович, Моисей Супоницкий, Израиль Вольперт, Пинхас Левятов» – и сотни других³.

На каждого «политического» заводили дело, так называемый «статейный список», где указывали сословие, место рождения, род занятий, приметы, семейное положение. И непременно вероисповедание.

К этой бумаге прилагали «опись собственным вещам», указывая, в чём ссыльный прибыл, в какой одежде, и что составляло багаж. Дотошно перечисляли все вещи, включая носовые платки.

Список, впрочем, выходил небольшим: господа социалисты, в большинстве, были мало имущими. Какое-нибудь потёртое пальто, старые ботинки, выдавшая виды шапчонка да багаж – две пары белья и сорочка. Невелико богатство.

Что-то из вещей выписать можно, не возбраняется, но больно уж дорого и, главное, без всякой гарантии, что благополучно дойдёт.

«Господин уездный исправник, - жаловались Левин и Розенблюм, - четыре месяца назад получил квитанцию на получение наших вещей, адресованных на его имя из Брест-Литовска. По наведенным нами справкам, вещи наши давно уже прибыли и находятся на товарной станции Томска.

Несмотря на неоднократные наши заявления, господин исправник до сих пор не переслал нам означенных вещей и не сообщил, как он поступил с ними и квитанцией. Деньги за доставку вещей уплачены при отправлении из Брест-Литовска.

Просим Ваше превосходительство сделать надлежащее распоряжение...»⁴.

Как там было на самом деле, получал исправник чужой багаж или нет, не известно, только доложил, что чужих вещей отродясь не видел и ничего, конечно, не брал. А через месяц на товарном дворе железнодорожной станции нашлись «два места вещей, присланных на адрес городской полиции», – может, те самые, а может, другие, установить не смогли, так как «адрес на вещах не имелся».

Багаж отвезли в полицейское управление – и там он пролежал, покуда о нём не забыли, а потом, надо полагать, совершенно исчез. Стал живым доказательством лихоимства, о котором возмущенно говорили господа революционеры. Но при всех разбирательствах, когда исчезали деньги или терялся багаж, губернская власть неизменно принимала сторону бесправных ссыльных.

Закон для всех един. И для тех, кто его ниспровергает, представьте себе, тоже.

Потому не удивительно, что время от времени появлялись грозные распоряжения за подписью, скажем, вице-губернатора, который требовал, к примеру, «*прошение Симона Магидея о высылке ему от родителей 80-ти рублей на лечение*» удовлетворить, «*выдать просителю деньги и в трехдневный срок донести*». Да ещё объяснить, по какой причине «*в сём случае допущена медленность*»⁵.

Всё правильно: казна и так несёт серьезные расходы, пусть хоть некоторые проживут и полечатся за свой счет. Какая ни есть, а экономия государственных средств.

По положению, бедным ссыльным, *«не имеющим никакого состояния и средств пропитать себя»* правительство помогало снимать квартиру *«примерно за рубль 20 копеек ежемесячной платы»* и давало каждому *«на содержание его»* 15 копеек в сутки. Пособие было пустячное в сравнении со стоимостью жизни, но выдавали его почти всем: удостовериться, кто действительно нуждается в казённом *«пропитании»* было трудно.

Циркуляр МВД пояснял, что пособием могут довольствоваться лишь *«лица привилегированных сословий»*, прочие обязаны зарабатывать на жизнь собственным трудом⁶. При условии, что есть заработок, есть куда приложить заскучавшие по ремеслу руки, а его-то, заработка, в Нарымском краю, как на грех, и не доставало.

«При рассмотрении ходатайства поднадзорных о выдаче суточных и квартирных, - разъяснял циркуляр, - необходимо входить в самую тщательную и строгую оценку условий, при которых может быть допускаемо назначение пособий. Причем ни в коем случае не удовлетворять ходатайство лиц, добровольно избравших место водворения», жен административно ссыльных, «или не желающих добывать средства трудом при полной возможности по состоянию здоровья и местным условиям для приискания занятия...»⁷.

Местные условия таковой возможности не предоставляли, а по состоянию здоровья, опять же, могли трудиться немногие. Вот и выходило, что вся надежда – на милость правительства, против которого господа революционеры яростно и неустрашимо боролись.

Ссыльные в Нарыме «жили группами, снимая дом по два-три человека», и каждый платил за комнату от двух до пяти рублей в месяц. «С материальной стороны ссыльным жилось тут неважно. Пособие выдавалось небольшое, да и оно нередко задерживалось выдачей. Заработков же было мало. Часто ссыльных, правда, нанимали на рубку дров, кое-кто промышлял охотой. Но большинство... жили плохо...»⁸.

На первых порах, когда в Томск везли всех, без разбора, за одно подозрение в неблагонадежности, и Нарым переполнили ссыльные, денег для них катастрофически не хватало. Бюрократическая машина не поспевала за охранкой, финансовое ведомство двигалось медленней жандармского. И денег политическим преступникам давали втрое меньше положенного.

Они, естественно, возмущались, губернское начальство, соглашаясь, что *«прокормиться на 5 копеек в сутки невозможно»*, пыталось их успокоить, телеграфировало в столицу о нехватке средств. Губернатор барон Нолькен предлагал *«повысить кормовое и квартирное довольствие»* хотя бы до восьми рублей 50-ти копеек.

Положение его было незавидное, уж точно. Помогать врагам престола, исполняя их требования, означало идти на уступки, а значит, ронять престиж власти, против которой они выступали. Но и не соглашаться с резонансностью требований, было невозможно: возмущались-то ссыльные правильно. Вот и переживал генерал-губернатор, вот и терзался.

Потом решился и, не дожидаясь ответа, своею властью повысил ссыльным пособие, чтоб пригасить возмущение. Позаимствовал деньги из губернской казны. И получил отповедь: глава директора Департамента полиции Министерства внутренних дел заметил, что «увеличение норм пособия поднадзорным» может последовать лишь «в законодательном порядке», не иначе.

А «расходы, превышающие нормы пособия», добавил, казна возмещать не намерена. Пусть даже нормы занижены против тех, что установлены были самим Департаментом⁹.

Тем не менее, 3 тысячи рублей казна дополнительно перечислила: кормить-одевать ссыльных надо, ничего не попишешь. И число полицейских надзирателей в Нарымском крае обещали повысить. Такого роста административной ссылки, по всему было видно, не ожидали даже в правительстве.

Что говорить: еженедельно в Нарымский край ссылали летом не меньше ста человек, расходы по каждой сотне превышали 1000 рублей. К концу июня доставили 600 ссыльных, а правительственный кредит был совершенно исчерпан. Пришлось «позаимствовать из посторонних источников», то есть привлечь свои, губернские средства ещё в размере двух тысяч рублей.

С молчаливого, как говорится, разрешения правительства.

«Большинство ссыльных люди бедные, - сообщала «Сибирская жизнь», - не имеющие положительно никаких средств. Посему многим приходится прямо-таки голодать в полном смысле слова. Работ же в Нарыме почти никаких, лишь в последнее время купец Родюков дал ссыльным подряд на выделку кирпича, каковой работой занимаются и интеллигенты, не привыкшие к тяжелому физическому труду...»¹⁰.

За первые четыре месяца безудержной ссылки на север губернии отправили десять партий изгнанников: казне это обошлось в 13525 рублей и девять с половиной копеек. Лишь на одежду арестантам было выделено свыше 5000 рублей, да кормовые, квартирные деньги. И это при строгой-то экономии: вести такие внушительные издержки власть не горела желанием. Требовала, чтоб политические преступники жили на собственные, заработанные или присланные, средства.

А они, со своей стороны, не желали этого тоже. Упрямо просили пособия, жаловались на горькую судьбу, вымаливали снисхождения.

Писали ходатайства, прошения, просьбы. Писали волостному начальству, исправнику, самому губернатору...

* * *

Ну, а что в этих условиях прикажите делать: «кормовое» пособие запаздывает, зимнюю одежду дают, когда грянет мороз, а то вовсе не выдадут.

Проклятые сатрапы! Ненавистные прислужники самодержавия! И терпеть оппонентов не могут, упекают в Нарым, и обеспечить им в ссылке человеческие условия не в состоянии. Что за власть, скажите на милость!

Однако и полицейские проявляли недовольство: кому бы возмущаться, только не вам, господа обличители и ниспровергатели. Угодили в Нарым – так ведите себя тихо, живите спокойно, без шума. Скажите спасибо, что выслали не несколько лет, не навсегда.

Благодарите милосердную власть и государя императора.

Некоторые и впрямь благодарили, слёзно раскаивались и, как нашкодившие дети, просили прощения.

«Не стану писать, что за арестован, зато напишу, что ожидает меня здесь, в Нарымском крае, - сообщал Пинхас-Мовше Левятов. – Дома остались мать, неимущая вдова, и старший брат. Это те, кого я один мог кое-как поддержать, работая на фабрике, мог утолить их голод хотя бы куском хлеба. А что теперь? Я нахожусь в Нарымском крае и не могу помочь матери и несчастному брату, даже себе не хватает на хлеб...

Я уже много страдал, полгода страдал – сидел под замком, в разных тюрьмах, а потом привезли сюда. И теперь обращаюсь к Вашему Превосходительству: только Вы можете мне помочь! Прошу разрешить мне выехать в такое место, где я мог бы заработать и поддержать несчастное мое семейство...»¹¹.

Странные люди: участвовать в рабочем движении он, видите ли, может, ходить на противоправительственные сходки вполне готов, а отвечать за поступки по закону не желает.

На прошение легла резолюция: отказать.

Подробно и жалобно расписывал бедственное своё состояние другой административно ссыльный, Шимон Наумович Магидай.

«Никто на мои жалобы не реагирует. Такое отношение к больному, даже к умирающему каторжнику может назваться бесчеловечным. Чем же я заслужил это? Простая неосторожность толкнула меня на путь бедствия – и нет снисхождения, нет помощи, нет простого человеческого отношения к заблудшему».

Ну, что, казалось бы, стоит сократить срок ссылки «для такого ничтожного преступника», а вместо послабления «ко мне применяют более тяжкое наказание, чем смертная казнь, где один момент – и всё кончено. Меня приговорили к медленной смерти, которая продолжается уже два с лишним года...»¹²

Будь на месте генерал-губернатора кто-то другой, его чувствительное сердце разорвалось бы от страданий, безудержные рыдания охватили бы от жалости к слабому, беззащитному ссыльному. Он тут же отпустил бы страдальца на волю, позвал к себе и прижал несчастного к своему генеральскому мундиру.

Но Его превосходительство был человек закаленный, суровый, чуждый сантиментам. Он брал в руки перо и собственноручно, своей резолюцией, продлевал страдания революционеру. Будешь, мол, знать, как подстрекать рабочих к беспорядкам. Это тебе, голубчик, хороший урок.

В то же время справедливая просьба могла подлежать удовлетворению. Не всегда, разумеется, не во всех случаях, а всё ж таки: потерялся багаж, не дошли от родных деньги, запаздывает пособие? – надо разобраться, навести порядок, исправить оплошность.

По-разному реагировала власть на просьбы о серьезной врачебной помощи: одним разрешали выехать в Томск, другим запрещали. *«Для посещения лечебницы»* покидали место ссылки Михля Шабсельс, Михаил Линдберг, Матвей Розенблюм, прочие хворые социалисты. А некоторые получали отказ.

Ссылный Абрам Златкович, оказавшись в ссылке, почувствовал недомогание: заболел глаз. А тут вдруг покинул Нарым врач – взял да уехал, оставив больных *«без всякой медицинской помощи»*.

Что было делать? На поездку в Томск разрешение не дали, а зрение, между тем, продолжало ухудшаться. Златкович вновь одолевает просьбами губернатора: *«дозвольте поехать к врачам, пока вконец не лишился зрения»*.

«Итак, вся моя жизнь зависит от Вашего превосходительства. - пишет в конце, - Имею честь покорнейше просить освободить меня в Томске от полицейского надзора или разрешить выехать за границу на срок ссылки...»¹³.

То есть, что значит освободить, на каком основании? Ну, нет!

Одно неверное слово, одна необдуманная фраза – и всё, готов ответ: *«прошение Златковича оставить без последствий»*.

Но глаз-то болит, видать, не на шутку. И бедный Абрам, двадцатипятилетний торговец из Виленской губернии, решает бежать. Да не один, а в хорошей компании: на пароходе Западно-Сибирского речного пароходства подались с ним в бегу Аарон Кантмин и Григорий Финкельштейн.

Только далеко не уехали, на первой же пристани господ марксистов задержал околоточный надзиратель. И доставил под конвоем в Томское исправительно-арестантское отделение: за побег полагалось три месяца тюремного заключения.

Отсидев своё, Абрам Златкович вновь попадает в Нарым, и вновь его охватывает тоска по воле. Он пишет покаянное письмо, соглашается, что да, поступил некрасиво, совершив побег, и признаёт истинную причину: оказывается, в Нарыме ему трудно прижиться, местные жители *«косо смотрят»*. И вообще, как-то холодно и неуютно.

«Умоляю отправить хотя бы в томскую каталажку», а лучше, пишет, разрешили бы выехать за рубеж. И ни слова о больном глазе – то ли зрение вернулось само по себе, то ли в тюрьме оказали-таки требуемую помощь. Ни

в каталажку, ни за рубеж его, в общем, не отправили – так и прожил весь срок ссылки.

Ну, а другим повезло больше: по постановлению министра внутренних дел, нарымскую ссылку заменили зарубежной Евгению Френкелю. Обстоятельства смягчения приговора документ не указывал, но вывод напрашивался один: молодой человек, скорее всего, имел родственников, способных выхлопотать поездку в Швейцарию¹⁴.

Как «наказание» за участие в революционном движении.

Такое же решение последовало для Саула Сендеровича, причем после того, как совершил из ссылки побег и был пойман с баулом нелегальной литературы – марксистскими книжками, воззваниями, листовками. Сендеровичу тоже, представьте, выдали заграничный паспорт, препроводили до пограничного пункта и велели уехать с глаз долой на весь срок ссылки¹⁵.

Выбрались за границу сходным путем братья Розенберги, Слоним, некоторые другие социал-демократы. А виленский мещанин Берк Рубин, которого ждал Туруханский край, получив разрешение отправиться для лечения за границу, отбыл в другом направлении, ушёл в подполье и продолжил революционную деятельность.

Причем поиски его велись так бездарно, что за отсутствием примет и прочих нужных подробностей жандармы хватали однофамильцев во всех городах империи. И какой-нибудь киевский Рубин оказывался, бедолага, в тюрьме, пока не выясняли, что *«он и нарымский Рубин – совершенно разные лица»*¹⁶.

Да хорошо, если вовремя разбирались, а ведь могли обнаружить казус и позже. Так получилось с Левиным: отбыв в Нарыме чуть не половину срока, он получил известие, что министр внутренних дел соизволил освободить его от надзора и возвратит на родину. Ошибочка вышла, сказали, хотели упечь врага престола Янкеля Лейбовича Левина, а схватили ни в чем не повинного Абрама Лейбовича Левина. Тихого брестского мещанина.

В то время, пока один Левин продолжал расшатывать основы режима, другой Левин томился за его вину в Нарыме. Бедствовал и проклинал судьбу, а может, даже болел, непривычный к суровому климату. И в среде господ ниспровергателей волей-неволей проникался их пылкими убеждениями: нарымские ссыльные проводили, почти не таясь, партийные собрания, устраивали сходки.

«...А в селе Колпашево, - докладывал унтер-офицер сентябрьским днем 1906 года, - было сборище, в каковом участвовали административно высланные, человек двести... По полученным мною сведениям, у некоторых есть много оружия, револьверы и охотничья ружья...»¹⁷.

Но в том же Колпашево, следовало из донесений, жилось, в целом, лучше, чем в «столице» Нарымского края. Полицейских надзирателей было меньше, жильё чуть просторней, а обед немного дешевле.

Колпашевская касса помощи ссыльным пополнялась деньгами, на которые существовала столовая. Обед из двух блюд там стоил десять копеек: такой *«сытный, вкусно приготовленный обед»*, говорили, *«удовлетворяет невзыскательного изгнанника»*. В библиотеке имелись газеты, ссыльные врачи оказывали медицинскую помощь, которой пользовались и местные жители, тогда как в Нарыме *«лечение было очень плохое»*¹⁸.

Стены столовых на первых порах везде «были увешаны портретами революционных вождей. Там были портреты Маркса, Чернышевского, Бакунина, Герцена, Бебеля, Кропоткина... Находились знамена социал-демократов – большевиков и меньшевиков, эсеров и будновцев, членов Латышской социал-демократической организации и Польской социалистической партии, знамя анархистов...»¹⁹.

Мириться с таким безобразием власть не могла, знамена и портреты убрала, но воспрепятствовать сходкам была не в состоянии. Ссыльные по-прежнему собирались, читали газеты, спорили, обсуждали план побега.

Бежали много. В одиночку и группами, зимой и летом.

Бежали из Нарымского края Моше Соркинд, Айзик Шмушкин, Яков Лившиц, Израиль Самойлович, Александр Розенберг, Мордехай Файбусович, Моше Супоницкий, Абрам Левитан.

Чаще совершали побег зимой. Не было недели, чтобы в Томск на нелегальную квартиру «Бюро по организации побегов» не прибывало десять-пятнадцать человек. «Их здесь, в большинстве случаев, переодевали, снабжали деньгами, паспортами и явками до следующих партийных организаций – главным образом, до Омска, Челябинска, Самары, а иногда до Москвы... Зима 1906-1907 года дала до 130-ти побегов из Нарыма...»²⁰.

Невозможность обеспечить надлежащий надзор была одной из причин ходатайства губернатора о прекращении ссылки. Первое прошение поступило в столицу уже в ноябре 1906 года: барон Нолькен предложил временно закрыть Нарымский край для ссылки *«ввиду переполнения местности административно ссыльными»*.

За последний год, говорилось в бумаге, под гласный надзор полиции в Томскую губернию было выслано 1199 человек – больше, чем в Тобольскую или Енисейскую. А условия содержания таковы, что покинуть ссылку по собственной воле не представляется сложным.

«В нескольких стах верстах от университетского Томска с его 48 учебными заведениями, - жаловался губернатор, - в селах Колпашево, Тогур и других образовались колонии организованных революционеров, разбившихся по партиям и шайкам, до террористической фракции включительно...»²¹.

Устроить побег им ничего не стоит. *«По течению Оби в утлом остяцком челноке можно доплыть до Тобольской губернии»*, а по рекам Кети и Тыму, двигаясь на восток, легко достичь Енисейской губернии. Если же

двигаться на запад, при удачном побеге можно добраться до Омска – сей путь, признавали, *«особенно удобен зимою на лыжах»*.

Капитанам частных судов под страхом жестокого штрафа или тюрьмы запрещали брать беглецов. И всё же проникнуть на судно, при желании, не составляло труда, а в навигацию по здешним рекам *«курсировали торговые пароходы и баржи до Томска, Ново-Николаевска, Барнаула»*. Выбор имелся, и двигались они, останавливаясь зачастую не у пристани, а *«прямо у берега, произвольно выбирая место причала»*²².

Да что судно – ещё проще нанять за несколько рублей лодчонку, благо много их плыло со свежим уловом, и за несколько дней, питаясь сухарями, достичь Томска...

Так, очевидно, бежал из Нарыма и Свердлов, один из главных ниспровергателей. Полоцкий мещанин Яков Моисеевич Свердлов: *«иудейского вероисповедания, грамотный, холостой»*.

Весной 1910 года с другими возмутителями спокойствия попал он в Арбатскую тюрьму, и будучи *«изобличен к принадлежности к Московскому комитету Социал-демократической рабочей партии»*, отбыл на три года в студеный Нарымский край²³.

По приезду написал прошение о дозволении выехать за границу, получил отказ, обиделся – и бежал. Через пять месяцев Кетское волостное правление донесло уездному исправнику, что означенный Свердлов самовольно покинул Нарым. Жандармское управление приняло меры, и весной будущего года беглец был взят в Петербурге.

«По распоряжению особого совещания МВД» Свердлов, он же Пермяков, вновь высылается в Нарымский край, теперь на четыре года. Из Томска в сопровождении двух надзирателей его везут в глухое село Максимоярское, но в пути скорый на ногу большевик пытается снова бежать.

«Принятыми мерами» его хватают и доставляют к месту назначения, причем *«надзиратели, вооруженные оружием, боевыми патронами и соответствующими инструкциями»* никуда не уезжают, остаются при нём.

В сопроводительном документе говорится, что ссыльный имеет пожилого отца Моше Израилевича, двух братьев, Вениамина и Льва, и двух сестер – Соню и Сару, старшей из которых, Софье, минуло тридцать. Ремесла Свердлов не знает, *«живет литературным трудом»*, а отец держит гравёрную мастерскую в Нижнем Новгороде.

Жить на статьи, да еще революционного толка, в медвежьем углу было, конечно, немыслимо, но большевик не унывает: летом, по навигации, вновь ускользает от благодушных охранников. На палубе парохода «Сухотин», когда тот причалил к Колпашеву, его обнаруживают, доставляют в Томск. Свердлов хлопочет о переводе поближе, в сего Парабель, – просьбу оставляют без внимания.

А в это время в Томск, как декабристка, приезжает его «внебрачная жена» Клавдия Новгородцева, да не одна, а с полуторагодовалым ребенком, желая отправиться за любимым в ссылку.

Вот только куда? Остяцкое село Максимоярское, в 600 верстах от Тогура, недостижимо – попасть туда из-за нехватки лошадей, выясняется, невозможно. Свердлов просит отправить его в Каргасок, другой крупный поселок, где жило много ссыльных, и соединиться с семьей. Но и эта просьба, как можно судить, одобрения не имеет: его везут на прежнее место.

Вместе со Свердловым были арестованы и попали на Север Бася Перельман и Шая Голощекин, который впоследствии, спустя несколько лет, как и Юровский, стал убийцей семьи последнего императора. Перельман была хвора барышня, жаловалась на недомогания и выхлопотала-таки лечение в Томске. Шая Ицкович Голощекин был, наверное, не против последовать ее примеру, но имел, как на грех, самый цветущий, бодрый вид.

Тогда, поразмыслив, стал просить о выдаче ему, «лицу привилегированного звания» пособия в большем размере, и «предоставил в удостоверение сего копию свидетельства Военно-медицинской академии»²⁴. Хотя, как последовательный большевик, всю свою жизнь боролся с привилегиями.

Но привилегии свои и чужие, безусловно, не одно и то же: большевики понимали это не хуже других. И разрушая ненавистное, бесчеловечное самодержавие, требовали себе особых поблажек.

* * *

Впрочем, были такие, кто без особых поблажек устраивался в гиблых краях наилучшим образом. И даже просил, как поляк Иван Козинский, оставить его после ссылки на месте, в деревне Бараново. Остаюсь, мол, на Севере, так как «знаком с бытовой крестьянской жизнью», оброс хозяйством. «Прошу поселиться с согласия крестьянского общества» – и, вообще, «оставить меня на произвол судьбы»²⁵.

Александр Гуревич, ссыльный из Херсонской губернии, жил где-то поблизости, в селе Парабель. Узнав из письма о смерти отца, он впал в отчаяние: на руках у матери осталось семеро детей, от четырех месяцев до четырнадцати лет. Тут-то, наверное, впервые задумался, что, рассуждая на митингах о несправедливости к чужим людям, стоило позаботиться прежде о близких.

«Я умоляю Ваше превосходительство, - написал губернатору, - не отказать мне в разрешении просить место учителя в пределах Нарымского края, дабы иметь возможность поддержать семью...»²⁶.

Его превосходительство недрогнувшей рукой написал: «Отказать!» – и жизнь Гуревича потекла прежним порядком.

Другой бы затосковал или запил с горя, а Гуревич, осмотревшись, стал делать деньги. Выстроил, очевидно, на паях «со товарищи» небольшой кирпичный заводик, наловчился готовить и продавать ценный кирпич. И все три года, до конца ссылки, тем, собственно, и занимался. Да еще открыл в селе Каргасок дополнительный склад.

Когда же настал срок уезжать, Гуревич не смог расстаться с заведением: на складе остались горы кирпича, его требовалось с выгодой продать. Просьбу задержаться на пару месяцев, чтобы закрыть полностью дело, губернская власть удовлетворила. Но Гуревич был недоволен.

«Мне разрешили остаться до навигации, - пишет другое прошение, - но, предвидя, что и к этому времени кирпич может быть не распродан, обращаюсь к Вашему превосходительству разрешить остаться в селе Каргаске до последних рейсов парохода, до осени, для окончательной ликвидации кирпичного заведения...»²⁷.

Ну, отчего не уважить просьбу – уважили: добровольную ссылку продлили до 1 сентября.

После этого «заводовладельцу» Гуревичу надлежало, уж без сомнения, выехать из Томска. Но он не спешит. Объявив, что ждёт документы из дома, а без них отправиться в путь не может, Гуревич снова вступает в коммерцию. В доме по Ямскому переулку снимает угол и открывает на имя гражданской жены пивную лавку – разрешение остаться в Томске до 1 января было получено без особых проблем.

Тут предприимчивость бывшего ссыльного опять-таки находит применение. Он заводит выгодные знакомства, заручается поддержкой чиновников, продлевает срок пребывания и торгует себе потихоньку пивом. А потом сам становится служащим, на бирже труда, как человек образованный и способный, получает место заведующего столом. Временная эта должность его, однако, не устраивает. Перед губернатором за него хлопочет теперь градоначальник Некрасов, просит принять в городскую управу.

Бывший парабельский невольник становится служащим городского общественного управления. Занимается ответственным делом: в качестве секретаря железнодорожного комитета хлопочет вместе с другими о строительстве ветки от Тюмени до Томска. А потом – небывалый случай! – едет по поручению управы в места бывшего прозябания, чтоб уговорить местное начальство подписаться под коллективным прошением о железнодорожной ветке.

Его командируют в Нарым, Кетскую и Парабельскую волости. Там его, старого знакомого, как лицо, облеченное доверием общества, хорошо принимают. И уже не он, вчерашний ссыльный, ломает шапку – кланяются с уважением ему.

Но скромное жалование служащего не устраивает Гуревича, он мечтает о хорошем предприятии, высоких прибылях. Ходатайствует об открытии в Томске «*конторы по найму лиц на частные договора и службу*». Надёжные

связи, которыми успел обзавестись, делали это желание выполнимым. О бедном семействе, оставленном в Херсонской губернии, вдове-матери да любимых братишках Гуревич уже и не помышляет: сибирский город открывает более заманчивые перспективы.

Открыть посредническую контору удалось, она стала расти, посыпались заказы. И всё было бы хорошо, кабы не досадный, прямо-таки нелепый случай. В дом Александра Гуревича врываются жандармы и проводят обыск. Потом, осознав ошибку, извиняются: другой Гуревич, однофамилец, бежал из Нарымской ссылки и, возможно, скрывается в Томске. Извинения бывший служащий управы принимает, но вся эта история бросает пятно на его репутацию.

Как будто фамилия Гуревич – уже синоним слова «вольнодумец». Или, упаси Боже, «революционер».

Только подозрения, похоже, были не напрасны. В начале 1913 года начальник губернского жандармского управления полковник Макурин доложил губернатору, что Гуревич, по его данным, помогал эсдекам в конспиративных сношениях. Предоставлял им свою частную контору.

К тому времени бедный учитель, каким он прибыл в Сибирь, давно расстался с мятежными взглядами: рассуждения о прибавочной стоимости теперь его, надо думать, мало трогали. Они противоречили его частнособственническому порывам. И ежели Гуревич действительно оказывал, по старой памяти, услуги марксистам, то далеко не бескорыстно – иначе б он не был Гуревичем.

Какое продолжение имела поучительная эта история, не известно. Если агенты охраны стали уделять его персоне чрезмерное внимание, он мог и уехать, вернуться в родные края. А мог и остаться, теперь уже полностью отстранившись от кипучих революционных страстей и занявшись делом. Тем выгодным делом, ради которого, в общем-то, и решился на добровольное сибирское изгнание...

А вот Гириш Баренблат, хоть и не имел коммерческого интереса, а тоже отрекся от проклятого прошлого, не моргнув глазом.

Было ему, мещанину из Витебска, уж тридцать два года, когда в сопровождении урядника последовал он в Нарымскую ссылку. Что подвигло почтенного отца семейства увлечься мятежными речами, не известно – должно быть, бес попутал. Только стал он мечтать, философствовать – и домечтался до пятилетней ссылки в Нарымский край.

Меньший срок анархистам-коммунистам, как правило, не давали.

Вредный северный климат подействовал на него, как ушат холодной воды. Баренблат заметался, попросил уехать за границу, хотя должными средствами, судя не всему, не располагал. Ему отказали. Стал ходатайствовать о лечении в томской больнице, отказали вторично: может-де «*по роду болезни пользоваться у местного врача, и в поездке для лечения не нуждается*»²⁸.

Гирш Фридманович затосковал не на шутку и, узнав о побегах, поступил точно так. Да неудачно, был задержан на пароходе «Колпашевец». В ответ на отповедь полицейского чина Баренблат заявил, что отправился в Томск для врачебного освидетельствования: один тогурский политссылный будто бы напал на него и побил не на шутку.

Осмотр показал *«повреждение одного ребра»*, не считая прочих ушибов. Дело получило огласку. Сам господин губернатор удивился «дуэли», распорядился *«немедленно доложить, чем вызвано указанное в рапорте недовольство административно ссыльных против Гирша Баренבלата»*²⁹.

Стали разбираться, и выяснили, что ссыльный Робашевский побил друга, усомнившись в порядочности: принял Гирша за осведомителя охраны. Более дикого суждения невозможно было составить, но Баренблат, не отличаясь выдающимися качествами, имел одно печальное свойство, обладал способностью притягивать неудачи. В еврейских местечках такого недотепу звали «шлимазл».

Непричастность к охране подтверждало то обстоятельство, что просьбу Баренבלата о переводе в Барнаул отклонили. Хотя агентами, независимо от их способностей, охранка всегда дорожила и в обиду не давала. А недовольствие ссыльных объяснялось просто: анархист-коммунист сторонился в ссылке товарищей, избегал участвовать в сходках и опасным речам не внимал. За что, бедолага, и поплатился.

Его переводят в Молчаново, туда приезжает в ссылку супруга с детьми – и начинается новая жизнь.

Семья ссыльных обзаводится хозяйством, покупает скотину – лошадь и двух коров, открывает торговую лавку: Баренבלаты начинают торговать сеledкой и фруктовыми напитками своего изготовления. Тут бы, наконец, и вздохнуть – вот она, сытая жизнь, дело пошло! Но активность ссыльного вызывает недовольство у местных торговцев. Они начинают изводить конкурента, пишут доносы на его якобы предосудительное поведение, просят выслать из села. А когда это не помогает, решают спалить.

Как-то ночью дом Баренблатов вспыхивает – горит крыша. Огонь замечают, тушат, и на чердаке обнаруживают причину пожара: к дымоходу, из коего сыплются искры, чей-то «заботливой» рукой подложено сено. А чуть позже бедного ссыльного снова колотят, на этот раз полицейский урядник, представитель власти. И колотит довольно чувствительно – за сопротивление при попытке упечь по навету в каталажку.

Бумага об этом снова попадает на стол губернатору. Шлимазла признали виновным, урядника оправдали, и дело о рукоприкладстве закрыли.

Через год за какую-то провинность, реальную или мнимую, Баренблат получает административное взыскание, на него накладывают 50-рублевый штраф. Платить такие деньги отец четырех детей – четвертый родился в ссылке – не может, просит пожалеть и освободить от наказания по случаю

300-летия Дома Романовых. Другим юбилей дал послабление, кому-то ско-
стили срок – Баренблату же вновь отказали.

К этой беде прибавилась другая.

«С 1 ноября 1912 года, - указывает в прошении, - выдача пособия на жену и детей
была приостановлена, почему я задолжал в лавке около 90 рублей и другим лицам, кото-
рые мне доверяли, зная мою аккуратность в расчете...»³⁰.

Бумаге, однако, хода не дают, и тогда Баренблат решается на отчаянный
шаг: едет, как пару лет назад, в Томск, чтобы лично представить ходатайство
в канцелярию генерал-губернатора. А одновременно подает прошение на
имя государя императора, припадает к стопам *«Всемиловейшего и Все-
державнейшего»*, пишет о расстроенном здоровье. Просит «простить» ос-
тавшийся год ссылки.

«Ваше Императорское Величество! – взывает анархист. – Искренне раскаиваясь в
своем прошлом, приведшем меня в Нарымский край, умоляю повелеть применить ко мне
милостивейший манифест от 21 февраля 1913 года, сбавить мне год ссылки или зачесть
время предварительного заключения...»

Глубоко раскаиваюсь. Сношений с революционерами никаких не имею и иметь не
буду...»³¹.

В последнем пункте Баренблат не лукавил, обещал от всего сердца: по-
нял, что революционные подвиги не для него. И хотя уездный исправник до-
ложил, что *«административно ссыльный Гириш Баренблат поведения и об-
раза мыслей хорошего»*, удача вконец отвернулась от горемычного витебско-
го мещанина.

Тянуть ссылную лямку пришлось до конца срока...

* * *

Летом 1910 года в Нарым отправили важную птицу, члена известного
Рабочего центра Петербургского отделения партии эсеров Линдберга.

Неукротимые эсеры, методично взрывавшие политических деятелей в
разных концах страны, властям были особенно ненавистны. Но Михаила
Линдберга поймать с бомбой в руках не удалось, и его уперли в гостеприим-
ный Нарым всего на три года.

Да и тот срок отбыть до конца он не захотел, заупрямился. Что ж полу-
чается: пока живёт-поживает на берегу великой сибирской реки, в тиши и
покое, другие вместо него будут взрывать губернаторов? Нет, не годится! И
Михаил Яковлевич начинает хлопотать.

Как, через кого эсер пытался нажать на скрытые властные пружины, не
известно, только через два с лишним года его *«временно водворили»* в гу-
бернский центр. А потом вовсе избавили от надзора, зачитав распоряжение

Его превосходительства: «освободить по решению Томского окружного суда под залог в 300 рублей»³².

В конце апреля, как только вскрылась река, Линдберг распрощался с Сибирью и отбыл в Москву. На полгода раньше, чем предписывал Министр внутренних дел.

Удивительный случай! Прожить в ссылке больше положенного – такое бывало, даже запросто, а вот уехать, не дождавшись срока, без всякой амнистии – это, знаете ли, выпадало не часто.

Этого могли удостоиться лишь самые удачливые марксисты.

Другие, лишённые поддержки, пускались на хитрость: выдумывали себе болезни, заключали фиктивные браки. А то, бывало, становились временно, до конца срока, сумасшедшими – кому что, одним словом, нравилось.

Так вдруг почувствовал помешательство Абрам Левитан. Может, вообразил себя Наполеоном, может, принялся лаять, вроде болонки госпожи губернаторши – кто его знает. Но проделывал это, легко догадаться, весьма артистично, с чувством, ибо уездный исправник поспешил донести:

«Административно ссыльный Абрам Левитан психически заболел, и как опасный по характеру симптомов для окружающих, был доставлен в Томск для помещения в тюремную больницу...»³³.

Причем заболел, что характерно, к началу навигации – не раньше и не позже.

Ну, что было делать? Стали осматривать. А поскольку врачи в Томске много опытней нарымских, они без труда разглядели симуляцию.

«В настоящее время, - последовало врачебное заключение, - Левитан страдает душевным расстройством в форме меланхолии, вероятнее всего, периодического характера. В больничном лечении не нуждается...»³⁴.

Меланхолией в ссылке, если на то пошло, страдал каждый второй. Так ведь там, любезные, не черноморское побережье Крыма, совсем даже наоборот. А пострадать за убеждения уважающему себя марксисту даже за честь, мучения – хороший политический капитал, больше уважать потом будут.

Некоторые отправлялись в Томск под видом сопровождавшего хворого друга: как бы, знаете ли, того... не покусал бы в дороге попутчиков!

Душевнобольного Вульфа Гольдберга, к примеру, сопровождали двое – ссыльные Жуховицкий и Васильев. «С проходным свидетельством пристава пятого стана Томского уезда» отправились в Томск на пароходе «Нарымец».

Что это было за свидетельство и что за больной, нетрудно вообразить: всю троицу в Томске схватили и отправили тем же пароходом обратно в Нарым, приставив для порядка охрану³⁵.

Ну, а если ссыльный вправду терял разум и томская тюремная медицина разводила руками, его отправляли к настоящим сумасшедшим. По приговору Окружного суда, такой человек «*подлежал испытанию в специальном лечебном заведении для определения его умственных способностей*»³⁶.

Хотя, впрочем, если вся империя в ту пору походила на большой сумасшедший дом, где народ ненавидел власть, а та платила ему тем же, – не все ли равно, где пребывать?

Большинство революционеров, однако, желали пребывать на воле. Такое у них было невыразимое стремление.

И очень огорчались, когда их лишали свободы. Тем более, что ссылать-то, действительно, было уж некуда: ни жилья, ни занятия в Нарымском крае свежему человеку не оставалось.

Поэтому через несколько лет ссылки власть могла удовлетворить самые прихотливые желания господ социалистов. Делегат Венской IX конференции Всеобщего еврейского рабочего союза Раиса Левит, скажем, очень не хотела ехать в Нарым. И вместо Томской губернии, где суровый климат и вообще глухая тоска, ее отправили в Астраханскую, где теплей и веселее³⁷.

В том же направлении отбыл из-за болезни и видный деятель международного рабочего движения активный бундовец Исай Айзенштадт, хотя ему надлежало провести в Нарыме не меньше четырех лет³⁸. Ну, а бундовцы Меер Кон, Самуил Аркуш, Вольф Траубе и Хаим Пакентрайгер таки уехали в Нарымский край. Но некоторых по ходатайству родственников перевели позже в Томск³⁹.

Пожилой портной-бундовец Давид Белхатовский, попавший в Парабельскую волость, почувствовал недомогание и написал:

«Проживая в пределах Нарымского края, я совершенно изнемог от вредного влияния на мой организм здешнего климата...»⁴⁰.

И его отпустили: что взять со старого больного человека, пусть уезжает. По распоряжению министра внутренних дел, распорядились перевести его на оставшийся срок «*в избранную им самим черту оседлости под гласный надзор полиции*». Конечно, Давид Лейбович, не будь дураком, выбрал Брест-Литовск, где полно было родственников. Туда и уехал.

Чего только не было среди просьб и жалоб!

«Виду того, что цены на квартиры тут дорогие, - писал один тираноборец, - при большом наплыве ссыльных трудно найти подходящую. И цены на продукты очень повышены, так что невозможно существовать на казенное пособие в размере 6 рублей 30 копеек. Просто приходится голодать. Поэтому честь имею просить Ваше превосходительство разрешить отбывать мне срок в Ново-Кусковской волости...»⁴¹.

То есть не в сотнях, а в десятках вёрст от губернского центра. Всё как-то ближе к цивилизации – до Томска рукой подать.

А в Томске единомышленники помогут, дадут фальшивые документы и деньги, снабдят всем необходимым. «Нарымская группа помощи ссыльным» действовала больше года, пока на след не вышли жандармы. После этого, закрыв явку, перебралась в Новониколаевск.

И уже оттуда помогала партийным товарищам.



ПОРТРЕТ ИСТОРИКА: ВЕГМАН

По длинному коридору, где давно уже сняли за ненадобностью цветную дорожку, бегали, грохотали сапогами возбужденные люди.

Бывший пассаж купца Второва бурлил и кипел. Хлопали двери, громко кричал, отдавая распоряжения, суровый, властного вида член губкома. Кто-то тащил, едва справляясь, ворох бумаг – иные падали, как осенние листья, под ноги.

По ним бежали, оставляя грязные следы.

Вегман нагнулся, поднял лист: протокол собрания, внизу – имена участников. Завтра же, кого обнаружат, поставят к стенке. Тут же, без промедления!

Скомкал лист, сунул в карман. И увидел другой – белый на желтом «буржуйском» паркете. Поднял, рассеянно пробежался глазами: резолюция митинга. Время побед, ликования, опьянения успехом. Точеные фразы, звонкие лозунги... За них, подумал, и умереть не страшно.

Но лучше бы выжить. Ведь это не поражение, нет – это временное отступление, а отступать, зная, что скоро вернешься, не так уж и страшно.

Шум вроде утих.

Вегман ходил по коридору и открывал двери – все подряд, одну за другой. Смотрел, все ли ушли из Дома свободы, как окрестили громадное, массивное, как крепость, торговое здание. Комнаты были пусты. Никого...

Развернулся, пошел к выходу.

На крылечке стоял, пыхтя папиросой, Карл Ансон. Дым клубился над его головой, вился в ясное звездное небо.

Было тепло и безветренно, стояли последние майские дни.

Уходила весна. Таяла, будто дым, вроде прочная, казавшаяся незыблемой власть. Власть советов.

Уходила надежда на мирное, бескровное течение событий. Днем пленным эсерам, которые попытались поднять в Томске мятеж, так и говорили:

мол, расправиться с вами проще простого. За нами ведь сила, отряды рабочих. Но мы вас, неразумных, жалели, *«хотели избежать пролития крови»*.

А потом пришла весть: вооруженные чехи наступают по всей магистрали, устанавливают на станциях «железный» порядок. Гонят, почти без усилий, пролетарскую власть – хорошо вооруженные, регулярные части.

Они уже близко, где-то в Юрге, вот-вот вступят в Томск.

Давать бой? Нужны свежие силы, оружие, а этого нет. Пасть под пулями превосходящего силой врага, может, и стоило б, но... какой прок в таком героизме?

Карл Ансон решительно бросил окурок, поправил ремень, на котором висел наган.

– Пойдем, что ли, пора...

Вегман взглянул на него, покачал головой:

– Нет, я останусь. Так решил... Да и вы скоро вернетесь, уверен.

Остаться в городе ему, редактору «красной» газеты, было безумием. Он ни в кого не стрелял, никого не тронул – действовал словом: убеждал, призывал, доказывал. Так ведь слово теперь, в революционную пору, сильнее оружия.

Его первого, как ни крути, и поставят к стенке. Наверняка...

Ну, может, не сразу, а чуть позже, когда после свержения власти улягутся страсти, – не важно, итог будет один. Однако... странное дело: думать о собственной участи, оказывается, можно почти без волнения. Как о чужой.

Красивым словам, которых много уж сказано, подходит красивый поступок...

Два парохода на пристани ждут сигнал к отправлению. Вот-вот отойдут, увозя комиссаров, членов губисполкома, всех видных большевиков... И все же это похоже на бегство, каким бы оправданным ни казалось решение.

Вегман вздохнул, посмотрел в небо: светает. Подумал: как странно, закат пролетарской свободы совпадает с рассветом.

Пароходы, было слышно, дали гудок. Отчалили, пошли на Тюмень.

Он покинул крыльцо и тоже пошел, размышляя о том, что делать, как действовать, чтобы присутствие в городе принесло делу пользу. Чтобы риск наполнился смыслом.

Улицы были пусты – ни души. Обывателю, хмыкнул Вегман, нужен покой, а тут весь день шла пальба. Вот и попрятались в норы – сидят, выжидают. Стреляйте, дескать, стреляйте друг в друга, а мы подождем.

Нам, мол, палить ни к чему, хочется жить. Ведь жизнь-то у каждого одна...

Когда рассвело, показались эсеры. Они стали хозяевами города, а меньшевики, которым отступающие передали власть, вручив заверенный печатью текст. Порядок есть порядок: без бумаги нельзя.

Эсеры освободили из тюрем братьев по партии, стали активны и деловиты.

«По всему городу... проходили обыски и аресты. Имущество уехавших конфисковывалось. Арестовывали без разбора. Тюрьмы скоро оказались переполнены. Арестовывал всяк, кто хотел. Водили арестованных одиночками, группами... Конвоировали вооруженные гимназисты и прапорщики.

Откуда только взялось такое обилие прапорщиков?..»¹.

А вечером вошли чехи.

Они промаршировали по Почтамтской улице, бодро печатая шаг: булыжники мостовой, казалось, не выдержат, треснут. Бравые ребята, ничего не скажешь. Регулярные части.

Город встречал чехов радостно, как победителей, хотя они взяли Томск без единого выстрела. Показались нарядные дамы, послышались приветственные крики: *«по случаю прихода «освободителей» в городе было всеобщее торжество»*.

Делать здесь чехам было, в общем-то, нечего: приняв почести да откушав, они повернули к вокзалу и так же молодецкато ушли. Но праздник не кончился.

«Вечером некоторые дома были иллюминированы. Кафе и рестораны открыли бойкую торговлю. По улицам шныряли проститутки и раскачивались пьяные... А из окон «России» рвалась на улицу залихватская песня, слышался гул пьяных голосов. Белые, - отмечал Вегман, - празднуют первый день победы...»².

Записей он не вел – просто смотрел, наблюдал.

Описал это позже, спустя много лет. И вполне добросовестно: дал точную картину – не то, что другие. Написал по-своему, как привык: достоверная канва, поданная с классовых, безусловно, позиций, и четкая оценка.

Факт – мнение, мнение – факт.

Вот события, как они были, с правдивыми деталями, документами, в их точной последовательности. Ну, а вот партийный, пожалуйста, взгляд – другого у историка быть не должно. События, полагал, надо рассматривать с классовых позиций.

Тем более революционные – другие Вегмана мало интересовали.

* * *

Он сидел посреди комнаты, опустив голову, словно дремал.

Плечи были опущены, будто придавила их страшная тяжесть и не доставало сил поднять, распрямиться. Да что там, вздохнуть не было сил: еще минута – и упадет, казалось, со стула.

Старик, совершенный старик.

В любом другом месте жалкая, сгорбленная эта фигура вызвала бы живое участие – только не здесь. Здесь повидали всяких – бравых и жалких, моло-

дых и старых. И все они, независимо от возраста, воли и опыта, партийного стажа и прочих заслуг – все, как один, давали показания.

Каялись, сокрушались, брали на себя немыслимые грехи.

Следователь расхаживал по кабинету, кружил, спокойно обходя старика, как корабль огибает одинокий остров, на котором нет ничего. Интерес такой клочок суши не представляет, и смотреть-то в его сторону скучно.

Никчемное место. Пропадет, исчезнет – никто не заметит.

«Ну, Вениамин Давидович, – брался увещевать хозяин кабинета, – мы ж с вами знаем друг друга не первый день. Можно сказать, хорошие приятели, будьте чистосердечны!».

Приятели...

Да у него, старого большевика, таких приятелей... Кого только не принимал: считали за честь побывать у него дома, приобщиться к живой, говорили, истории.

Друг Рыкова, соратник Бухарина, Зиновьева, Троцкого. Ближайший сподвижник Ленина по партийной работе.

А вы... Что знаете вы о том героическом времени, можете ли судить о нем? Кто дал вам право так просто и буднично, так фамильярно отзываться о людях, которые делали революцию...

Вегман сморщился, как от зубной боли: какая чудовищная вещь! Почему он должен сидеть в этом застенке, слушать всякий вздор о себе и вождях революции. Оправдываться, что-то подписывать...

Первое время держал себя по другому. Требовал, чтоб доложили Эйхе, главе краевого комитета партии, поставили в известность правительство, где у него друзья и заступники.

Что волноваться: ошибка, несуразность. Досадная, но поправимая оплошность – с кем не бывает. Да и взяли-то как: приезжай, мол, на минуту по важному делу, а у него гости – писатели и молодые люди, выпускники школы, носившей его имя.

Поехал с легкой душой – и тут на тебе... Но после беседы не пал духом. Разберутся, подумал, да выпустят.

Не выпускали...

Требовали, чтоб признал себя троцкистом, участником антипартийных, антисоветских выступлений. Советовали согласиться, что снабжал деньгами Троцкого, высланного за пределы страны.

Потом стали кричать, угрожать, топтать ногами. Ну, а потом...

Ужасно болела голова, просто пылала. И тяжесть – она всё сильнее давила на плечи: что это, осознание вины?

Ну, нет! Более убежденного, твердого ленинца во всей Сибири, наверное, не было – из старой гвардии и осталось-то всего ничего... Так в чем же вина, кто скажет? Ни на шаг не отходил от ленинской линии.

Сотни статей, рецензий, очерков – везде партийный, большевистский взгляд. А непартийного у историка и быть не должно: события надо рассматривать с классовых позиций.

Нет добра и зла, нет правды и лжи – все относительно, смотря с какой стороны посмотреть. Высшая правда одна – пролетарская. Истинное мерило всему – классовая целесообразность...

Раздается команда. Вегман встает, бредет неспешно к двери.

Небольшого роста, с седой пышной гривой и широкой, как у классика марксизма, бородой – яркая внешность. Колоритная фигура, это уж точно.

Да-а, занятный старик... Только слишком упорный: надоело возиться, морщится следователь. Пусть еще посидит, подумает.

Думать ведь есть о чем. И вспоминать тоже...

Знакомые нары с грязным тюфяком, гадкие стены – всюду грязь, мерзость и вонь. Вегман устало ложится, закрывает глаза...

Однажды, давным-давно, вот так же лежал на нарах. Светило теплое солнце, за окном щебетали радостно птицы. И на душе, даже там, в одиночке, было тепло и радостно: он чувствовал себя ярым борцом.

Настоящим революционером.

Ему угрожала ссылка, с воли пришла весть о войне – началась новая бойня, а он был безмятежен и как будто доволен. Ничто не могло омрачить это чувство причастности к святому делу борьбы за идею. Ничто и никто.

Даже жандармский подполковник, который вел лично допрос...

«Империалистическая война застала меня в Одесской тюрьме, - вспоминал Вегман. – Я сидел в одиночной камере номер пять, в четвертом этаже третьего отделения. Маленькое решетчатое окно выходило на открытую поляну. К ней прилегала роща...

В ясное утро можно было даже невооруженным глазом ухватить из окна узкую синеватую полоску отдаленного моря. Как только ветер подует с моря, я сейчас же осторожно взбирался на прикованный к стене столик, чтобы быть ближе к окну, и старался полной грудью вдыхать свежий морской воздух...»³

За дверью раздались голоса и тяжелые шаги: кого-то повели на допрос. Вегман очнулся, открыл глаза.

Воздух здесь был совершенно другой: невыносимо тяжелый, смрадный. И здоровому-то человеку дышать неважно, а ему, который с юности после дифтерии маялся с горлом, дышал через трубку, вставленную в гортань, мучительно вдвойне.

И все же душевная боль сильнее...

Одесса, юность – золотая пора. Свежий воздух перед революционной бурей, которая, знали, сметет и жандармов и охранку, и всё самодержавие.

Тогда под соломенным тюфяком он нашел лишенное обложки потрепанное издание. Вчитался – номер журнала «Мир Божий». Благостного, однако, там было мало: «воры рисовали, скуки ради, воровские отмычки». Исписали весь номер.

А дальше, на других страницах, какой-то анархист перечислял «жертвы, которая понесла его группа в Одессе», называл убитых «в перестрелке с городовыми и надзирателями». И над всем скорбным списком начертил твердой рукой:

«ВО СЛАВУ МИРОВОЙ КОММУНЫ».

Нет, Вегман ни в кого не стрелял.

В тюрьму он попал, вернувшись из эмиграции, где провел долгих пятнадцать лет. Жил в центре Европы, слушал лекции по философии в знаменитом Венском университете, повышал образование.

И печатался в большевистских изданиях.

«В начале 1901 года я стал искровцем, - отмечал позже. – Уже в номере четвертом «Искры» помещено мое «Первое письмо из Вены. Второе напечатано в номере шестом.

Особенно дорога мне статья «Царь в Вене»... Она была отпечатана отдельными оттисками и распространена в виде прокламации по всей России. Надежда Константиновна Крупская писала мне, что статья очень понравилась Ленину, и что он просит меня чаще писать в «Искру»...».⁴

Когда объявили амнистию по случаю 300-летия Дома Романовых, некоторые эмигранты засобирались домой. И Вегман решил: пора возвращаться. «Посоветовался с Николаем Бухариным, с которым встречался», тот написал Ленину и получил вскоре «добро».

Ценную библиотеку свою Вегман без сожаления оставил товарищам. А они снабдили его деньгами, дали краковский адрес Ленина. Вот тогда, весной четырнадцатого, и состоялась их первая встреча. Получив указание вернуться в Одессу и наладить партийные связи, Вегман отправился в путь.

«В конце апреля приехал во Львов. Там надо было наладить через границу чемоданы с литературой. Некоторые украинские революционеры обещали это устроить. Нужно было сделать так, чтоб чемодан доставили на одну из ближайших к границе станций к тому времени, когда я буду проезжать...»⁵, - писал он.

Во Львове пришлось задержаться, стать свидетелем первомайской манифестации. На нее вышли рабочие со знаменами, транспарантами. Но двигались, что характерно, «по национальному признаку»: первыми шли поляки, затем украинцы. Замыкали шествие евреи.

Наконец, все было готово к отъезду.

Вегман нанял извозчика, поехал в местечко, где полагалось взять чемодан и сесть на проходивший поезд. Но поезд, сказали на станции, ушел, другой будет завтра. Что ж, не беда, лишь бы найти где-то кров. Стал узнавать – «посоветовали обратиться к еврею», который топтался поблизости.

«Самуил, - коротко представился он. – Самуил Лембергер... Если не надолго, можете переночевать у меня».

Вот так дела, подивился Вегман, он-то ведь мне и нужен.

Идти было недалеко, рукой подать. И комнату отвели небольшую, но вполне даже опрятную. Все, в общем, складывалось наилучшим образом – самый раз приступать к делу.

После ужина, *«улучив минуту, когда остались вдвоем»*, Вегман сказал: *«А у меня к вам дело»*.

«– Дело... Ну, о делах поговорим завтра вечером.

– Но мне утром надо ехать.

– Не могу, наступила суббота. Я, знаете ли, еврей...»⁶.

А-а, шабат, всего-то!

Ну, удружили, дали адрес *«надежного человека»*, подумал Вегман. Шабат в его доме отмечали тоже, хотя отец особой набожностью не отличался. Но это было давно.

«Отец Вениамина, мелкий коммерсант, изо всех сил старался дать образование семерым детям». Но *«богатства не нажил»* и умер в нищете⁷, передав детям одно: любовь к книгам. Она-то и привела его к свободолобивой литературе, а следом к народничеству.

После Чернышевского и Маркса мир старых ценностей заметно поблек. Что, в самом деле, общего между марксизмом и древними текстами, которые бормотал по субботам отец? Марксизм не знает национальных границ – это широкое, единственно верное учение...

Ну, а Лембергер так не думал. Придерживался, как все в местечке, традиций, а между делом – что ж, между делом оказывал услуги врагам престола. За деньги. Провозил через таможенную сигареты, мануфактуру – что придется, но иногда, случалось, доставлял контрабанду серьезнее.

Ту, что для власти страшней всяких бомб.

Он знал, как это сделать почти на глазах у жандармов. Не оплошал и на сей раз, Вегман остался доволен. Получил накладную на опасный багаж перед самым отходом поезда – на дне латунного чайника, который Самуил, умело сыграв роль, передал при всех ему в руки.

На ближайшей станции, по ту сторону границы, Вегман сошел с поезда, получил благополучно чемодан. С ним и отправился в Одессу – распространять «Правду», собирать рабочие кружки, поднимать их на борьбу...

Ах, Одесса!

Ласковое море, запах каштанов, дамы под зонтиком. Иные одаривают благосклонным взглядом, а Вегман умеет ценить красоту. Но сейчас не до них, дело важнее – и его много, чрезвычайно много!

Вдвоем с Клейнером, знакомым эсдеком, взяли в аренду киоск, установили в рабочем районе Одессы. Так было проще распространять большевистскую прессу. А в канун забастовки пошли чередой аресты.

Вегмана доставили в участок, оттуда в тюрьму.

Тогда и пришла весть о начале войны. Город заволновался, послышались слухи о немецких шпионах. Одесситы воспылали к врагу лютой ненавистью и в патриотическом порыве бросились освобождать заключенных.

На свободу вышел и Вениамин Вегман. Но вскоре лишился воли опять: снова обыск, арест, допросы. Потом известие о «ссылке в северные уезды *Тобольской губернии*» и тяжелый этап.

В пути застало новое распоряжение: те края посчитали не в меру «комфортными», отправили дальше – в Нарымский край.

«Для сорокалетнего больного человека, не имевшего доходов и даже соответствующей одежды, началась северная ссылка. Сначала села Инкино, Колпашево, а позже – из-за подозрения в замысле совершить побег – печально знаменитый Нарым...»⁸.

Нарым – после блистательной Вены и цветущей Одессы. Было от чего загрустить. Только не Вегману – настоящий революционер готовит себя к испытаниям и невзгодам.

Да и Сибирь оказалась не так страшна. Отныне она стала его домом.

* * *

Летом в Нарыме темнеет поздно: ближе к полуночи раскрой газету и читай в свое удовольствие без единой свечи.

Да и уснешь ли, когда такие события: где-то надо собраться и всё обсудить. Политическую обстановку, положение на фронте и свои, нарымские, новости.

Война здесь ощущается – да еще как.

Ссылные возмущены: «Нельзя получить медицинской помощи, мяса, одежды и прочего... Цены на товары у местных лавочников подняты до невозможности. Кормового пособия не хватает, ходим полуголодные. А старший надзиратель воспретил выходить из квартиры после десяти вечера...»⁹.

Беззаконие, форменный произвол!

Надо писать – прямо в столицу, министру внутренних дел, решают политссылные. И депутатам, раздаются голоса, в Государственную Думу!

Да-да, и туда – непременно!

В июле девятьсот пятнадцатого телеграфируют в Петроград. Подробно, на полстраницы, расписывают трудную жизнь. Сведения об этом попадают в печать, недовольство ссылных рождает думский запрос.

А в конце августа, буквально через месяц, в Нарым едет чиновник по особым поручениям Томского губернского управления. Едет, чтобы узнать, кто поднял шум и насколько обоснованы жалобы. Садится в канцелярию пристава, вызывает подписавших.

Первым пришел Федор Чучин, личность вполне примечательная: бывший присяжный поверенный занимался в Нарыме частной адвокатурой. Составлял жалобы, прошения, давал консультации, выступал в мировом суде, как защитник.

Даже повесил на дверь своего дома адвокатскую карточку.

Он показал, что *«сведения об ужасном положении ссыльных»* соответствуют истине: стражники входят без стука в квартиру – даже вечером. Некоторые недовольны, *«особенно девицы, когда они не одеты»*. И потом, для чего строгий режим, отчего не выходить вечерами из дома?

«Мы здесь на положении заключенных, - возмущался Чучин. – Обязаны сдавать и получать всю корреспонденцию через местную полицию, на что сами должны испрашивать у нее письменное разрешение». А недавно, представьте, *«надзиратель буквально орал на ссыльных, ругая их похабными словами и даже выталкивая... в шею...»*¹⁰.

Томский чиновник что-то писал, сохраняя невозмутимость.

Потом, отложив перо, поинтересовался: у вас все? Ну, пусть войдет следующий.

После Чучина показания дал Карл Ильмер, за ним явился Матвей Савченко. Опрашивать кого-то еще вряд ли стоило: ничего нового не звучало.

Тем не менее, перед приезжим без всякого зова предстал вдруг новый свидетель: Вениамин Давидович Вегман. Желая, сказал, дополнить картину.

Что ж, пожал плечами чиновник, пишите. И протянул лист бумаги.

Тот не заставил себя ждать. Указал на *«дерзкое поведение стражников у сходней парходов»*, когда *«дело не обходится без пинков и толчков и, конечно, без матерной брани, даже в присутствии дам»*.

Ну, и еще кое на что.

«В Нарыме ссыльные не гарантированы от того, чтоб не быть избитыми, стражники дают волю рукам и языку... а местная администрация косвенным образом прикрывает...»¹¹.

Дальше шла жалоба на начальника почты, который *«сознательно задерживает»* выдачу корреспонденции. Но самое примечательное было в конце. *«Хоть лично у меня не было столкновений... - признавал Вегман, - я считал необходимым подписаться, так как не гарантирован от произвола»*.

Да-а, подумал чиновник, борец за справедливость. И всё-то ему надо, и всюду должен вмешаться. Вот они-то, борцы, и представляют главную опасность. Все беды – от них...

Порученец губернатора отбыл, и все потекло по-старому. Бумаги, видимо, пошли кочевать по кабинетам да там, между шестеренками бюрократической машины, и застряли.

По давней российской традиции.

Никто, впрочем, ссыльных не обнадеживал: мяса в нарымских лавках от жалоб не прибавится, кормового довольствия тоже. Понимать надо: война. Всем тяжело!

Беженцы, говорят, хлынули полуголодные, а за ними и вовсе никакой вины, в Сибирь их никто не ссылал...

Вот она, ликовали большевики, агония самодержавия! Еще немного, чуть-чуть – и рухнет прогнивший режим, падёт от толчка. За работу, товарищи, разгорается пожар пролетарской революции. Мы не должны стоять в стороне!

Но правительство задумало новую подлость: мобилизовать политических ссыльных. Пусть прольют за Отечество кровь, повоюют с врагом. Это вам, господа марксисты, не уездный исправник, разгильдяй и пьяница. Тут враг жестокий, коварный.

Докажите, что вам дорога Россия!

Нарымские большевики, обсудив, решают идти на фронт – разлагать изнутри российскую армию. А для работы с размещенными в Томске ротами создают Военно-социалистический союз – во главе его Рыков, Шотман и Вегман.

Устанавливают связь с зарубежным центром: нужны деньги. Для себя и для дела.

Раз в пару месяцев из Швейцарии приходит теперь денежный перевод. Небольшой, в тридцать рублей, но это не важно, главное-то другое. Важнее – от кого!

От самой Крупской, которая действует по поручению Ленина.

Она «сообщала, что Ленин, «родственник Володя», посылает Шотману 10 рублей, 10 рублей – Яковлеву и 10 рублей «дяде» - Вегману...»¹².

Да, такой родственной связью вправе гордиться. И она выделяет, ставит нарымскую троицу в особое положение: шутка ли, поддержка от Ленина!

События между тем развиваются. Волнения в губерниях, хлебные очереди, дезертирство. Корабль государственности дал течь, вот-вот пойдет ко дну. Неужели свершилось!

В Нарым пришли слухи. Настолько удивительные, что трудно поверить. И что же? *«Ссыльные рвутся на волю, кто может, бежит».*

Кончается срок ссылки у Шотмана. Друзья провожают его, собравшись *«пображничать в последний раз».* Толком ничего не известно, но чувствуют: что-то грядет! В такой исторический час следует быть не здесь, а в столице.

Ну, или хотя в губернском Томске.

А через неделю – долгожданная весть. В дом Вегмана ворвался «*сильно встревоженный Лев Смолянский*» и выпалил: «*В Питере революция!*». Купец Родюков получил от нарочного письмо, где говорится: царь свергнут.

Наскоро одевшись, Вегман бежит на почту к знакомому телеграфисту. Тот мнется, что-то скрывает. И все же весть получает подтверждение. Так и есть: революция!

Рыков призывает «*идти к приставу и требовать, чтоб освободил всех ссыльных*». Пристав отказывается: нет официального распоряжения. И ладно, поднимем народ: хватит ждать, пора приниматься за дело!

Вечером в Нарым поступают наконец телеграммы. Всё! Теперь никаких сомнений.

«Оцепенение охватило меня и Скворцова, - вспоминал Вегман, - Мы застыли на момент. Многозначительно переглянувшись, начали затем, дрожа от волнения, судорожными руками вскрывать телеграммы.

«САМОДЕРЖАВИЕ СВЕРГНУТО. ВЛАСТЬ В РУКАХ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ГОТОВЬТЕСЬ В ДОРОГУ», – телеграфировал Шотман...»¹³.

С помощью местных жителей разоружили охранников, а утром «*приступили к ликвидации полицейской власти в Нарыме*». Потом пообедали, провели митинг. И разослали гонцов по всему Нарымскому краю, разнесли весть о свободе.

Светило весеннее солнце, пробуждалась природа.

Санний путь к тому времени был порядком разбит. Но дорогу до Томска, на которую уходила неделя, Вегман преодолел за четыре дня: летел, как на крыльях. Приехал и «*поступил в распоряжение Томского совета солдатских депутатов*».

Принялся за работу, о которой мечтал, стал выпускать газету.

Был избран председателем губернского комитета РСДРП – единого с меньшевиками. Не как общий лидер, а в качестве компромиссной фигуры, которая устраивает идейных противников.

В Томске тогда «издавалась самая крупная и наиболее распространенная в Сибири газета – «Сибирская жизнь». В этой газете сотрудничали либеральные профессора, Потанин и его приверженцы, все видные общественные деятели Сибири. Газета поэтому пользовалась большим влиянием...»¹⁴.

Но лояльность к большевикам «Сибирская жизнь» не проявляла – и её закрыли. Не без участия Вегмана. Имущество печатного товарищества было национализировано, а проще говоря, перешло губкому.

Вместо либеральной газеты стала выходить сугубо «красная», которая была названа в духе времени – «Знамя революции». Редактировать её поручили опять-таки Вегману.

Кому же ещё: бывший искровец...

Потом, размышляя, почему легко пала в Томске советская власть, Вегман решит: такой город. Опереться на пролетарскую массу, как в других городах, было сложно. Не на кого опираться: университетский центр, оплот областничества и эсеров.

Сплошные либералы, соглашатели да контрреволюционеры!

Но в главном Вегман не кривил душой: томские большевики утвердить свою власть не смогли. Развивать эту мысль, конечно, не стал, иначе пришлось бы признать, что поддержкой у основной части населения губернии большевики не пользовались.

Он просто добросовестно отмечал: да, в декабре семнадцатого, под боком у губкома, областники провели Общесибирский чрезвычайный съезд, «*преследовавший буржуазно-сепаратистские устремления*».

И почти в то же самое время состоялось губернское Земское собрание. Тоже чрезвычайное. Собрание выбрало Земскую управу, разумеется, «*буржуазную*» – какую ж еще.

Действовал и такой старорежимный орган, как городская дума. Вегману довелось даже в ней поработать. Потом гласных думы разогнали – как областников и земцев. Наступило желанное единовластие.

Только длилось недолго: советы пали, не успев окрепнуть. И над Томском взвилось бело-зеленое знамя автономной Сибири.

«Белая, тихая, снежная ширь,
Темно-зеленое море тайги, -
Вот она, наша родная Сибирь,
Верьте друзья нам, страшитесь враги...»¹⁵.

Оставаться Вегману в городе было безумием, он понимал. Но остался.

И взялся за дело с теми, кто поступил так же. Собирались на Воскресенской горе, раз в несколько дней, у одного из подпольщиков. Там, «*на этой квартире и был поднят вопрос об издании газеты «Рабочее знамя*».

Редактором стал, конечно же, Вегман.

Газета, считалось, отражает интересы рабочих и их профсоюзов. В таком виде, рассудили, какое-то время просуществовать она могла – как внепартийное издание, которое заботится о жизни рабочих. Вегман ходил на собрания, печатал письма мастеровых.

На одном из собраний дерзко вступил в спор с министром Сибирского правительства Шатиловым. Заявил, что рабочим не дают собираться. И вообще, «*всякое выступление, даже невинного свойства, сейчас же характеризуется как «выступление большевиков»*¹⁶.

Шатилов стал возражать, напирая на трудности текущего момента.

А что будет с нашей газетой, поинтересовался Вегман, «*могут ли ее закрыть?*». Ну, как же, искренне удивился министр, «*у нас ведь свобода печати*».

Но что означало мнение министра по туземным делам – да в правительстве, где велико было влияние эсеров! Неделя-другая, и газету, конечно, закрыли.

Начались в Томске аресты – среди прочих взяли и Вегмана. Теперь всё, понял он, конец... Живым отсюда не выйти.

Потом арестантов собрали во дворе томской тюрьмы. Отделили тринадцать человек, повезли на вокзал. Оказалось, генерал Пепеляев, чтоб благополучно добраться до Екатеринбурга, взял с собой группу большевиков.

Вегман оказался среди заложников.

Столица Урала... Там пережил страшнейшие в своей жизни дни: смерть каждый день дышала в лицо.

Возиться с приезжими уральцам было ни к чему – разобраться бы со своими большевиками.

«Белогвардейцы несколько раз выводили заложников на расстрел, и только случайности спасали большевиков от расправы... Образец мужества и стойкости остальным подавали Наханович и Вегман...»¹⁷.

Что ж, жаль, конечно, думал Вегман...

Жаль, не увижу, каким оно станет, светлое пролетарское будущее. Какое счастливое, справедливое общество ждет тех, кто останется жив и дождетя нашей победы...

«Колчаковский суд приговорил к смертной казни. Приговор не привели в исполнение из-за эпидемии сыпного тифа. Боясь заразиться, белогвардейцы заперли заболевших «смертников» в камерах, обрекли заключенных на гибель от болезни и голода.

Когда во время освобождения Екатеринбурга... санитары в тюрьме среди трупов выискивали живых людей, подобрали и Вегмана. Несколько дней боролись врачи, чтобы вернуть его к жизни...»¹⁸.

Он чудом выжил. Долго приходил в себя, не мог встать.

Едва поднялся, тут же, в меру сил, стал работать, выполнять поручения. Его избирают председателем Уральского областного комитета большевистской партии. Но слабость дает о себе знать, после тифа и голода он не в себе.

И Вегмана отправляют в Москву на лечение. Он действительно попадает в руки врачей, но... только после тяжелой контузии. В один из дней *«был ранен при взрыве Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке»*.

Снова больничная койка – и досада на свою беспомощность: скорей бы, скорей приступить к делу. Удары судьбы Вениамин Давидович переносит спокойно: на войне чего не бывает. Остался жив – ну, и ладно. Уже хорошо.

И как награда за пережитые мучения – новая встреча с Лениным: так была она воспринята.

Знакомство с вождем, видно, стало решающим доводом, когда окрепшему, вставшему на ноги Вегмана поручали работу. С частями Красной ар-

мии он вернулся в Сибирь и возглавил одну, затем вторую большевистскую газету – в Томске и Омске.

Одновременно занялся вузами, школами, музеями. И затем приступил к главному делу всей жизни. К архивам...

* * *

Словари, журналы, справочники, какие-то письма. И книги – брошюры и увесистые тома. Кругом книги.

Как зимнее поле утопает под снегом, так и его рабочий стол пышным слоем покрывают бумаги. Но лишнего здесь ничего нет, все только самое необходимое.

Вегман знает, где что лежит: протянет, не глядя, руку, откроет на нужной странице, удостоверится – и тут же захлопнет. Обвинить его в неточности не удастся: история, как и другая наука, должна опираться на источники.

«Наука, - пишет, - развивается диалектически. Неустанно она движется вперед под влиянием сложных переплетенных и разрозненных фактов текущей действительности или того, что было в прошлом...»¹⁹.

Сложной и невероятно запутанной кажется многим недавняя история Сибири: контрреволюционные выступления, чехословацкий мятеж, белые правительства – одно, другое, третье. Анархисты, социалисты, областники, эсеры, большевики.

Да, было время! Одного предают, другого спасают. А кого-то, как Вегмана, ставят к стенке. Поди разберись...

Но ему разбираться не надо, он твердо стоит на партийных позициях. И защите пролетарских интересов, которые нужно отстаивать в каждой статье, каждой рецензии. В самой пустяшной заметке.

Надо показать события, как они были, во всей полноте, всеохватности, «диалектической сложности», иначе будет неясно, как всё происходило, каких врагов – сильных, неустрашимых! – одолели совдепы.

А для этого полезно использовать документы, подлинные материалы. Любые! И давать им большевистскую, единственно верную оценку. Документ, убежден Вегман, в переломный период обретает особое значение.

Он это знает. Ему, а не кому-то другому, доверили сберечь архивы.

Сибархив находился в Омске, туда доставляли документы, которые валялись во дворах и подвалах, пылились на чердаках, лежали грудой в учреждениях. Некоторые успели погибнуть – их жгли по незнанию, сдавали в макулатуру, пускали на самокрутки.

Работа была, прямо сказать, та еще – тяжелая и ужасно нервная. Может, поэтому Старк, который возглавил ее в начале двадцатого, не проработав

полгода, сослался на хвори и сдал дела заместителю. По его рекомендации и с одобрения Сибревкома заниматься архивами поручили Вегману.

Он едет в Москву – как делегат Восьмого съезда совдепов.

Встречается с руководителями Госархива Российской республики, обсуждает «*план спасения от гибели и хищения рассеянных по Сибири политических и военных архивов*». Да, документы должны уцелеть: протоколы, «*архивы коалиционных комитетов*», подшивки газет²⁰.

То же самое утверждал он и раньше, два года назад, в апреле восемнадцатого, когда «*по его предложению Томский губисполком вынес постановление о создании Западно-Сибирского краевого музея и архивохранилища при нем*»²¹.

«В условиях... всеобщей разрухи предстояло спасти брошенные на произвол судьбы груды старинных и современных архивных дел и просто россыпи документов из разтерзанных папок, а заодно – книги, журналы, газеты...»²².

К работе Вегман привлекает профессора Бакая, писателя Пушкирева и других, кто знает толк в документах. План его эффективен и прост:

а) спасти от гибели важнейшие документальные материалы, собрав их в государственные хранилища;

б) провести экспертизу полноты собранных материалов, чтобы по возможности разыскать недостающие ценные документы;

в) установить контроль за хранением делопроизводственной документации во всех учреждениях, чтобы исключить гибель новых советских документов;

г) всемерно использовать архивное дело в интересах народного хозяйства;

д) начать публикацию документов по истории борьбы с царизмом и контрреволюцией...»²³.

Важны все правдивые сведения – распоряжения, приказы, списки. Все материалы, которые достоверно отражают события минувших лет. Включая письма, фотографии и мемуары. Да, мемуары тоже.

Рецензируя книгу воспоминаний участников гражданской войны, Вегман отмечает:

«Этот сборник – материал для полной и всеохватной истории борьбы... литературный памятник действий Пятой армии», которая прошла по всей Сибири. И хотя книга «не дает последовательной истории борьбы», авторам удалось «краткими, схематичными статьями и бесхитростно-красочными сжатыми бытовыми очерками показать, как велась эта борьба...»²⁴.

Такой же полной и всеохватной должна быть история самой партии.

Вегман убеждает создать Сибистпарт и во главе его поставить Преображенского. Сам тоже ведет работу по сохранению архивов, имеющих отношение к революции и партийной борьбе.

Документы эти уходят в Москву. Там на них ставят гриф «Секретно», закрывают свободный доступ. Победившая партия решает, кому можно судить о победителях и побежденных, а кому это делать нельзя.

Но Вегман продолжает работу.

Теперь он возглавляет сразу два родственных учреждения, Сибархив и Сибистпарт. Авторитет его, как историка, непоколебим. Его называют *«первым в ряду сибирских советских историков»*²⁵. Были, конечно, и другие – Ансон, Печеркин, Циркунов. Но Вегман – вне этого ряда.

Его цитируют, на него ссылаются. У него учатся.

Он среди тех, кто создает краевые общественные организации – Общество содействия обороне и авиации, Сибирское отделение Общества старых большевиков, отделение Союза художников.

Создает и возглавляет Общество изучения Сибири²⁶.

«Краеведение, - убежден Вегман, - играет большую роль в изучении ресурсов и производительных сил Сибири...»²⁷.

Его интересует недавнее и далекое прошлое Сибири. Особенно история освободительного движения.

Он пишет о Щапове и Шашкове, сибирских историках демократической школы. Содействует выходу книги Кубалова о декабристах и статьи Потанина о Батенькове – с собственными примечаниями. Статьи, которая пролежала в архиве лет десять.

Да, конечно, написана лидером областничества, неприменимым врагом, но написана-то правдиво, живо и убедительно. Почему ж не издать!

Много пишет и сам: *«пишет очерки, статьи, исследования по истории профсоюзного и партизанского движения в Сибири»*²⁸.

Его статьи и рецензии появляются в «Сибирских огнях» – почти в каждом номере. И не потому, что это издание, во многом, обязано своим появлением ему, а из признания революционных заслуг и неоспоримого права оценивать прошлое.

Причем не только большевистское. Вегман пишет о книгах Гинса, Авксентьева, Сахарова, Милюкова, Болдырева – лидерах белого движения.

Воспоминания Болдырева, главнокомандующего Уфимской Директории, дает с кратким своим предисловием, где отмечает, что да, такие писания *«носят следы ненависти к советской власти»*, они *«не совсем достоверны»*. И в то же время заслуживают публикации.

Вегман рисует портрет боевого генерала, отважного, преданного престолу служаки, который *«вышел из пролетарских рядов»* и достиг высокого положения, *«обладая недюжинными способностями и крупными военными знаниями»*.

Не понимая в политике, генерал *«завяз в эсеровской тине»*, запутался, стал фигурой в чужой игре. Но разбираться в убеждениях врага Вегман не

собирается, зачем? *«Мы далеки от мысли читать в душе человека и делать из этого какие-нибудь априорные выводы»²⁹.*

Зато снабжает предисловие документами. Публикует письмо народо-вольца Чайковского, где тот громит большевиков и призывает генерала сделать правильный *«выбор между большевизмом и единственной силой, которая провозглашает демократическое государство».*

А следом дает письмо *«бабушки русской революции»* Брешковской, которая называет генерала *«испытанным борцом за свободу и правду»* и напоминает, что долг его – *«вести борьбу с большевиками ради созыва Учредительного собрания».*

Откликаясь на книгу Гайда, *«решительного и самолюбивого человека»*, Вегман отмечает необъективность его мемуаров. И тут же признает, что они *«представляют большой интерес для историка».* А потому *«странно и неправильно, что книга Гайда, появившаяся на чешском языке, не издана до сих пор на русском»³⁰.*

Книги противников советской власти, считает Вегман, надо издавать.

Там много фактов, ценных и важных. И есть *«столь ценные, что мимо них ни один историк пройти не сможет».* Хотя, соглашается, *«пользоваться этими сообщениями надо с большой осторожностью...»³¹.*

Такую позицию разделяют не многие. Вегману приходится терпеливо отстаивать правоту.

Иногда ему доставалось, особенно во время *«партийных чисток».* К чему, говорили, печатать врагов, зачем давать документы, где клеймят большевиков. Товарищи, вы только послушайте!

«К оружию, граждане!

Банды большевистские у ворот. Нет, они уже сломали ворота – озверевшие, озлобленные, беспощадные, в крови и огне ворвались в родную Сибирь.

Наши войска, наши защитники...изнемогают в усилиях сдержать их. Опасность великая, смертельная грозит стране, нашим семьям, нашему государству. Сдержать или умереть! Иного выхода нет. Мы все должны сознавать, должны дружно откликнуться на призыв правительства идти в ряды защитников Родины...»³².

Любому другому публикация воззвания вряд ли сошла с рук. Но Вегман, старейший в Сибири большевик и соратник Ленина, может себе такое позволить. Он понимает ценность документов.

И опирается на них, оставаясь убежденным большевиком.

А потом издает книгу, которая потрясла историков. На одиннадцатом году советской власти, в канун *«великого перелома»*, готовит и публикует с Туруновым справочный указатель, который становится библиографической редкостью.

Подробно и основательно, на многих страницах, показывает всю эмигрантскую и белогвардейскую литературу, посвященную борьбе за Сибирь. Книги, изданные в Стокгольме, Харбине, Праге. Статьи, помещенные в берлинском «Архиве русской революции» и парижских «Современных записках».

Конечно, пишет Вегман, господа эмигранты *«издают мемуары исключительно для того, чтоб оправдать себя перед современниками и соратниками, чтобы скрыть грехи, сгладить свои преступления, снять с себя... ответственность и вину за печальный исход белого движения»*³³.

Но и это – часть нашей истории.

Нашумевшая книга Соколова «Убийство царской семьи», воспоминания глав Директории, участников чешского выступления. Документы о колчаковском перевороте, изданные в Париже. Сборники документов сибирских областников.

Всё это нужно знать, читать и анализировать, убежден Вегман!

«Белая» Сибирь занимает его, наверное, не меньше идейных противников. Он пишет о Сибирской думе, лидерах областничества, местном правительстве, когда *«над просторами Сибири бело-зеленый взвился флаг»*³⁴.

Работы Вегмана по областничеству документальны, обстоятельны, доходчивы. И довольно подробны – как всё, что выходит из-под его пера. Там много деталей, нюансов, подлинных документов.

Таких, как Грамота о созыве Областной Думы, которая начинается словами:

*«Советская власть пала. Произведенный переворот и свержение советской власти снова вывели нашу родину на большую дорогу государственного строительства...»*³⁵.

Но документы, какими б они ни были, не мешают трактовать события по-своему, исходя из партийных убеждений. А сложное отношение к Потанину не мешает признавать очевидных его заслуг.

Разбив идею автономной Сибири, не оставив на областничестве камня на камне, Вегман в конце добавляет:

*«Между тем, основоположники областничества были настоящие демократы, народолюбцы, такие честные и благородные идеалисты, как Щапов, Ядринцев и Потанин. Конечно, не тот Потанин, каким из статей, выходявших за его подписью... рисовали его безответственные лица, не пощадившие даже этого незапятнанного имени, а тот Потанин, который на протяжении более полувека был в Сибири ее совестью, воплощением всего хорошего, честного, благородного, культурного...»*³⁶.

Хотя понятие о благородстве и чести у Вегмана, надо признать, было своеобразное – оно целиком соответствовало партийным его убеждениям.

Он с опаской, недоверчиво относился к интеллигенции, которая в трудную пору не поддержала советское правительство. *«Саботаж всей интелли-*

генции, которая всячески злостно мешала новой власти» вызывал его гневную отповедь³⁷.

Независимо мыслящие люди всегда вызывали раздражение большевиков. Но это б еще ничего, хуже другое.

В одной из статей Вегман сослался на конкретные имена. Назвал среди «саботажников» профессора Аносова, позволившего «клеветнические выпады против большевиков», профессора Гессена, который «уверял коллег», что советская власть продлится недолго, и ректора Угарова, который «ждал, когда кончится социалистический рай»³⁸.

Для карательных органов это могло послужить сигналом к аресту. Не зная этого Вегман не мог.

На него самого в конце двадцатых поступают доносы. Первые вздорные обвинения в правом уклонизме относятся к этим годам. Но авторитет Вегмана остается высок.

Он входит в редакционную коллегия «Сибирской энциклопедии», отвечает за раздел по истории классовой борьбы и революционного движения. По-прежнему пишет статьи, собирает документы, готовит рецензии.

Краевая газета поздравляет его с юбилеем, описывает жизненный путь. Дает приветственную телеграмму за подписью Эйхе и других членов крайкома³⁹.

Несмотря на преклонный возраст, Вегман бодр и подвижен: везде успевает, тащит множество дел. Но работа уже не доставляет того удовольствия: отношение к архивам в стране отчетливо изменилось.

Да и к старым революционерам тоже: бывшие заслуги, Вегман чувствует, слишком упали в цене. И все-таки он не прекращает работу. Выступает с публичными лекциями. Занимается созданием музея Ленина. Участвует в первом съезде советских писателей.

И пишет: думать в карандашом в руках давно стало потребностью. Пишет, осмысливая историю Сибири.

Не зная, что собственная его история подошла к концу...

Камера краевой тюрьмы НКВД. Дощатые нары, грязные стены и вонь.

Здесь Вегман провел меньше месяца. Он все отрицал, не признал ни одно обвинение. Даже когда бывшие друзья после бюро крайкома заклеямили его, как двурушника и врага революции.

Он все отрицал и молчал.

Ну, а что можно было сказать: наговаривать на себя и других, оправдываться, изворачиваться, дрожа за свою жизнь?

Он молчал и напряженно думал о чем-то своем. А потом, вернувшись в камеру, лег и вырвал из горла серебряную трубку, через которую дышал.

Одним движением руки...



VI. СВОЙ КРОВ

КАРТИНА БЕЖЕНСТВА

Стучат колёса, стучат колёса...

Люди сошли с ума, мир перевернулся: половина земли разорена и залита кровью, а другая застыла в страхе перед завтрашним днем. Дороговизна, эпидемии, мобилизационные сборы. И всюду, куда ни посмотришь, одно и то же: боль, нищета, отчаяние.

Бог мой, за что нам такая кара! Гот майнер, чем провинились мы пред Тобою, скажи...

Вокзал, один громадный вокзал – вот что напоминает Россия. Кажется, все вдруг засобирались, сдвинулись с места, куда-то устремились. Одни уже едут – на запад, к театру военных действий, или на восток – в глубокий тыл, а другие этого ждут.

Ждут с бесконечным терпением и крохотной, смутной надеждой: может быть, повезет. Может, минует чаша сия и всё как-то устроится, повернется по-другому. В плохое не хочется верить – так уж устроен человек: он верит в хорошее.

В добро, удачу, благополучие.

Но стучат колеса. День и ночь, далеко и близко, громче и тише – стучат, и ритмичный их перестук – уже знаешь – не забудется никогда: это отзвук твоей горькой, несчастной судьбы.

Дом обездолен, кров разорен, годами нажитое имущество пущено по ветру, и сам ты, как пыль на ветру, кружишь и кружишь над сумасшедшим проклятым миром, и не знаешь, когда и куда тебя принесет.

Стучат колёса, стучат колёса...

Эшелоны катят в Сибирь, почти не останавливаясь в пути, а путь нелегкий. Старые теплушки набиты до отказа, сидеть ещё можно, а вот лечь удастся не каждому. Дети утихли, прекратили плач, только грудные младенцы, если не спят, заходятся криком: молока не хватает. И больные стараются спать: лекарств нет, надежды поправиться мало, а станет хуже – снимут попросту с поезда, ищи потом родственников по городам и весям, скитайся и лей слёзы.

Один пропадешь. Одному, точно, не выжить.

Никто ничего толком не знает, слухи рождаются всякие: каждый день новая весть – иногда неплохая, обнадеживающая, а чаще тревожная. Только и остаётся – обсуждать на все лады, что там ждёт впереди, да собирать новые слухи. Безучастными остаются одни старики. Они тихо молятся, подняв отрешенные лица к небу, вместо которого много дней – дощатая грязная крыша вагона.

И произносят, словно заклинание, древние слова – такие же древние, как само изгнание:

БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОГЕЙНУ...

В вагоне невыносимо душно, воздух спёртый, и свет почти не проникает. Продуктов мало, питание скудное и неровное – бывает, полдня не увидишь ни крошки хлеба. Одежда за время странствий превратилась в лохмотья, а другой нет: багаж кто утерял, кто давно обменял на хлеб – как завтра, ещё не известно, а без хлеба не проживешь.

Нет ничего, чем владел вроде недавно: ни дома, ни сада, который вырастил своими руками, ни вещей. И имени тоже теперь нет, война забрала и его. Отныне имя тебе – беженец, и вас, безымянных, не счесть.

Азохэн вэй, азохэн вэй! Чем провинились мы пред Тобою, скажи...

* * *

Война всё переиначила и переворошила. Цветущие западные губернии разорены, а неприятель наступает и наступает.

«Вместо цветущих нив и пастбищ, богатых стад – опустошенные поля. Вместо хороших усадеб – развалины, груды пепла. Вместо умелого и состоятельного хозяина – голодные, жалостные беженцы. Длинные их ряды тянутся в соседние губернии, они стучат в двери более счастливых жителей: помогите нам!..»¹.

Эшелоны движутся на восток: Челябинск, Омск, Новониколаевск, Томск, Красноярск.

Страдание передвигается быстро, его не остановишь, и оно многолико: поляки, евреи, латыши, литовцы и даже немецкие колонисты. Всех именуют беженцами, слово «выселенцы» нигде не звучит, оно под запретом, военная цензура его всюду вымарывает. Хотя разница между выселенцем и беженцем огромная: одного объявили шпионом, пособником врага, лишили прав, согнали в одночасье с обжитой земли, а другого обездолило лихолетье.

Разница колоссальная: один пострадал от врага, другой разорен и оболган своим же правительством, от имени которого действует военное командование. Одного жалеют, другого проклинаят – есть разница, что ни говорится.

Проклинают евреев – остальных жалеют.

«Верховное главнокомандование понимало опасность настроения, охватившего армию после тяжелых поражений. Нужно было во что бы то ни стало найти виновных. И они были найдены: виноваты евреи, которые, живя на фронте, занимаются шпионством.

И вот последовал приказ очистить полосу фронта от еврейского населения. Армия в своей массе поверила навету на евреев и сочувствовала приказу, который стал приводиться в исполнение... А это означало, что мелкие польские городки и местечки лиша-

лись большей части своего населения, занимавшегося ремеслами и торговлей... Группы этих несчастных бесприютных людей направлялись неизвестно куда и зачем...

Лица у всех были хмурые, многие женщины и некоторые мужчины плакали...»².

Весь этот поток устремился, куда ближе, чтоб переждать тяжкую пору и вернуться потом, спустя время, в свои городки и местечки. Но поблизости для несчастных не оказалось места – оставаться в соседних краях им не давали. Власть была неумолима, власть требовала, вынуждала двигаться на восток, в Сибирь.

И потекла, понесла свои волны широкая, полноводная река выселенцев и беженцев в края, куда веками ссылали заклятых врагов закона и престола. Покатили эшелоны с оборванными, изможденными, отчаявшимися людьми на восток: Челябинск, Омск, Новониколаевск, Томск, Красноярск³.

«Движение беженцев приняло характер бедствия. Недостаток вагонов, отсутствие заранее детально разработанного плана перевозок... неподготовленность мест, куда беженцы следовали, наконец угнетенное душевное состояние самих беженцев – всё это делало обслуживание этого движения исключительно трудным...»⁴.

Стучат колёса, стучат колёса...

Жизнь дала трещину, надломилась. И раньше-то не была сладкой, какой там, приходилось много трудиться, испытывать обиды, несправедливость, разочарования, но был свой кров, надежное дело, которое худо-бедно кормило. И земля, которую называли свой.

Теперь ничего этого нет: в один день всё исчезло, пошло прахом, провалилось.

Всё исчезло, кроме обид, несправедливости, разочарований. Как жить?..

* * *

Война громыкала где-то далеко, на западных рубежах великой империи. Но эхо войны было слышно всюду, достигало самых отдаленных уездов, самых глухих волостей.

Война вселяла страх и неуверенность в будущем.

Война ввела цензуру, опустошила торговые склады, вызвала неслыханную дороговизну – *«цены на важнейшие продукты питания, товары первой необходимости и вещи хозяйственного обихода повысились чрезвычайно»*: на некоторые продукты – в три-пять раз, на обувь – втрое, на мануфактурные товары – в восемь раз⁵.

Война забрала мужчин, оставив солдаток, женщин с детьми, без средств к существованию. Война посеяла нужду, скорбь, эпидемии.

А потом создала поток беженцев – разношерстный, несчастный, неимущий, который устремился в сторону Томска. Но томичи в отношении беженцев поначалу были спокойны: здесь без того некуда шагу ступить – вавилон-

ское, можно сказать, столпотворение. Раненые, пленные, военные чины запасных частей...

Не хватает жилья и продовольствия, переселенческие бараки, заразные больницы, солдатские казармы полны пришлого народа, говорящего на разных языках – чешском, немецком, венгерском. Ну, куда, скажите на милость, куда и кого ещё принимать в этих ужасающих, в этих невыносимых, диких условиях?

Да минует нас, говорили про беженцев, беда сия – и рады помочь, говорили, да нечем! Да не постигнет нас это великое бедствие!

Увы, постигло...

В середине лета 1915 года, 11 июля, томский губернатор Дудинский получил телеграмму от начальника штаба Казанского военного округа, в которой говорилось:

«ВНУТРЕННИЕ ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИИ ПРЕБЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ НУЖДАЮЩИХСЯ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКОМ НАДЗОРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИИ...»⁶.

Дальше высказывалось требование позаботиться о «необходимых мерах» для принятия беженцев, коих «во внутренних пределах» уже решительно негде разместить. Позаботиться следовало, прежде всего, о жилье и продовольствии – ни того, ни другого в Томске катастрофически не хватало.

Такого оборота губернатор не ожидал. Да и высшее начальство, судя по всему, пребывало в растерянности. На запрос губернатора, каковы же нормы довольствия для беженцев и, главное, каковы средства, отпускаемые казной для решения возникших проблем, ответа не последовало. Ни из столицы, от правительственных чиновников, ни из Омска, где находился штаб Сибирского военного округа.

Губернатор снова и снова стучится в закрытую дверь:

«Никаких указаний о нормах довольствия беженцев на продовольственных пунктах у меня нет, равно не отпущено в моё распоряжение и необходимых на то средств...»⁷.

Всё тщётно, впустую. А между тем...

«Толпы обнищавших беженцев, голодных, больных, потрясённых пережитыми ужасами и потерями близких людей... располагались лагерем у городов, искали крова и не находили, просили помощи и не получали. Зябнувшие, они раскладывали по ночам костры, а в кострах сгорали их дети, подошедшие близко к огню, чтобы согреться...»

Смерть собрала среди беженцев такую обильную жатву, какой не собирала нигде. Среди них умирало в пути 162 на тысячу, тогда как общая смертность в России составляла 26,7 на тысячу, а среди переселенцев за последние годы была равна 60 на тысячу человек. И родным не на что было хоронить трупы – они их оставляли, чтоб другие похоронили. Но ещё ужаснее, когда и средства были, но от покойников отрекались, так как берегли деньги для себя...

Беженцы устремились в города, где легче было найти приют и заработки...»⁸.

Беженцы хлынули в Томск – в город с населением в 100 тысяч человек, который принял за первый год войны десятки тысяч человек, военнопленных и нижних чинов.

А сколько требовалось принять ещё, не ведал никто.

Циркуляром от 11 августа Его превосходительство сообщил городским головам и старостам Томской губернии: прибывают беженцы. Нужно организовать комитеты для оказания помощи. *«Десятки, сотни тысяч людей различного положения, классов и возраста снялись с места и стихийным потоком едут в восточные губернии, и общий долг наш – помочь им»*⁹, - воззвал начальник губернии.

Во исполнение его предписания в середине августа был создан Томский городской комитет по оказанию помощи беженцам. Вместо градоначальника, которого командировали в столицу для поиска средств, временно возглавил комитет его помощник, заступающий место городского головы Петр Васильевич Иванов.

В комитет вошли гласные думы Патрушев, Ган, Голованов, Болотов, Родюков, Кухтерин, Гадалов, Плотников, Ливен – именитые граждане, состоятельные томские купцы и промышленники. Подумав, туда же включили полицмейстера Шеремета, городского врача Тимофеева и председателя уездного съезда крестьянских начальников Шевелина.

От Томской переселенческой организации в комитет вошли Еланцев и Смирнова. От духовенства – протоиерей о. Иоанн Беневольский и священник о. Николай Васильев.

Когда же в Томск вернулся городской голова Ломовицкий, он тут же вовлёл в работу представителей общественных организаций. Так в городской комитет вошли председатель Томского отделения Сибирского общества помощи больным и раненым войнам профессор Топорков, руководители девяти городских участковых попечительств о бедных.

И представитель еврейского благотворительного общества присяжный поверенный Бейлин.

* * *

На первое заседание комитета губернатор не счёл нужным явиться.

Зачем? Его бы, конечно, начали спрашивать о финансовой стороне помощи беженцам, от него бы ждали программы действий. А что он, глава края, мог сказать, когда и сам толком не знал – как, на какие средства размещать невольных сибиряков, чем помочь бедным жертвам войны.

Ведь «расселение... беженцев по Сибири, непредусмотренное и неподготовленное, производится без всякого плана. Десятки товарных поездов неделями передвигаются в

различных направления, ища пристанища для многих тысяч измученных и истощенных белорусских, польских и литовских крестьян, насильственно поднятых с насиженных мест...»¹⁰. Для еврейских семей.

Первым делом, следовало выяснить собственные возможности. С этого и начали разговор на первом заседании городского комитета. Решено было:

«Выяснить места, где беженцы могли бы найти без особого стеснения местного населения приют и заработок;

- исчислить и выяснить виды работ и количество работы, которую можно предложить беженцам;

- предложить обывателям содействовать комитету по оказанию помощи беженцам;

- устроить питательные пункты для стариков, детей и неимущих до приискания беженцами заработка...»¹¹.

В качестве *«первой меры»* решили отдать бараки переселенческого ведомства у станции Томск II: *«бараки тёплые, с печами, котлами и кипятильниками»*. Но бараки, господа, могут вместить не больше трехсот человек, их заполнят за несколько дней, а дальше, дальше-то что? – вопрошал кто-то резонно.

– Дальше, что ж... обратимся к домовладельцам: проявите, скажем, человеколюбие, не откажите в приёме беженцев. Попросим владельцев меблированных комнат...

– Полно, господа, какие меблированные комнаты, о чем вы, помилуйте! Да вы не представляете размаха бедствия, вы не были на станции, не видели – сколько их!.. Думаю, господа, надо рассмотреть возможность использования железнодорожных дач на станции Томск I.

«Правда, для зимы они недостаточно приспособлены, но острая нужда в крове может быть ими удовлетворена...»¹².

Кров – главное, что нужно сейчас несчастным, кров и медицинская помощь: среди них много больных.

Для барачков с беженцами согласились нанять из городских средств прислугу и фельдшеров. Решили открыть без промедления справочное бюро, чтобы было куда обращаться в поисках заработка. Для детей беженцев постановили открыть в скором времени приют, а стариков условились помещать на первых порах в богадельню: в тесноте, как говорится, да не в обиде.

А беженцы всё прибывали.

«С 9 по 27 августа, – читайте газеты! – в переселенческих бараках при Томском переселенческом пункте призревало 149 семей беженцев с 602-мя душами обоого пола. Из них устроено на работу 69 мужчин и 29 женщин... выбыло в Барнаульский уезд к родственникам 20 семей – 98 душ, а 35 душ выбыли из барачков на городские квартиры; в настоящее время призрываются в бараках 210 душ.

Всем прибывающим на пункт беженцам даётся приют в бараках, больным оказывается бесплатная медицинская помощь и выдаются медикаменты, а с 28 августа за счёт средств комитета отпускается бесплатная горячая пища и чёрный хлеб взрослым, молоко и белый хлеб детям, и уже приступили к организации бесплатной выдачи сахара и чая беженцам...»¹³.

Кружка горячего чая: как мечтали в пути о такой малости...

Сжать в ладонях жестяную посудину, закрыть глаза и представить на миг, что ничего этого нет, а есть тихая довоенная жизнь. С её незаметными радостями и глупыми, теперь мнится, огорчениями – настоящие-то беды вот они, открой глаза. И здесь же подлинные радости, среди которых – кружка горячего чая.

Одних разорил неприятель, других пустил по миру тот самый военный начальник – кто он по званию, поди разбери! – тот штабной офицер в чистом мундире и сверкавших сапогах, коего не забыть.

Войну он наблюдал издали, порошу даже не нюхал, зато облечен был властью, решал чужие судьбы мимоходом, досадливо морщась от необходимости ворошить весь этот муравейник, заниматься пустыми делами гомонящих, орущих, плачущих людей, которые не понимают величия исторического момента, не понимают того, что на их глазах решаются судьбы Европы – да что там Европы, всего цивилизованного мира!

А они, понимаешь, страдают о глупых коровах, плачут по вонючим своим поросётам, убиваются по жалким домишкам...

Скотину, лошадей и коров, беженцы при отправлении сдавали в казну, получая квитанцию, которую на месте прибытия следовало предъявить местным властям для получения денег. Бывало, скотину реквизировали «для нужд армии» господа военные, давая взамен коров, лошадей и фуража бумажку с закорючкой чиновника, а когда бумажки, по прибытию, направляли в губернское управление, там они собирались, копились, подшивались.

Выдать причитающиеся по ним деньги местная власть, при всем желании, не могла.

Иногда, словно усовестившись, Его превосходительство господин губернатор отсылал господам военным собственную бумажку, начертав на ней: «*Прошу дать надлежащие указания об исполнении указанных ходатайств беженцев...*»¹⁴.

Ответа, само собой, не приходило.

«В департамент Государственного казначейства, - сообщала столица, - поступают в большом количестве телеграфные и письменные запросы Казенных палат о порядке оплаты казначействами предъявленных беженцами реквизиционных квитанций. Эти вопросы возложены на состоящее под председательством Министра внутренних дел Особое совещание о беженцах и на специальное, в составе МВД, управление. Ими вырабатываются правила оплаты предъявленных беженцами квитанций...»¹⁵.

Вопросы, параграфы, установления...

В прифронтовой полосе война забрала у людей всё, что нажито было тяжким многолетним трудом: лошадей, повозки, упряжь, фураж. На языке военных это называлось «конская и повозочная повинность». Война лишила всего, превратив трудолюбивых хозяев в бродяг, людей без крова и средств. Она сделала их нищими и не велела плакать: отправляйтесь в Сибирь – ну же, немедленно! – там помогут. А в Сибири сказали: рады помочь, да не можем.

Из столицы приходит наконец разъяснение: означенные квитанции «необходимо предъявлять в уездные по воинским повинностям присутствия, где велась реквизиция», то есть туда, где жили беженцы, а уж те самые присутствия должны, оказывается, передать квитанции местным казначействам.

«Если реквизиция происходила вне района, подчиненного Верховному главнокомандующему, - поясняли чиновники, - оценка имущества должна устанавливаться особыми комитетами по закону». Беженские же квитанции «необходимо предъявлять не в Казначейство, а в учреждения военного ведомства по продовольствию – в корпусные, окружные или полевые военные управления...»¹⁶.

Вопросы, параграфы, установления...

Оказавшись в Сибири, беженцы отсылали бумажки в Военно-окружные интендантские управления. Отсылали в надежде, что получат хоть сколько-то, самую малость. Но время шло, а надежды, увы, не сбывались.

«Мы были эвакуированы в Сибирь, - писали беженцы томскому губернатору, - попали сюда, в холодные, гиблые места, как в ссылку. И вот, потеряв всё имущество, нажитое за всю жизнь, получаем от казны скудное пособие, на которое невозможно существовать, и то – с большими задержками, а про квартирные деньги и деньги на отопление нечего и говорить. Задолженность хозяевам за квартиру растёт, больные старые люди нуждаются в медицинской помощи...

Почему мы, брошенные сюда страдальцы, должны безвинно терпеть на чужбине страдания?...»¹⁷.

Странные люди: почему...

Его превосходительство хмурился и негодовал: «почему...». Такое уж время. Всем, милостивые государи, теперь нелегко, всем непросто.

На то она и война.

* * *

За первые три месяца через Томск, ставший главным распределительным пунктом при движении беженцев на восток, прошло более 25 тысяч человек¹⁸. Огромная цифра: восемь с лишним тысяч человек в месяц.

Всех следовало принять, накормить, обогреть, а кого-то отправить дальше.

Сотрудники созданного в конце августа Справочного бюро регистрировали прибывших, а на тех, кто оседал в Томске, заводили карточки: данные о беженцах, нашедших приют, давал городской полицмейстер. В карточке отмечали состав семьи, возраст детей и взрослых, профессию.

«Программу и технику регистрации беженцев» выработал заведующий статработами Томского переселенческого района Нагнибеда. По его предложению, на тех, кто потерял в пути родственников, стали заполнять ещё одну карточку. Поиском потерявшихся занимался и Татьянинский комитет – Комитет великой княжны Татьяны Николаевны. При нём в Петрограде был создан Особый регистрационный отдел: сведения о потерявшихся родственниках надлежало отправлять и туда.

Кроме регистрации, Статистическое бюро ведало иными вопросами, давало беженцам временные удостоверения, по которым можно было устраиваться на работу, получать пособие.

«Подробные сведения о беженцах и оказанной им помощи, - пояснял Нагнибеда, - остаются на карточках как материал, который впоследствии будет разработан с точки зрения беженства как социального явления, сопутствующего войне...»¹⁹.

Ох, эти карточки...

Усталый канцелярист, отложив перо в сторону, тихо проклинал судьбу: работать приходилось с утра до вечера. За мизерную плату.

Работа была – хуже не придумаешь, а утешало одно: в конце дня, каким бы трудным он ни был, сотрудник бюро отправлялся домой, под собственный кров, которого лишены были тысячи несчастных беженцев. Уж им-то, верно, приходилось хуже – без дома, работы, в чужом незнакомом краю. Даже по тем скудным сведениям, что вносили в регистрационную карточку, трудно было представить бедственное положение беженцев.

И выселенцев-евреев.

«Абрамович Шмуил Айзикович – 49 лет, извозчик; жена Сара – 35 лет; дети: Айзик пятнадцати лет, Симон восьми лет, Меер четырех лет, Ривка одиннадцати лет. Прибыли из города Ковенска...»;

«Кало Хава Еноховна – 19 лет, еврейская портная из Варшавы...»;

«Беркович Мендель Гершевич – 48 лет, веревочник; жена Хава – 49 лет; дети Фейга и Шейна. Прибыли из Брест-Литовска Гродненской губернии...»;

«Иоффе Шая Юделевич – 42 лет, аптекарь из Ковенской губернии; сын Беры четырех лет...»;

«Блейхман Лейба Моисеевич – 15 лет, портной; мать Сара – 42 года; младшие братья и сестры: Янкель, Берка, Рохл, Хая, Райх, Хана. Прибыли из местечка Присветы Ковенской губернии...»;

«Абрамский Копель Лейбович 18-ти лет, еврейский учитель из Гродно»;

«Кленштейн Залман Янкелевич – 40 лет, чернорабочий; жена Хая 40 лет; дети Моисей, Фрида, Лейба, Янкель, Хана, Дейра. Прибыли из Витебской губернии...»²⁰.

Они-то действительно знали, что такое беда.

«Тише, дети, не плачьте, – уговаривал сыновей высокий плечистый Давид Пронский из Ковно. – Зачем плакать, всё образуется, увидите...». Говорил – и не верил своим словам: что образуется? когда, каким образом?

Шестнадцатилетний Лазарь Фефер из Минской губернии, не плакал – он безутешно рыдал: в пути отстал от поезда, попал в другой эшелон и после долгих мытарств оказался в Томске, не ведая, где семья.

Зато степенный Мовша Каплун, белостокский лесопромышленник, держался уверенно: что ж, и в Сибири можно, пожалуй, неплохо зажить – ежели с умом. Тем более, местная община обещает помочь.

«Нужно видеть нужду и горе вырванных из своих гнезд, разоренных, потерявших отцов и матерей беженцев, чтобы понять их несчастье и оценить их положение, – писали газеты. – Материальная помощь и нравственная поддержка необходимы немедленно, в противном случае большинство беженцев вследствие недоедания и расстроенного здоровья обречены на постепенное вымирание, в особенности дети, положение которых не поддается описанию...»²¹.

Томичи еще ничего, к выселенцам относились по-божески – из других мест приходили печальные сообщения.

В Енисейске, писали, «местный исправник не разрешил оказывать помощь выселенцам. Тогда еврейское общество по телеграфу обратилось к губернатору и получило разрешение. Теперь оно находится в затруднении относительно средств, чтобы хоть как-то облегчить те ужасные потрясения, в которых находится огромное большинство выселенцев, в основном, галицийских евреев – стариков, женщин и детей, не способных к работе, не говорящих по-русски...»²².

Конечно, нужны деньги, как без них – милосердие, чтоб откликнуться на чужую беду, и деньги, чтобы в меру сил помочь этой беде.

Много денег!

Смету расходов Томский комитет помощи беженцам подготовил в конце августа. Стали считать: продовольствие – по 20 копеек в день на каждую душу, жалование персоналу барачников, жалование врачу и фельдшеру. Медикаменты для первой медицинской помощи. Отопление, освещение барачников. Снабжение питьевой водой. Итого сколько?

Получалась громадная цифра: только на первое время, «для покрытия первоначальных расходов» городу требовалось 3150 рублей. Ну, а если учесть «оборудование барачников», одежду и обувь беженцам да транспортные расходы, выходило, общим счётом, 5 тысяч рублей.

Но это на первое время, потом расходы будут увеличиваться – они будут расти, как снежный ком. В месяц, посчитали, придётся тратить до 50-ти тысяч рублей. Одно продовольствие обойдется в 37 с лишним тысяч. Да обслуживание барачников, да теплая одежда.

«Из общего числа беженцев в Томске, - докладывает член комитета, - не менее 1240 взрослых и около 800 детей школьного возраста нуждаются в теплой одежде, белье, обуви. Таким образом, чтобы одеть и обуть нуждающихся, требуется 18972 рубля на взрослых и 9600 на детей». Итого, господа, получается, 28572 рубля²³.

Чтоб сократить расходы, решили приступить к строительству новых барраков. На это требовалось около 10 тысяч рублей. Строительство бани и кухня для беженцев – еще около 3 тысяч рублей. Оборудование «заразной» больницы – 8 тысяч рублей. Оборудование детской больницы для «коревых» – 1700 рублей. Если сложить, получится 22700 рублей.

От таких сумм, положительно, голова идет кругом!

Значит, что? Только на первые два месяца для решения проблем, связанных с беженством, потребуется 100 тысяч рублей. Не считая строительных расходов, тёплых вещей, медикаментов. А с ними смета расходов увеличится до 158 тысяч рублей.

Губернатор Дудинский шлёт в столицу одну телеграмму за другой:

«Ввиду острой нужды для оказания денежной помощи прибывающим беженцам и совершенного отсутствия средств, прошу не отказать в распоряжении о скорейшем удовлетворении ходатайства...».

Столица молчит.

«Ввиду скопления в городах губернии массы беженцев и совершенного отсутствия средств является острая нужда в денежной помощи. Об отпуске 50000 рублей я ходатайствовал 27 августа и 7 сентября. Прошу сделать распоряжение о скорейшем удовлетворении...»²⁴.

Столица молчит.

Только 29 сентября была получена телеграмма за подписью графа Тышкевича: Томску отпущено 50 тысяч рублей. Следом пришла новая телеграмма, под которой значилась подпись министра финансов князя Волконского. Основные расходы казна обещала взять на себя.

Но как правительство выполняет обещания, всем хорошо было известно.

В середине октября губернатор, теперь уже более решительно, просит о выделении дополнительных средств: *«прежний 50-тысячный аванс давно исчерпан, а число беженцев с каждым днем увеличивается»*²⁵.

Члены губернского комитета по устройству беженцев констатируют *«полную невозможность за отсутствием средств удовлетворить насущные нужды беженцев»*. И решают на заседании комитета *«временно позаимствовать из посторонних источников 20 тысяч рублей»*, о чем губернатор сообщает в министерство внутренних дел.

Только после этого на счета губернского казначейства поступает ещё 50 тысяч рублей: возьмите и угомонитесь.

Но целостная картина остаётся неизвестной правительственным учреждениям. В отчетах, на первых порах, не упоминается то обстоятельство, что видную долю расходов взяли на себя национальные комитеты помощи беженцам: еврейский, польский, латышский, литовский.

«До сего времени, - признавал городской комитет в конце 1915 года, - комитет совершенно не затрачивал средств на устройство беженцев польской, еврейской и латышской национальности, эти беженцы содержались исключительно на счёт национальных организаций». Но деньги кончились, и они обратились в городской комитет с просьбой «принять во внимание потребные расходы по содержанию беженцев и включить их в общий расчет при составлении сметы на ближайшие месяцы...»²⁶.

Просьба, что говорить, была резонной. На полном попечении города в то время находилось 1546 человек – в основном, старики и дети, а национальные комитеты содержали на свои средства в полтора раза больше, 2394 человека. Устраивали в пользу беженцев кружечный сбор, проводили музыкальные вечера, давали спектакли, читали публичные лекции.

Словом, делали всё, чтоб поддержать несчастных соплеменников. И вели свой статистический учет.

«Бык Барух Ицкович – 51 год, чернорабочий из Ковенской губернии; с ним дети Мендель, Мордухай, Ицхак, Рахиль, Этка, Цива – от пяти до двенадцати лет»;
«Сойфер Зая Лейбовна – 28 лет, домохозяйка из Волынской губернии»;
«Гольдберг Хаим Файвышевич – 17 лет, кожевник из Варшавы»;
«Шварцман Меер Менделевич – 42 года, ломовой извозчик из Ковенской губернии, жена Хана и дети Лазарь, Моше, Хана»;
«Боринбом Нахман Еселевич – 18 лет, еврейский учитель из Минска...»
«Лившиц, Шапир, Пронский, Абрамович, Голд, Лурье, Гилендерская, Лейкин, Кац, Шустерман...»²⁷.

Как они живут, в чем нуждаются? Михаил Бейлин, член еврейского комитета помощи беженцам, помещает в «Сибирской жизни» статью.

«На станции, - пишет, - беженцы живут по недели и по две – в теплушках, с детьми, скученные, недоедающие, угнетенные постигшим их бедствием, удрученные неопределённым будущим...»

Вагоны крайне нужны, дорога требует их освобождения. Идёт студёная зима, жить в теплушках с их примитивными печами опасно детям, среди которых много больных коклюшем и скарлатиной – и ещё больше прихварывающих. И если посмотреть на эту унылую нужду и неустроенность беженцев... нельзя не признать, что томские граждане почти ничего не делают... В городской комитет не вошли представители купечества, банкиры; состоятельные люди остались в стороне. Городское население остаётся почти безучастным...

Но как это могло случиться? Погасло ли наше сердце? Чужды ли нам интересы страдающих братьев? Нет, съездите к переселенческому пункту, посмотрите, как они живут, поговорите с ними. И тогда вы сделаете усилие, поможете, не пройдёте мимо человеческого страдания...»²⁸.

Как помогал присяжный поверенный Бейлин, купец Дистлер, врач Лурья, купец Быховский, другие члены еврейского комитета, которому «*интересы страдающих братьев*» были, уж точно, не чужды.

Страдания беженцев им были близки и понятны, беды беженцев принимали, как свои. И старались утешить, поднять дух, поддержать.

* * *

Бумага в бараке – вещь для беженца крайне необходимая. Бумага и карандаш.

Что делать, нужно писать, писать самому губернатору: может, ответит, поможет... Не может не помочь!

«Ваше превосходительство! Муж мой находится на военной службе, я с большим старым отцом и двумя сестрами 14-ти и 16-ти лет испытываю крайнюю нужду, а деньги за реквизированное имущество по квитанции не выдаются...»²⁹.

А что губернатор мог сделать: посочувствовать? развести руками?

Больная неимущая женщина пишет, что бежала с детьми и мужем из Гродненской губернии, муж в дороге умер – и осталась она вдовой. Как быть?

«Не допустите погибнуть с малолетними детьми, как не имеющей средств к существованию и своего приюта...»³⁰.

А беженец Дмитрий Пестунович адресует просьбу великой княжне Татьяне Николаевне: жил в Лифляндской губернии, мобилизован был для рытья окопов. Заболел, при наступлении немцев выселен. И вот, после злоключений, выехал с семьей на последние деньги в Сибирь, а уж из Новониколаевска за казенный счет попал на Алтай. И бедствует там – нет сил терпеть. Помогите!

В письмах беженцев – боль, отчаяние, безнадежность.

«Дорогой зять наш, а также дочь с детьми. Мы живы, но только плакали, что вас нет, думали, что вы остались под германцем и были убиты. Но сейчас, когда узнали, что вы живы, очень обрадовались. И просим, чтобы вы приехали к нам, так как у нас больше нет никого ближнего. Младший сын Иосиф гнал скот, а мы ехали подводами, но у Волковыска немцы начали с ероплана пускать бомбы, мы бежали, а многих убило. И нашего Иосифа нет теперь с нами...»³¹.

Горе многолико. Нет среди беженцев семьи, которой б не коснулась беда: потеря родных, болезни, нужда. Как помочь этому горю, как облегчить беду?

Негде жить, нечем питаться, нечего одеть взамен лохмотьев. Как жить!..

«Эти несчастные – на грани отчаяния! Потеряно все, что имел человек. Семьи во многих случаях разрозненны и не знают, где искать своих родных. Впереди ничего утешительного. Средств к жизни в чужом более суровом, холодном крае никаких, одежда – лохмотья. И вдобавок негде жить, нечем питаться.

Переселенческие бараки на станции до сих пор мало пригодны. Правда, есть освещение и печи, есть примитивная вытяжная вентиляция. Спать же приходится на голых досках, матрасов и даже соломы почти нет. Главная масса беженцев, тем не менее, предпочитает жить в теплушках, мечтая вернуться на родину. Беженцы боятся осесть на месте...»³².

Бедность и скученность ведут к эпидемии, слово «тиф» у всех на устах. Санитарный врач докладывает: «*Своя посуда у беженцев содержится не всегда опрятно. Необходимо купить для кухни тарелки и жестяные тазы*».

Да разве уберешься в таких санитарных условиях?

Переселенческая заразная больница переполнена, в городской больнице Некрасова нет мест – к концу 1915 года там находилось 195 беженцев. Среди них Ривка Глотер, Сарра Шапиро, Шломо и Рохл Шварцбаум, Иосиф Рядович, Янкель Ислович, Рохл Коц, Беньямин Шумянович, Фейге Гамбург, другие³³.

В Вознесенскую больницу попало 42 беженца, вместе с другими угодили туда Иосиф Гуревич с сестрой, Лейзер Лахер, Файвель и Беньямин Кацманы. Считаю, столько же – в заразной больнице при Заозерном училище, а в больнице на Плетневской заимке – почти две сотни беженцев, и там же Исаак Ручинский, Ицик Свиль, Хана Левинская, Голда и Мейер Абрамовичи, Фейга Сарно, Рувим Клятир, Сарра Нагель, Хаим Шапиро, Роза Маркович, Хая Блюменгронц.

Беженцы в больнице при Владимирском училище, Общей заразной лечебнице, туберкулезной больнице. Беженцы везде.

И некоторые, бывает, из больничных стен уже не выходят: тиф, холера, дизентерия. В городах и селах.

«Среди беженцев в деревне Искитим появился тиф. За февраль заболело 227 человек – 23 из них умерли. Больных навещает усть-искитимский врач...

В Тальминской волости – сыпной тиф, врача в настоящее время там нет, а одному фельдшеру бороться с болезнью сложно...

Игинская волость: заболевание брюшным тифом. Но участковая больница там – на расстоянии 120-ти верст. Необходимо оборудовать особое помещение на фельдшерском пункте для тифозных больных...

Тиф среди беженцев обнаружился в Морозовской волости...»³⁴.

Антисанитарные условия и скудное питание, все знают, ведут к заболеваниям, ну а где ж его взять-то – другое питание?

Норма суточного довольствия для беженцев в бараках такова. Взрослый получает три четверти фунта мяса и полтора фунта черного хлеба, не считая тарелки щей. Детям до десяти лет дают бутылку молока, кусок белого хлеба, полпорции щей и полпорции мяса. Малышам до четырех лет полагается бутылка молока и полтора фунта хлеба.

Зато мутный кипяток под названием «заваренный чай» в избытке, пей не хочу. И по два куса сахара на человека. Больше нельзя.

Кто не желает такого вспомоществования, в первую неделю вместо жилья и пищи получает ежедневно по 25 копеек на взрослого и 15 на ребенка. Но что это за деньги при томской дороговизне? – так, одно название. И те дают, пока не устроишься на работу, остальным, кто трудиться не может, норму довольствия урезают. Они получают не больше, чем семьи призванных на войну томичей.

«При назначении беженцам продовольственного и квартирного пособия, - гласит инструкция, - нужно руководствоваться не наличием в семье нетрудоспособных членов, а действительной нуждой беженцев...»³⁵.

Меньше нужды там, где есть надежный, устойчивый заработок. Однако устроиться на работу в Томске непросто. Работы мало. Почти нет.

«Успешность приискания беженцами заработка нужно признать неудовлетворительной... Прибытие беженцев совпало с окончанием полевых работ, потребность в рабочих руках миновала...»³⁶.

И всё же люди устремились в села, надеясь найти там приют и средства к существованию. К началу декабря 1915 года в селах Томского уезда проживало 1100 семей беженцев – свыше 7 тысяч душ. Беженцы из Волынской, Холмской, Виленской, Радомской, Витебской, Подольской, Гродненской, Могилевской, Ковенской, Минской, Киевской, Люблинской, Курляндской, Лифляндской и других западных губерний России.

Через полгода в Томском уезде жило почти вдвое больше – 2148 семей, без малого 11 тысяч человек.

На судах «Соединенной пароходной компании» и «Пароходства братьев Колесниковых» беженцев везли на Алтай, в Барнаульский и Бийский уезды, где жизнь была посытней. За перевозку их по воде и железным дорогам платил губернский комитет – правда, не полную стоимость, а некую часть, «*по особому удешевленному тарифу*». Причем каждый мог иметь при себе лишь 30 фунтов багажа, чуть больше двенадцати килограмм.

Ну, и нормы довольствия были, конечно же, разные. Сельчанам продовольственный паек давали на два рубля меньше, чем в городе: на селе, считалось, прокормиться проще. И хотя работы, чаще всего, не оказывалось и там, беженцев понуждали отправляться в уезды, где они обходились казне

дешевле, а коренных сельчан, старожилов, призывали проявить милосердие, поделиться с пришлыми кровом и куском хлеба.

Только напрасно. Проявлять милосердие деревенские жители не желали. И трудности, связанные с войной, относили на счёт беженцев, которых винили во всех смертных грехах.

«Одни надеются найти в беженцах дешевую рабочую силу, другие опасаются встретиться в них конкуренцию, третьи возмущаются их требованиями.

Конкуренция! Это острый пункт во взаимоотношении беженцев и местного населения. Это неотвратимое и, к сожалению, частое явление, ведущее к разобщению. Местное население – не все, конечно, – иногда видит в выселенцах тяжелое, ненужное бремя. Выселенцы таким отношением оскорбляются и возмущаются, и трагически растет стена взаимного непонимания...»³⁷.

Помыкавшись на селе, победствовав, семья беженцев в поисках лучшей доли ехала порой дальше. А «самовольное переселение» было под запретом – беженцы тут же лишались пособия. Отныне никто за их судьбу не отвечал. Ни правительство, ни губернские власти.

Вот и получалось: уедешь – плохо, останешься – ничуть не лучше.

Прокудинский комитет сообщал, что «беженцы, не получая пайка, дров, квартир и обуви, сильно ропщут. Управляющий губернией просит уездный комитет вмешаться, принять меры...»³⁸.

В декабре 1915 года беженцы Каменской волости отправили губернатору телеграмму, жалуясь на бедственное положение. Старшина деревни Усть-Иня походил по домам, походил и составил акт:

«Из 27 семей беженцев только 10 могут, до некоторой возможности, жить без помощи от казны, остальные находятся в худшем положении. Для них существовать без пособия затруднительно... Но все же острой необходимости в предметах первой необходимости замечено не было...»³⁹.

И добавил, что жаловались беженцы будто для того, чтоб выбить из казны дополнительное пособие...

К весне 1916 года в Томской губернии проживало 32 тысячи беженцев. Больше всего в Томском и Барнаульском уездах: соответственно, 9430 и 3613 человек. Среди городов по числу беженцев выделялись Томск (4748 человек), Новониколаевск (2218), Барнаул (2129) и Бийск (1057). В других городах и станциях беженцев было меньше, по несколько сот и даже десятков⁴⁰.

Сведения об источниках их существования время от времени поступали в губернский комитет. Картина получалась безрадостная.

В начале января 1916 года из 7967 беженцев, осевших в Томском уезде, в пособии нуждались 7618 человек. В Бийске, судя по телеграмме, заработок имели 12 прибывших. В Колывани и Каинске работу не нашел вообще никто,

а в Томске средства к существованию получили 250 человек, остальные 4443 продолжали нуждаться в казенной и благотворительной помощи⁴¹.

Среди беженцев преобладали земледельцы и чернорабочие. Тех, кто знал ремесло, мог работать слесарем, плотником, кузнецом, печником, портным или сапожником, было ничтожно мало. Женщины заявляли о себе, большей частью, как о прислуге – лишь немногие могли наняться прачкой, швей или портнихой.

Цены же на труд устанавливал губернский комитет: весной, до покоса, мужчинам при полном довольствии полагалось платить не меньше 19-ти рублей, без питания и одежды – 12 рублей в месяц. Женский труд стоил на 4 рубля меньше. Летом, в страду, мужчинам, жившим за свой счет, гарантировали от 25 рублей и выше, на «хозяйственном содержании» должны были получать 18 рублей⁴².

Ну, а как оно было в действительности, знали сами беженцы да работодатели. Больше никто.

«Беженцы поначалу устремились в города, там было легче найти приют и заработки... Но города оказались неподготовлены, не смогли всех приютить. Горожане часто относились к беженцам подозрительно и недоверчиво. Говорили: куда они едут? Они несут нам горе, болезни, безумие. Не надо нам их!

И беженцев стали «распылять» по деревням, отправлять на сельскохозяйственные работы. Но работы в деревне не находилось, либо измученные, обессиленные беженцы... плохо с нею справлялись, навлекая упреки в тунеядстве. Так вырастала трагедия беженства, обращенная одной стороной к обездоленным, а другой – к населению, среди которых беженцы искали приют...»⁴³.

Трагедия беженства – это и поиск жилья. Найти тёплый угол, надёжный приют в переполненном городе удавалось не всем.

Острая «нехватка помещения» обнаружилась сразу, с первых же дней. За полтора месяца приема беженцев из-за «нежелания домовладельцев сдавать квартиры» удалось пристроить всего 220 человек. Меньше трети тех, кто остался в городе и не уехал в деревню. Остальные жили в теплушках и бараках.

В Мариинске, некоторых других городах министерство финансов решило сдать беженцам полупустые винные склады. Временно и с тем условием, что содержание казенных складов и примыкавших дворов возьмут на себя горожане. Отцы города, вздохнув, соглашались: пусть так, лишь бы расселить часть беженцев.

Опыт получил распространение. Под беженские бараки использовали заброшенные этапные здания: там, где раньше селили арестантов – грабителей, воров да прочих злодеев, разместили новых невольных жителей Сибири. Но чаще всего беженцам давали ветхое переселенческое жилье и бараки, принадлежавшие Округу путей сообщения.

В Томске поступили так же, попросили железнодорожников уступить ненужные им два барака, а рядом построили новые – со столовой, баней, сушилкой и прачечной.

Заведовал постройкой член городского комитета купец Желябо. А архитектор Федоровский возглавил комиссию по использованию для беженцев городских зданий. Усердно занимались нуждами беженцев купцы Родюков, Кухтерин, Голованов, архитектор Крячков, судовладелец Плотников. И полицмейстер Шеремет, который руководил расселением беженцев из теплушек.

Прикинули: приспособив городские Басандайские дачи, можно разместить там не меньше двух тысяч душ. Кто-то предложил поселить беженцев в фешенебельных гостиницах «Европа» и «Россия», другой высказался более решительно. Посоветовал отдать беженцам дома терпимости, предварительно выселив оттуда девиц.

За городом находился концлагерь для военнопленных. Можно обратиться к господам военным, сказал кто-то, пусть уступят в распоряжение комитета пару бараков. Жилье, нужно жилье – неважно, где и какое!

В конце концов, немного остыв, приняли здравое решение: разместить беженцев в старых военных казармах на Черепичной улице, приведя солдатское жилье в божеский вид. А в другом месте города, на пивзаводе Крюгера, отвести под бараки два-три пригодных здания – владелец не возражает.

Превратили в бараки амбар на усадьбе Квятковского, баню Фонштейна, дом Скороходова на Офицерской улице. Барак всё равно лучше теплушки, пусть там, во временном пристанище, *«спёртый воздух, убийственный запах, вообще тяжело, а некоторые живут там по две недели и больше»*⁴⁴.

Но крыша над головой есть, это главное.

Ведь «в маленьких теплушках ютятся сотни беженцев. Мрак. Духота. Теснота. Дети и старые не отделены от остальных. Открыть стенку вагона – остудить без того холодное помещение, а держать вагоны закрытыми невозможно. Вдобавок громадное большинство беженцев еле прикрыто лохмотьями, теплое платье имеется у немногих. Дети почти голые. Многие не имеют обуви.

И несмотря на это, они все-таки живут в теплушках: настолько потревожен их дух. Многие пытаются вернуться обратно или хотят уйти от невыносимо тяжелой жизни, отправившись в уезды. Тяга «в деревню» среди беженцев довольно значительная...»⁴⁵.

Полицмейстер грозитя, дамы из благотворительного комитета уговаривают, санитарный врач пугает. Да разве ж можно напугать человека, который видел смерть, испытал разорение, голод, брюшной тиф! Тем более, из города – от тех, кто устроился в бараках – приходят неутешительные вести.

«Беженцы, помещенные в пивоваренном заводе Крюгера, находятся в невозможных санитарных условиях. Помещения старые, сырые, холодные, тесные и темные, со стен течет, на полу сыро, воздух сырой, спертый, угарный. Среди беженцев много больных. Врачи указывают, что здесь люди умирают и падают в обморок, стоит стон и плач...»⁴⁶.

Да, смерть собирает среди беженцев богатую дань. Ежедневно, а может, ежечасно.

«У немецкой колонистки Штейнбрена, живущей в солдатских казармах, скончался от скарлатины ребенок. Она обратилась за помощью, чтобы купить гроб, а ей ответили, что нет ассигнаций... Вчера она обходила ближайшие к казарме дома и просила денег на похороны ребенка...»⁴⁷.

Всем тяжело – полякам, немцам, латышам, евреям. Всем гонимым судьбою, лишенным пристанища, куска хлеба, надежды.

Азохэн вэй, азохэн вэй! Чем провинились мы пред Тобой, скажи...

* * *

Помогать ближнему – важнейшая заповедь.

Когда кому-то плохо, можно ли оставаться безучастным, слышать спокойно плач? Нельзя стоять в стороне: надо давать людям одежду, кров, заработок. Делиться последним.

«По линии движения беженцев еврейские общества оказывают им первоначальную помощь бельем, платьем и пищей». И потом, по прибытию, стараются опекать и поддерживать, сколько возможно.

«К работе в еврейском комитете помощи жертвам войны привлечено до 150 человек. Работа распределена между отдельными секциями. Из числа прибывающих в Томск еврейских беженцев некоторые почти не владеют русским языком. Среди беженцев много ремесленников. Местным еврейским комитетом производится регистрация евреев-беженцев, минуя регистрационное бюро в бараках...»⁴⁸.

С первых же дней работы городского комитета помощи беженцев в него вошли Быховский и Бейлин. Обязанности казначея стал выполнять доверенный Торгового дома «Штоль и Шмидт» Познер. Кац вошел в хозяйственно-продовольственную, а Лефельд – в ревизионную секцию комитета. Представителем Татьянинского комитета стал г-н Сегал.

Купец Дондо занялся доставкой мяса на *«питательный пункт беженцев»*, купец Дистлер участвовал в их перевозке. Помогал беженцам врач Лурия.

«Многие месяцы на его «единоличном ведении» держался и сбор пожертвований, и их распределение в «далеких заброшенных селах Нарымского края и других пунктах, отрезанных во время весенних разливов от мира Б-жьего».

Переписка доктора Лурия составила целый «выселенческий архив» – сохранился ли он где-то хоть частично?..»⁴⁹.

К середине осени 1915 года Томск принял 1250 русских беженцев, 420 евреев, 234 поляков, а всего здесь нашли пристанище свыше 2 тысяч человек – не считая тех, кто оставался на станции.

Через полмесяца число беженцев перевалило за 3700, среди них было 454 еврея. Еще через полмесяца, к середине ноября, беженцев в Томске насчитывалось свыше 4200, а с теми, кто жил в вагонах, на полторы сотни больше. В декабре регистрационное бюро указывало в отчетах 4824 беженца, из них 1877 русских и 504 еврея – 139 семей.

К февралю следующего года томичами стали 579 еврейских беженцев, 190 семей, а к марту – 604 человека, 205 семей. И число их продолжало расти: еще через полгода, по данным на 1 сентября, в Томске проживало 677 евреев-беженцев, 221 семья⁵⁰.

В первую зиму на частных квартирах удалось разместить свыше 200 евреев. Оставшиеся продолжали жить в бараках, получая помощь от города и общины. Ежемесячные сборы в пользу евреев-беженцев достигали 2200 рублей. Община собирала одежду, снабжала медикаментами, помогала искать родственников.

«Значительно лучше организована помощь евреям, хотя она оказывается исключительно на средства местного еврейского общества, – признавали газеты. – еврейский комитет оборудовал интернаты – по Татарской улице, по Никольской в доме №31, в доме Ховсе по Иркутской улице, в еврейском училище на Воскресенской улице. Часть беженцев живет на Степановке и в подвале Солдатской синагоги, некоторые работают на мельнице Фуксмана.

Правда, не все помещения, снятые комитетом, удовлетворительны. Но везде соблюдается чистота, стол вполне приличен... В деле помощи евреям-беженцам принимает участие значительная часть еврейского общества. Установлены дежурства учащейся молодежи и дам-благотворительниц. А в недалеком будущем еврейский комитет предполагает открыть для евреев-беженцев общую мастерскую, где будут преподаваться различные ремесла, сапожную на кооперативных началах, чулочную, белошвейную и так далее. Возможно, будет открыта школа для детей беженцев...⁵¹.

Почти всё из этой программы было выполнено: мастерские работали, беженцы обучались ремеслу, находили постоянный заработок. Но число их росло, средств еврейского комитета уже не хватало.

Тогда, посоветовавшись, решили обратиться в городской комитет, дабы тот похлопотал о субсидии, полагавшейся всем, без исключения, беженцам в равной мере. Ведь многие евреи, со своей стороны, жертвовали в общую копилку, не думая об адресной помощи: купец Фуксман, присяжный поверенный Бейлин, промышленник Перельман и другие.

На первых порах кое-что от субсидии, которую давала казна, действительно перепадало еврейскому комитету. Потом помощь оскудела – не без участия городского комитета, где раздавались возмущенные голоса: почему это, скажите на милость, еврейские беженцы находятся в лучших условиях?

Надо ли помогать евреям, если продовольственное пособие у них почти вдвое превышает пособие, получаемое остальными беженцами.

Но никто не вспоминал, что, к примеру, православное духовенство, проводившее работу среди беженцев, получало денежную поддержку от казны. Представители других конфессий такой привилегии были лишены...

К середине 1916 года в губернском центре поселились без малого 4 тысячи беженцев. Из них русских 1516, поляков 1235, евреев 667, литовцев 277, латышей 255 и 36 цыган. Третья часть беженцев – дети. Всего же в Томской губернии к этому сроку осели 32 тысячи беженцев – евреев среди них было 890 человек⁵².

В ту пору еврейский комитет, по официальным данным, оказывал помощь 643-м беженцам-томичам. Не оставались без поддержки евреи в уездах. Но пособие от государства уже мало ощущалась.

В мае 1916 года томичи направили правительству жалобу, где указали: *«задержка с рассмотрением смет национальных обществ и оказанием помощи беженцам»* пагубно сказывается на их благополучии. Смету урезали по всем статьям: продовольствие, квартирное пособие, врачебная помощь.

Решив, что помощь беженцам можно сворачивать, правительство сокращало расходы. Губернатор Дудинский был вынужден опять посылать в Петроград телеграммы:

«Отсутствие кредита для удовлетворения нужд беженцев ставит меня в крайне затруднительное положение. Некоторые беженцы, особенно нетрудоспособные, не получив пособие за июнь и июль, испытывают большую нужду, являются ко мне с просьбами оказать немедленную помощь...»⁵³.

Но ходатайство о переводе дополнительных, по смете, 215-ти тысяч рублей оставалось без рассмотрения. Денег по-прежнему не хватало.

Еврейский комитет, испрашивая на три месяца 19309 рублей, получил от губернского комитета 10680 рублей. Литовцам вместо 13 тысяч дали 8,7 тысяч рублей. Латышам предоставили втрое меньше от сметы: просили 17 – получили 5 с лишним тысяч. Всего ж по губернии национальные комитеты получили 80 тысяч, вдвое меньше от потребности в субсидии, которая составляла 158 тысяч рублей.

В пояснительной записке к смете расходов еврейского комитета говорилось: из 643 опекаемых беженцев 508 получают продовольственную помощь постоянно, изо дня в день. Большинство из них работать не могут – старики, дети, инвалиды, матери с малышами.

Но помощь со стороны губернского комитета всё сокращается: на квартирное довольствие еврейское общество вместо 3345 рублей получило 2580, на врачебно-санитарную помощь дали 127 рублей, а в смете было заложено 1350 на три месяца. Статья расходов «призрение детей» была вычеркнута, как и другая, «культурно-просветительные мероприятия». На трудовую по-

мощь, испрашивая 1870 рублей, еврейский комитет тоже не получил ни копейки⁵⁴.

Все недоумевали: что прикажите делать, как жить?

Да и те, вдвое урезанные цифры, правительственные службы не одобрили. Кредитная комиссия министерства финансов, утверждая сметы расходов, вычеркнула сумму дотации, полагавшуюся томским евреям-беженцам, и вписало свою – 8595 рублей. Получалось, еврейскому комитету было ассигновано в два с половиной раза меньше требуемого.

Ну, и не только ему.

Телеграммой от 11 августа 1916 года томскому губернатору сообщили: *«общий уровень кредитов на содержание беженцев будет подвергнут сокращению»*. Тратить значительные суммы на беженцев правительство категорически отказывалось: губернаторов уведомили, что помощь от казны будет сокращена ровно вдвое.

Такое решение приняло Особое совещание по делам беженцев при МВД под председательством Энгельгардта. Томичи схватились за голову: беженцев обрекали на полуголодное существование, а то и верную смерть.

«Томский городской комитет признавал, что сокращение числа беженцев, нуждающихся в продовольственном и квартирном пайке до 50 процентов, создает безвыходное положение». Об увеличении нормы ассигнований ходатайствовал губернский комитет, приводя новые убедительные доводы.

В Томской губернии, говорили, «отхожих промыслов, где беженцы могли бы получить постоянную работу, нет. Они работают, в основном, поденно или как прислуга у частных лиц, а учесть случайный, временный заработок сложно. Число семей беженцев, имеющих возможность содержать свои семьи личным трудом, не более 20-25 процентов. Остальные – старики, дети, нетрудоспособные люди, которые без правительственной помощи обойтись не могут...»⁵⁵.

А не имея заработка, при такой *«крайней дороговизне»*, люди начнут попросту умирать: неужели не ясно!

Ясно... Только никого это в правительстве по-настоящему не волновало.

Война продолжалась. Бездарная война, жестокая кровопролитная бойня продолжалась – и стоила колоссальных средств. Тут не до беженцев, которых она порождала.

Они что ж, далеко от фронтальной полосы: не слышат свист пуль, разрыва снарядов. Выехали в Сибирь – и пусть живут себе потихоньку, не докучая просьбами. Как-нибудь выживут.

Ну, а нет – на то она и война. Без жертв не бывает...



ПОРТРЕТ ВРАЧА: ШТАМОВ

Среди прочих томских врачей он если и выделялся, так разве что особенной статью. Рослый, плечистый здоровяк в белом халате всем своим видом походил, скорей, на циркового артиста, нежели на доктора. Чрезвычайно подвижный, с неизменной улыбкой на устах и румянцем во всю щеку – ни дать ни взять «полнокровный жизнелюбец», по меткому выражению кого-то из классиков.

Ну, а во всем остальном – врач как врач, каких тогда, в канун социальных бурь и потрясений практиковало в Томске великое множество.

Пройдет несколько лет – Яков Захарович превратится в солидного советского служащего. Жизнелюбие останется при нем и румянец никуда не исчезнет, только шутить по этому поводу никому не придет и в голову. Молодецкий облик отныне ничего кроме почтительности внушать окружающим не будет. Ответственные товарищи, облеченные властью, чиновники советского аппарата, руководители предприятий станут добиваться его благорасположения, как особой милости.

Имя его узнает вся Сибирь: доктор Штамов, а институт, который он основал, иначе как «Штамовским», никто не назовет. Долгое официальное наименование «фабрики здоровья» не прижилось, а вот «штамовское» заведение знает каждый томич.

Всего несколько лет – и невероятная перемена. Откуда такой стремительный взлет? С чего бы, казалось?

Никому не ведомый врач, без имени и связей, создаёт уникальное в Сибири медицинское учреждение и оснащает его, невзирая на разруху, «по последнему слову». Институт курортологии и физиотерапии появился ни где-то в теплых краях, а в местах, куда три века подряд ссылали злостных преступников. И никому это не кажется странным! Убежденность доктора Штамова сметает недоверие, как бушующие волны ветхие береговые строения.

Его напор не знает преград. Он умен, обаятелен, энергичен. Ему верят, с ним соглашаются. Ему предоставляют полномочия.

Скажете: что с того? На то и бурное время, чтоб рождать «новых героев», смело экспериментировать, осуществлять неслыханные идеи. Да, никто не спорит. Только делать сказку былью доверяли не всем – лишь «идейно зрелым» с партбилетом в кармане, а Яков Штамов заветного билета отродясь не имел. Как был беспартийным, так и оставался им на руководящем посту долгие годы.

Да умудрился в неблагонадежном сём качестве первым в Сибири получить высшую тогда правительственную награду – орден Трудового Красного Знамени, с орденской книжкой, подписанной «всероссийским старостой». Уж одно это говорит о незаурядности доктора Штамова, высвечивая даже не

столько его роль в развитии сибирского здравоохранения – впрямь, очень весомую, а именно масштаб, колоритность фигуры.

Рассказывают, будто еще до революции доктор Штамов заставил говорить о себе экстравагантным поведением. Но ни один из сюжетов того городского фольклора не сохранился, а старожилов, кто помнил, увы, не осталось. Так что рассуждать о смутных отголосках старых событий нет оснований. Хотя сами слухи, скорее всего, не беспочвенны: уж слишком заметным человеком был Штамов.

Да и след оставил заметный: два института курортологии – Томский и Иркутский, несколько хорошо обустроенных курортов. Сибирская научная школа физиотерапии, множество учеников, последователей. И бесценный опыт восстановления здоровья в сибирских условиях, пригодившийся позже, в военные сороковые, когда Штамова уж не было в живых.

* * *

Начало двадцатых.

Разруха, эпидемии, недостаток продовольствия.

Одна диктатура сменила другую: белый террор становится отчетливо красным. Жизнь человеческая и раньше ничего вроде не стоила, и теперь ее ценность не особо велика, но сохранность здоровья провозглашена все же задачей государственной важности.

В Томске, где существует крупная медицинская база, действуют госпитали. Раненые красноармейцы проходят лечение в относительно неплохих условиях. Третий нервно-хирургический военный госпиталь, к примеру, занимал «*обширные помещения*» и располагал собственной электростанцией.

Здесь вели консультации ученые-медики из университета, а бывшие слушательницы Высших женских курсов на правах сестер милосердия ухаживали за солдатами, помогая оправиться от ран. Лечение воинов, однако, близилось к концу, а хозяйство госпиталя приходило в упадок, что волновало, кажется, одних лишь врачей. Властям было не до того.

Присутствовал ли кто из томичей на первом Всесибирском съезде губздравотделов, проходившем в Омске, не известно, но идеи, которые обсуждались там, нашли одобрение. Участники съезда еще тогда, в 1920 году, говорили о необходимости развития физико-терапевтического лечения, называли города, где уровень медицины позволял это сделать: Омск, Томск, Иркутск.

Подобная мысль прозвучала также на первом Сибирском съезде психиатров и невропатологов. Прозвучала – и отложилась «на потом»: разговоры разговорами, а осилить такую задачу в условиях разрухи, все понимали, было немислимо.

Так и вышло: никто не осилил. Кроме Штамова.

Усилиями Якова Захаровича в Третьем военном госпитале Томска открывается физиотерапевтический кабинет: губздравотдел и эвакуопункт дают

разрешение *«при условии обслуживания там и красноармейцев, и гражданских больных»*¹.

В августе 1921 года военный госпиталь становится гражданским, переходит в подчинение губернских властей. Но Штамову, который *«сумел довольно быстро привести в порядок крайне запущенное помещение и направить лечебную и хозяйственную деятельность по правильному руслу»*², этого мало.

Он постепенно меняет профиль нервно-хирургической больницы. Налагивает стационарное и амбулаторное лечение. Возрождает научные исследования, развивает хозяйство.

Как это делает, на какие средства, трудно сказать. Денег не хватало, зато была возможность с выгодой использовать решительную – не всегда последовательную и не слишком гуманную – политику *«товарищей в кожаных куртках»*. У врачей, практиковавших на дому, приказом губисполкома реквизируют превосходную, лучшую в городе физиоаппаратуру. Она попадает к Штамову, бывшему частному же врачу.

Цель оправдывает средства.

Правдами и неправдами он добивается того, что в марте 1922 года приказом Сибздравицы укрепший госпиталь получает статус областного физиотерапевтического института. И в том же году институт переводят в ведение Сибирского курортного управления.

С этого времени начинается расцвет Штамовской *«фабрики здоровья»*.

Институт изучает сибирские курорты – точнее, дает ученым возможность продолжить научные исследования. Привлекает профессоров Курлова, Яблокова, Нестерова, Ломовицкого. *«Отец сибирской бальнеологии»* Курлов, основатель сибирской школы терапевтов и бывший председатель Комиссии по обследованию курортов Сибири, становится научным руководителем института.

К той поре относится известная его работа, где *«предложена оригинальная классификация минеральных вод, позволившая в наглядной форме выразить состав любой минеральной воды...»*³.

Благодаря неутомимой энергии доктора Штамова институт выпускает научные сборники, проводит врачебные конференции. На лечение едут туда из других городов, количество коек в стационаре растет, а озеро Шира, где идет благоустройство, томичи превращают ни много ни мало в летнюю резиденцию Физиотерапевтического института.

Самому институту в старом здании становится тесно, остро не хватает площадей. Как быть? Строить новое – невозможно помыслить, перебираться некуда.

У другого опустились бы руки, но не таков был Яков Захарович Штамов. Пользуясь покровительством комиссаров, беспартийный директор на-

ступает на частный капитал снова и снова: расширяя институт, занимает соседние здания, находящиеся в частном владении. Бывшую гостиницу, несколько магазинов, дом бывшей Мещанской управы.

Теперь институтский комплекс в центре города тянется на протяжении целого квартала, но Штамову мало. На соседнем квартале он берёт для институтских нужд еще два двухэтажных деревянных здания: всё равно, дескать, обречены на экспроприацию.

Теперь Штамовский институт – громадное хозяйство: шесть лечебных корпусов, столовая, пекарня, прачечная. Электростанция и гаражи. Склады и котельная. Столярная, слесарная и пошивочная мастерские. Есть свой водопровод, действуют электровентильаторы. В прачечной – две центрифуги и три большие стиральные машины. Кухня оборудована гидравлическим подъемником для подачи пищи. Палаты и столовая *«отделаны и обставлены изящно и комфортабельно»*⁴.

Ничего похожего в ту смутную пору ни одно лечебное заведение бедноватого города не имело – кроме старейшей в Сибири университетской клиники, где совершенствовал когда-то мастерство доктор Штамов. В институтском гараже стоят две полуторки, в институтской конюшне отдыхают полтора десятка лошадей. Питание для больных обходилось дороговато – Штамов открывает за городом ферму, берет 670 гектаров пригородной земли для пахоты, сенокоса, выпаса.

В считанные годы институтская «усадьба» становится крупнейшей в городе, там содержат 85 коров, десятки лошадей, больше сотни свиней, без малого полторы сотни овец.

Реквизированных терапевтических приборов не хватает – Штамов выписывает из-за рубежа *«ряд ценных и редких предметов медицинского оборудования»*⁵. Они обходятся «в копейку», много не купишь, да ведь и незачем: в Томске свои Левши, которые, дай чертежи, изготовят не хуже. Другому подобная мысль в тех диких условиях не пришла бы и в голову – Штамову никакая задумка не кажется дерзкой.

В своих мастерских он начинает выпускать физиотерапевтические, рентгеновские аппараты и снабжает ими профильные учреждения всей Западной Сибири. Совершает полезное дело, получая максимальную выгоду: нормальный подход.

По оснащению институт его не имеет равных среди периферийных физиотерапевтических центров страны. Больные получают здесь комплекс передовых по тому времени медицинских услуг: мототерапия, грязелечение, фото- и термотерапия, рентгенологическое и гидротерапевтическое лечение.

Лечебную грязь привозят из Красноярского края, со знаменитого озера Учум. Консультации ведут лучшие специалисты, включая гинеколога и дантиста. Купив соли радия, институт открывает первое в Сибири онкологическое отделение, ставшее филиалом столичного института. Кто еще, кроме Штамова, мог замахнуться на лечение страшных раковых опухолей?

Штамов лечит красноармейцев, лечит железнодорожников, шахтеров Кузбасса, совслужащих. К нему ложатся поправить драгоценное здоровье директора предприятий, профессора – «красная элита» Томска, ведь таких райских условий не обеспечит в округе никто. Отменное диетическое питание. Мягкая мебель, антиквариат, пальмы – дань моде. Неплохая библиотека. Кинозал, где кто-то из местных светил читает публичную лекцию.

Ковры, картины, аквариумы. Радиоточка у каждой постели: продумано всё до мелочей.

Ну, и квалифицированный персонал: врачей, сестер, технических работников подбирал сам доктор Штамов – отдыхать у него, набираться сил, лечиться считалось престижно и полезно.

Конечно, он дорожил благорасположением властей, использовал связи – тут нет ничего удивительного. Интересно другое: как томский доктор заставил говорить о себе московских «небожителей», в кабинетах которых чувствовал себя столь же непринужденно, как в собственном.

Он хорошо понимал, беспартийный Штамов, как вести себя с красными вождями. Он умел ждать. Умел показать себя и извлечь выгоду из любых обстоятельств.

* * *

Летом 1925 года, совершая поездку по здравницам рабоче-крестьянской республики, нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко отправляется в Сибирь.

Почему сподвижник Ленина, в прошлом опытный врач, едет туда, куда препровождали в ссылку его товарищей по партии? Непонятно. Между тем Семашко посещает курорт Карачи, расположенный недалеко от Татарска в Барабинской степи, где с давних пор лечились сульфидной иловой грязью и минеральной водой. Курорт далеко, в сотнях верст от Томска – другое дело Омск, где тоже собирались развивать физиолечение, до него рукой подать.

И все же исследуют и обустривают Карачи томичи, Штамовский институт.

«Курорт резко изменился, стал неузнаваем, - делится впечатлением нарком, - крупная затрата на него – 500 тысяч рублей со стороны страховых органов – имела свои результаты...»⁶.

Штамов поднял на ноги и захудалый курорт Шира, превратив его в одну из лучших лечебниц Сибири. Тем не менее, из каких-то своих соображений он везет народного комиссара не туда, и не на Алтай, в известную целебными грязями Белокуруху, другую свою вотчину, а в Карачи. Его коллеги недоумевают, но вопросов не задают: Штамов всегда всё решает сам.

По величине авторитета ему мало равных.

Его знают, как *«преданного работника-интеллекта»*⁷: такую характеристику через полгода после создания института Штамову дал председатель Сибирского ВЦСПС тов. Фигатнер. Она прозвучала на съезде профсоюзов Томской губернии в августе двадцать второго, а в октябре то же самое отметил глава Сибревкома тов. Лашевич.

Он поддержал предложение съезда наградить Штамова орденом Трудового Красного Знамени, направил во ВЦИК письмо, где указал:

«Идея организации физиотерапевтического института получила воплощение благодаря исключительной энергии, колоссальной работоспособности и настойчивости доктора Штамова», и что «он создал клиническую больницу, которой может гордиться Сибирь...»⁸.

Штамову дали академический паек. Из фонда Сибревкома ему ассигнуют 100 тысяч рублей – огромные деньги: половину в качестве награды, половину, 50 тысяч, для поощрения служащих института.

Через год первым в Сибири Яков Захарович получает высочайшую советскую награду, а спустя время вся сибирская общественность отмечает пятилетие Штамовского института. Газеты трубят о «фабрике здоровья». Приводят цифры: число процедур, койко-дней, научных трудов. Наперебой хвалят Штамова. Ставят его детище в один ряд с *«учреждениями такого типа нашей столицы и южных курортов»*⁹.

Сам Вегман, работавший на высших административных должностях Западно-Сибирского края, отдает должное незаурядным способностям Штамова, который сумел *«преодолеть и превозмочь все стоящие на пути препятствия и довести затеянное до конца»*¹⁰.

Итог преодоления выше всяких похвал: попасть на лечение к Штамову чудовищно трудно.

«Что бы в институте не случилось – перебои с деньгами, снабжением и т.д., – больные никогда этого не знают и не чувствуют, – поясняет «Советская Сибирь». – Об этом подумает Штамов, он всё устроит, всё урегулирует. Больные всегда окружены здесь вниманием, заботой и уютом...»¹¹.

Здесь лечат неврозы, заболевания периферийной нервной системы. Радикулиты, заболевания спинного и головного мозга, желез внутренней секреции, атеросклероз сосудов, последствия травм. Лечат через страховые кассы, по профсоюзным путевкам, даже на платной основе. Лечат, как положено, большей частью рабочих и крестьян, хотя молва утверждает обратное.

Разговоры об избранности больных выводят Штамова из себя. Он негодует.

«Часто можно слышать, что лечиться стационарно в институте могут только ответственные работники и их жены, - говорит он, и убедительно опровергает «праздную болтовню досужих кумушек...»¹².

Еще яростнее защищает репутацию института на первом Сибирском съезде врачей.

«Смею уверить, у нас «толстобрюхие» не лечатся... Наш институт – единственный от Урала до Владивостока, количество желающих попасть на лечение – тысячи, а удается попасть не более половине. Вот некоторые из них и распространяют подобного рода легенды...»¹³.

Штамов умеет убедить. Но умеет, когда надо, слукавить, ведь институт, что греха таить, и впрямь привечает «толстобрюхих».

Начиная работать, можно сказать, на коммерческой основе, Штамов добивается бюджетных дотаций. Когда это произошло, в 1926 году, лишь три физиотерапевтических института в стране по распоряжению наркома финансов получили государственную поддержку – в Москве, Севастополе и Томске. Бюджетные ассигнования, правда, идут на научные работы, содержать лечебную базу приходится самим.

Но уже в будущем году на обследование и обустройство курортов Сибири государство предоставляет томичам около 300 тысяч рублей. Новую физиотерапевтическую аппаратуру Штамов, опять же по благоволению вождей, получает из Великобритании – её доставляют корабли Карской научной экспедиции. По некоторым видам приборов томский институт теперь держит пальму первенства в стране.

Но расходы растут, Штамов ищет и благополучно находит новые источники финансирования. В условиях жесткого государственного регулирования он проявляет чудеса коммерческой изворотливости – чему все необычайно рады: больные, персонал, отцы города, у которых Штамов арендует институтские здания.

Судьба покровительствует директору института, уберегает его от напастей. Хранит от беды, но... До поры до времени.

Умный Яков Захарович хорошо это знает. Он это чувствует.

* * *

Репутация «*преданного работника*» помогает уберечься от неумолимых чисток лучше всяких анкетных данных. Да и в биографии пятен нет. Следы бурной, с чудачествами, молодости, кою приписывала Штамову злоязычная молва, ни в одном документе не найдешь. Там всё кратко, внушительно, благонадежно.

Родился в семье бийского мещанина Схария Мееровича Штамова. Отец рано умер, заботы о детях легли на плечи матери Гинды Яковлевны. Она сделала всё, чтобы дать им образование, «вывести в люди»: Яков вспоминал о ней с нежностью, тепло относился к сестрам – Сарре, Хае и Гуте. Когда не стало отца, семья переехала в Семипалатинск, где жили родственники.

Закончив с серебряной медалью Семипалатинскую мужскую гимназию, в том же 1905 году Яков подает прошение о зачислении «в число студентов» медфака Императорского университета города Томска. Через год поступает, учится на врача, а еще через три года заводит свою семью, женится на слушательнице Юрьевского университета благовоспитанной Лии Вениаминовне Кругляковской, которая младше его на пять лет. У них родилась дочь Бэлла.

Всё вроде складывается благополучно. Немного портит жизнь не в меру ретивое военное начальство, приписавшее Янкеля Схаровича Штамова «как зауряд-врача в ратники ополчения первого разряда»¹⁴. Но произошло это, к счастью, задолго до войны, в 1911 году.

После окончания университета, получив диплом лекаря «со всеми правами и преимуществами», 28-летний Штамов идет работать в нервно-психиатрическую клинику университета, набирается опыта. Его сестра Хая тоже становится врачом: заканчивает курсы известного в Томске зубо-врачебного заведения Каменецкого, учится у лучшего дантиста Левитина.

Потом «подвергается испытанию» на звание зубного врача в медицинском факультете Томского университета, успешно выдерживает экзамены и заводит свое зубо-врачебное дело, сменив при этом имя. Как Янкель становится почтенным Яковым, так и она именуется отныне Глафирой¹⁵.

О судьбе её и других сестер ничего не известно – архивный след тут теряется. Зато сохранилось упоминание о Лии Вениаминовне, которая уже в советское время проработала несколько лет «ординатором по вольному найму при кожно-венерическом отделении университетской клиники»¹⁶...

Полвека спустя ее, живущую в Москве вместе с дочерью, которая тоже стала врачом, отыщет Зинаида Дмитриевна Сапожникова, сотрудница «Штамовского» физиотерапевтического института. Переписка вышла недолгой, во всяком случае, сохранилось лишь несколько писем, из которых мало что можно узнать.

Лия Вениаминовна жаловалась на хвори, в ее 85-летнем возрасте вполне объяснимые, с теплотой отзывалась о Томске, где прошла молодость. Писала, что «живет воспоминаниями», однако подробностей избегала и скупно отзывалась о Якове Захаровиче, называя его «юным мечтателем». Тогда, в середине семидесятых, упоминания о невинно пострадавших, пусть даже «преданных» и знаменитых, не очень-то поощрялись.

Да, в сущности, она и не знала, почему и как пострадал муж. Вся эта тяжелая, нелепая история потрясла ее настолько, что ощущение растерянности сохранилось на всю жизнь. Словно бы и теперь, спустя годы, до конца не верила, что такое возможно, постоянно задавая себе проклятый вопрос: почему?

Как это могло случиться: клевета, донос, ошибка? Чья тут вина?

Судя по всему, не очень понимала она и того, отчего в 1930 году Яков Захарович бросил преуспевающий институт, заставил семью перебраться в Иркутск, начав работу заново. И почему, оставаясь единственным в городе

беспартийным руководителем, Штамов потом, незадолго до ареста, подает заявление о вступлении в партию? Чувствовал угрозу?

Но что, казалось бы, опасаться ему, знаменитому Штамову? Неужели у него имелись враги – у него, пред кем трепетали, кого уважали, которого знала вся Сибирь?

К тридцатому году слава крупнейшего, лучшего в Сибири института подобного профиля ничуть не увяла. Но что характерно: среди без малого трехсот человек, составлявших персонал института, коммунистов почти не было. Партийная ячейка огромного учреждения включала всего восемь человек, что не нравилось, в первую очередь, самим коммунистам.

«Наш институт представляет собой довольно своеобразное явление, - говорил секретарь партбюро Вейль. – Мы имеем, с одной стороны, крупного организатора в лице товарища Штамова, большое количество чуждого советской власти элемента, а с другой стороны – очень малочисленную, слабую партячейку и местком, не имеющий ярко выраженного лица».

И дальше: «Принципиальная установка ячейки была поддерживать доктора Штамова в работе. Но надо отметить... недопустимое поведение доктора Штамова по поводу самокритики, его сопротивление по вопросу укомплектования института коммунистами...»¹⁷.

Штамов действительно властно укреплял единоначалие. Не терпел пустословия, гнал от себя бездарей, что мало вязалось с его обликом большого безобидного ребенка, угадываемого из писем Лии Вениаминовны. Этого-то «деспотизма» и не могли ему простить.

Он долго, много лет, ограждал институт от характерного для того времени состояния видимости работы, когда бесконечные праздные разговоры о деле подменяли само дело, становились едва ли не самоцелью.

И это тоже не нравилось тем, кто просиживал полдня на собраниях:

«До создания партячейки институт жил замкнуто, жизнь текла мимо него, мы всколыхнули массу...»¹⁸.

То есть, читай, заразили персонал неповиновением, «пробили брешь в единоначалии Штамова»¹⁹.

Кроме товарища Вейля усердствовал в этом направлении помощник директора института Поспелов, писавший доносы в прокуратуру на «неблагонадежных» работников, «свору тоскующих по прошлому», которых подбирал Штамов. Ну, а сама «всколыхнутая масса», притихнув, выжидала, чем кончится это странное противоборство. Хотя исход был предreshен.

Весной тридцатого года Штамов покидает Томск навсегда.

По инерции какое-то время институт существует вроде неплохо, но развал ведь всегда стремительнее прогресса. Начались проблемы с транспортом, продуктами питания. Что произошло на самом деле, мало кто знал, но догадаться, отчего Штамов покинул родной институт, было несложно.

Пошли слухи. Дабы пресечь их, в конце мая 1930 года секретарь партбюро Вейль и председатель профкома Петровский проводят институтское собрание, называя беспорядки *«результатом Штамовского режима»*.

Явная ложь вызывает возмущение.

«Персонал и врачи считают, что с уходом Штамова в институте стало хуже, – говорят на собрании. – Штамов умел держать в руках работников, и всё было хорошо, а сейчас стало плохо и новое руководство никуда не годится...»²⁰.

Требовалась большая смелость, чтоб заявить такое в глаза, но сторонников Штамова оказалось больше, чем думали те, кто его выживал.

Наступил раскол, упадок продолжился. Даже четыре года спустя, когда приказом Наркомздрава институт получил статус краевого, неурядицы изжить не удалось. Такого мощного развития, как при Штамове, институт не получит уж никогда.

* * *

Первые два года, переехав в Иркутск, Яков Захарович работал врачом.

Присматривается, укрепляется. Заводит новых знакомых. Ждет удобного случая, чтоб начать всё сначала.

Затем *«на базе бывшей Медведниковской больницы для хроников и так называемых Иркутских дач, находившихся в состоянии крайнего разрушения и запустения»*²¹ создает новое лечебное заведение, перенеся туда прежние, томские порядки и заботу о людях.

«Чуткое, человеческое отношение к больному», которого «лечат все, от швейцара и повара до врача и профессора», становится непреложным правилом Восточносибирского краевого физиотерапевтического института.

Еще через два года хлопотами Штамова институт обзаводится санаторной базой. Во владение ему дают известную здравницу на берегу Ангары, курорт Усолье, который славится соляно-серными водами и лечебными грязями.

На улучшение санатория курорт получает крупную сумму, 413 тысяч рублей, а затем, в 1935 году, в сосновом бору у реки Куды, в пятидесяти километрах от Иркутска, Штамов организует новый, Жердовский санаторий. В поселке Жердовка строит лечебную базу, оснащает медицинским оборудованием. Из Баргузинской тайги туда едут лечиться работники золотых приисков Бодайбо и Алдан.

Яков Захарович снова на виду, весь в делах и заботах. Подбирает кадры, строит, достает. Едет в командировки, выбивает деньги.

Медицинское его хозяйство растет и крепнет, но он недоволен. Будто чувствуя, что времени отпущено уж немного, пятидесятилетний Штамов

трудится, не жалея себя, чтоб успеть сделать больше, чтоб за работой не думать о неизбежном.

Ведь он видел, что происходит – умный, тёртый «жизнелюбец». Такие люди были обречены: государство сметало их, как пыль дуновением ветра. Один за другим исчезали наиболее толковые, знающие, добросовестные.

В августе тридцать седьмого настал черед Штамова.

Его арестовали, как участника несуществующей троцкистской организации. Как шпиона, проводившего «диверсионно-вредительскую деятельность».

При обыске изъяли военный билет, орденскую книжку и шесть папок с институтскими бумагами. По всей вероятности, то был не первый арест: в анкете НКВД сказано, что в 1932 году он был исключен из числа кандидатов ВКП(б) в связи с арестом. Но благодаря чему – или кому? – тогда уцелел, не известно.

Лия Вениаминовна работала в Иркутском медицинском институте, заведовала кафедрой кожно-венерологических болезней. О муже с той поры, как увез его «черный ворон», ничего не знала.

Два года жила надеждой, пыталась добиться известий. Потом ей сообщили о смерти мужа.

«Мои хождения по начальству, мои мольбы о выдаче умершего, чтоб похоронить его и хотя б иногда приходиться погоревать на могилу, ни к чему не привели, – вспоминала она в письме томичам. – «Ваш муж умер», – всё, чем от меня отделались...».

Остаться в Иркутске было невыносимо, она с дочерью едет в Москву, но многие из родственников Якова Захаровича продолжают жить в Сибири – в Томске, Сталинске, где-то еще. О смерти Штамова они знают не больше, но считают, что произошла она из-за большого потрясения.

Когда карательные органы возглавил Берия, кое-кого он выпустил из заключения, демонстрируя преступную деятельность предшественника Ежова, арестованного как враг народа. Вот Штамов будто бы и попал в эту волну, но сердце не выдержало радостной вести. Остановилось...

Как было на самом деле, стадо известно лишь полвека спустя: в ночь на 28 декабря 1939 года, находясь под следствием, Штамов покончил с собой, повесившись в камере. Через две недели, 9 января, был похоронен на Маратовском кладбище Иркутска²².

Реабилитирован через двадцать лет после ареста. За отсутствием состава преступления...



ПОРТРЕТ САТИРИКА: ФРЕНКЕЛЬ

Вряд ли кто из томичей в десятые годы прошлого века внимательно следил за «толстыми» и еженедельными изданиями. Хотя бы потому, что их тогда было, несмотря на цензуру, невероятно много: политических, литературных, торгово-промышленных, сатирических – всяких.

Вот и профессор Багаевский – человек, безусловно, солидный и занятый, не имел времени, а может, и желания интересоваться печатными новинками. Иначе обратил бы внимание на журнал «Сатирикон», которым зачитывался весь Петербург и в котором сотрудничал один из его бывших студентов.

Хотя узнать фамилию студента Петр Михайлович всё равно бы не смог: почти все сатириконовцы выступали под псевдонимом – Тэффи, Азов, Дон Аминадо, Д'Ор, Иван Прутков, Лидия Лесная, Лою, Дымов, Пустынин. Разгадать, что блистательный Д'Актиль, чьи стихотворения цитировала вся Россия, и есть тот молодой человек, который постигал у профессора государственное право, было действительно мудрено.

Да и постигал, по совести говоря, не слишком-то ревностно – в любимых учениках, уж точно, не ходил. Был смешлив, подвижен, остроумен, как подобает ветреному студенту, и склонностей к наукам, тем более серьёзным, таким как юриспруденция, не обнаруживал. Разве ж такого запомнишь? Тем более, прозанимался он в Томске всего ничего – один семестр.

Потом, упаковав чемодан, выехал в Петербург и не возвращался уж никогда. Так что слава бывшего студента юридического факультета Императорского Томского университета Анатолия Френкеля осталась неведомой профессору Багаевскому. Как, впрочем, и многим другим томичам.

Зато знаменитого сатирика знала, любила и с удовольствием цитировала вся просвещенная публика живой, кипящей столицы: «Д'Актиль сказал... Д'Актиль заметил...».

Безумству трех кровавых лет,
Что мы блуждали без дороги,
Уньло подвели итоги
Обозреватели газет:
«Да, да, мы знаем: были беды!
Но близок час, но тщетен страх...».
Ах, им-то с перьями в руках
Легко сражаться до победы!¹

Что говорить, успех «Сатирикона» был поистине ошеломителен.

«Уже само название нового журнала, напоминавшее читателям о романе Гая Петрония Арбитра, указывало, что положение дел в России весьма плачевно и столь же, ве-

роятно, губительно, как в Древнем Риме эпохи Нерона, самыми характерными чертами которой были продажность и развращенность, царившие как в привилегированных слоях... так и в низах...»².

Кто-то по этому поводу безутешно рыдал, предавался скорби, кто-то упражнялся в мятежной риторике, подкапывал основы самовластья и метал в губернаторов собственноручно изготовленные бомбы. А молодые талантливые люди, объединившиеся вокруг «Сатирикона», громко, заразительно смеялись. И заставляли смеяться читателя.

Смех оказался оружием посильнее, чем бомба.

Господь! Во все часы и дни
Не наказуй и не кляни,
И не взирай на нас сурово,
От рабства слова нас храни,
А паки – от свободы слова! -
- писал Д'Актиль³.

Уже «довольно скоро читатель почти всей России... просто не мог обходиться без рассказов Аркадия Аверченко и Осипа Дымова, сатир Саши Черного и Алексея Радакова, стихотворений и юморесок Надежды Тэффи, эпиграмм и пародий Александра Измайлова и Евгения Венского»⁴.

Да и без произведений Д'Актиля – его имя в блистательном ряду несколько не затерялось. Спустя годы сатирические произведения Д'Актиля, настоящее имя которого было известно одним литературоведам⁵, вошли в серьезные коллективные сборники и пухлые антологии.

Он успешно занимался переводами – авантюрный роман Лондона «Сердца трех» первым перевел на русский язык именно Френкель. Ему же принадлежала честь первому открыть русскому читателю знаменитую «Алису в стране чудес».

И все же настоящее признание Д'Актиль получил, как поэт-песенник.

Вряд ли сам он считал важнейшей эту сторону своего дарования. Просто песни, в отличие от сатиры, в большевистскую пору оказались более востребованы. И обеспечивали стабильный, вполне сносный заработок главе большого семейства. Но писать «лишь бы как» Френкель не мог – в любое дело, чем бы ни занимался, вкладывал душу.

Потому-то его песни обрели неслыханную популярность: они звучали со сцены и в кинофильмах, их распевали артисты эстрады. Песни Френкеля пела с экрана Любовь Орлова, их исполнял Леонид Утесов! Сам Исаак Дунаевский сотрудничал с ним, автором либретто, в подготовке оперетты «Дорога к счастью».

А в Москве, Риге, Харькове продолжали выходить сборники забавных, остроумных – теперь уже, правда, в меру сатирических – стихов, на обложке которых стоял знакомый миллионам читателей, псевдоним:

Д'АКТИЛЬ.

«Среднего роста, широкогрудый, с добрыми глазами, раскачивающейся походкой ходил он по комнате, нещадно дымя папиросой, и говорил. Говорил он замечательно. Слушать его доставляло большое удовольствие. Он много знал, много видел, был человеком огромнейшей эрудиции и блестящего остроумия...»⁶.

И это остроумие, надо заметить, не раз и не два могло привести его в Томск, откуда он выехал, под надзор местных властей, а то и того хуже, в колымские дали: храня верность демократическим убеждениям, Френкель не скрывал сложного отношения к революции.

Чего стоит хотя бы пародия на горьковскую «Песню о Буревестнике», которая сохранилась в рукописном альманахе Корнея Чуковского, в знаменитой его «Чукоккале».

«...Напророчил Буревестник несказанные события. Буря грянула сильнее и скорей, чем ожидалось. И в зигзагах белых молний, опалив до боли перья, притаился Буревестник, волоча по камням крылья: «Так и так, мол. Буревестник. Тот, который... Честь имею».

И сказали буйной птице: «Мы заслуги ваши ценим. Но ответьте на вопросы общепринятой анкеты: что вы делали, во-первых, до 17-го года?».

Вздыбил перья Буревестник и ответил гордо: «Реял».

«Во-вторых, в чем ваша вера? Изложите вкратце credo».

Покосился Буревестник: «Я предтеча вашей бури. Верю в то, что надо реять и звать к её раскатам».

«В третьих: ваша специальность? Что умеете вы делать?».

Покривился Буревестник и сказал: «Умею реять».

«Ну, а чем служить могли бы в обстоятельствах момента?».

И, смутившись, Буревестник прошептал: «Я реять мог бы!».

«Нет, - сказали буйной птице, – нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучреждение? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съездов потребительских коопов? Или в области культуры, согласились по районам инспектировать работу изб-читален и ликбезов? Или, в крайности, на курсах изучили счетоводство и пошли служить помбухом по десятому разряду?».

«Ах! – промолвил Буревестник. – я, по совести, не мастер на ликбезы и коопы, на торговые балансы и бухгалтерские книги... Если реять – я согласен!».

«Почесались на такие Буревестниковы речи – и свезли назавтра птицу без особого почета в помещение музея при «Архивах революций»: отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик:

«БУРЕВЕСТИК. ТОТ, КОТОРЫЙ...»⁷.

Да, такие шутки обошлись бы Д'Актилю дорого, оказаться на Лубянке легко было и за меньшие прегрешения, но судьба хранила его, уберегала от чисток и репрессий.

Не потому, что в ту пору он имел уже литературное имя, обрел известность, и не благодаря дружбе с маститыми литераторами, такими как Маяковский и Асеев. Причина, по всей вероятности, была в ином, она заключа-

лась в характере печатных выступлений Д'Актиля: сатирическое дарование одного из блистательных «сатириконцев» постепенно угасло. Его острое перо притупилось.

И хотя он продолжал сотрудничать в журнале «Бегемот», а ленинградская «Вечерняя красная газета» продолжала из номера в номер давать остроумные его фельетоны, до высот подлинной – разящей! – сатиры Анатолий Френкель подняться уже не мог.

А в последние годы поэтическая его лира зазвучала совершенно по-новому. Обрела трагическое звучание.

* * *

Воспоминаний о Д'Актиле сохранилось до обидного мало, а сам о себе писать он не любил. Кроме анкет почти ничего о своей, в общем-то, недолгой жизни «*насмешник с добрыми глазами*» не оставил.

Но когда редакция «Бегемота» настояла на том, чтоб подробнее представить читателю одного из популярных своих авторов, он – так уж и быть, дал короткую смешную автобиографию.

«Родился я в 1890 году. В Иркутске.

(Если в моих стихах есть каменная суровость, отнесите её, пожалуйста, за счёт необъятной тайги, ропота кедров и тяжелого белоснежного мороза!).

Начал я своё образование в Читинской гимназии...

(Если в моих стихах есть вольнолюбивая непокорность, прошу видеть здесь отражение неразгаданного Байкала, озера ясных глубин и таинственных бурь!).

В 1903 году я очутился в Нью-Йорке и четыре года учился в колледже.

(Если в моих стихах есть спокойное стремление ввысь, вспомните о сорокаэтажных небоскребах, купающих свои шпили в весенних облачках!).

В 1907 году я уже опять в Иркутске: в седьмом классе гимназии.

(Если в моих стихах... Впрочем, об Иркутске уже было)...».⁸

Собственно, ничего нового Френкель здесь не сказал: Иркутск, Чита, Нью-Йорк, следом Петербург. Маршрут детских и юношеских странствий, этапы писательского становления – всё это было известно из предисловия к авторским сборникам Д'Актиля. Подробности вновь остались за рамками скрашенного самоиронией высказывания.

А впрочем... можно ли постичь становление писателя?

Даже архивные документы, самые надежные, верные источники, не приблизят к пониманию того, как на литературном небосклоне появляется новая звезда, и что дает ей силу светить. Но всё-таки обратиться к документам стоит: прояснить детали, воссоздать картину ранней жизни сатирика и его семьи поможет личное дело студента Императорского Томского университета Анатолия Френкеля.

В июне 1909 года он подал прошение на имя ректора, профессора Сапожникова, где сообщил, что окончил курс наук в Иркутской губернской гимназии и желает «*поступить в число студентов первого курса вверенного Его превосходительству университета*»⁹.

К прошению были приложены аттестат зрелости, «*свидетельство о приписке к призывному пункту по отбыванию воинской повинности*», кондуктёрский список отца, помощника аптекаря Абрама Френкеля, и три фотографические карточки...

Что сказать об отце?

Судя по всему, старший Френкель был личностью незаурядной, но в своём роде, являя тип характера, который великолепно описал в автобиографии другой сатириконовец – Аркадий Аверченко. Своего отца, экспансивного неудачника, тот выписал со смешанным чувством любви и жалости – любясь его душевными порывами и жалея, что весь пыл кипучей натуры, уходит на сумасбродные идеи, на кропотливые труды, достигавшие обратного результата.

Ну, и жизнь аптекарского помощника Абрама Натановича Френкеля сложилась по-своему удивительно. Тоже куда-то всё порывался, замышлял свое дело, способное приносить солидный доход. Беспрестанно кочевал, переезжая из города в город, метался. Затем в возрасте сорока трех лет в одночасье скончался, осиротив четверых детей, младшему из которых едва исполнилось семь лет.

А мог бы, при своих-то способностях, достичь большего! В семнадцать лет, получив гимназическое образование, поступил учеником к Мадему, владельцу крупнейших аптек Петербурга и Кронштадта, что само по себе было непросто. Через три года сдал экзамены на звание аптекарского помощника – и ни где-нибудь, а в Императорской медико-хирургической академии.

Как, какими ветрами занесло неутомимого фармацевта в заснеженную Сибирь, не известно – соблазнил ли его необычайными рассказами знакомый аптекарь либо вычитал что-то многообещающее в газетах. Но, проработав три года помощником петербургского аптекаря Мюллера, он вместе с семьёй перебрался в Иркутск, где поступил в вольную аптеку купца Мальберга.

Да только лукавили газеты насчет райской жизни в Сибири: осуществить мечты на новом месте оказалось непросто. Лишь через четыре года, нажив кой-какой капитал, Абрам Натанович открыл наконец собственную аптеку – случилось это в феврале 1886 года, а в марте, спустя месяц, добровольно её лишился. Передал компаньону, аптекарскому помощнику Прейсману – человеку, очевидно, более практичному.

С той самой поры неудачи стали преследовать его постоянно.

Возобновить коммерцию уже не удалось – пометавшись несколько лет по Иркутску, он махнул рукой и переехал с семьёй в более дикие края, куда издавна ссылали заматерелых, кровожадных преступников – в продуваемую студенными ветрами Читу. Там и нашел последнее пристанище – добродуш-

ный неудачник, непутевый «коммерсант». Маленький человек, мечтавший о больших, с размахом, делах.

А семья впала в нужду – голодать, конечно, не голодали, Вера Моисеевна Френкель приложила все силы, чтоб сохранить какой-то достаток, но что могла она, вдали от родственников, в чужом неласковом краю?

Положение было тяжкое – да что там, совершенно аховое. И тут дала о себе знать богатая американская родня: через год старшие дети несчастного фармацевта оказались в Нью-Йорке, были приняты в колледж и продолжили там своё образование.

«Если в моих стихах есть спокойное стремление ввысь, вспомните о сорокаэтажных небоскребах, купающих свои шпили в весенних облачках...».

Небоскребы в Нью-Йорке не имели, конечно, никаких шпилей, но юному Френкелю они виделись такими. Необычными, с заостренной, как карандаш, макушкой, устремленной в небесную высь, к самим облакам.

Америка дала больше, чем образование – она дала уверенность в себе. Способность, витая в облаках, прочно стоять на ногах. Уверенности в себе стало столько, что сын фармацевта Абрама Френкеля перешел в другую веру, принял католичество и вместо данного от рождения имени получил другое.

Так Натан Френкель, которого приобщал к Торе иркутский раввин Соломон Бейлин, знаменитый сибирский фольклорист, превратился в Анатолия Френкеля. Не без участия практичных американских родственников.

Они же помогли продолжить образование в России.

Юный Френкель вернулся в Иркутск, куда переехала семья, благополучно окончил гимназию и подал документы в Томский университет. Поступить туда было несложно: в гимназическом аттестате стояли почти одни пятерки. Молодой человек свободно говорил на трех европейских языках – английском, французском и немецком. Был начитан и умён.

Какой была томская пора жизни, с кем свёл знакомство, где снимал квартиру, печатался ли в местных изданиях – документы умалчивают. Известно лишь, что проучился он в Томске семестр, прослушал политэкономии, статистику и два-три специальных курса по истории права. Затем, в декабре 1909 года, подал прошение о «переводе в число студентов» Петербургского университета.

О причинах перевода сказал коротко:

«Вся моя семья, - сообщил, - переезжает на постоянное жительство в Санкт-Петербург, а жить отдельно от семьи я совершенно не имею средств...»¹⁰.

Отдельно – значит, на большом удалении: без семьи довелось жить уже в Томске. Но на семейном совете, очевидно, решили: уж если учиться в уни-

верситете, так лучше в столице, куда помогут перебраться богатые родственники.

20 января 1910 года правление Петербургского университета сообщило ректору томского вуза, что «*нашло возможным принять Анатолия Френкеля в число студентов университета*»¹¹.

Он предоставил четыре фотокарточки, внёс вступительный 25-рублёвый взнос – и стал ходить на лекции известных профессоров. Тогда в документах он ещё значился, как Анатолий Абрамович. Чуть позже сын помощника аптекаря сменит и отчество.

«С 1910 по 1915 год – юридический факультет Петербургского университета.

(Если в моих стихах есть стройность логической мысли и ясное чувство правосознания – то, ей богу, не знаю почему, так как за все пять лет я успел сдать только одну статистику!).

С 1912 по 1917 год я живу безвыездно в Питере и работаю в печати.

(Если в моих стихах есть ампиризм барокко и ренессанс рококо, как не вспомнить о городе Фальконета и Клодта, Вита и Растрелли!).

В 1915 году я женился.

(Если в моих стихах есть лиризм надрыва и задушевность усталости... Впрочем, виноват!..)¹².

В его стихах было то и другое и третье: стройность логической мысли, классическая соразмерность, задушевность.

Он писал легко и много – писал фельетоны, романсы, эпиграммы и другие сатирические миниатюры. Писал либретто, рецензии, эстрадные скетчи. И песни, которые по-настоящему прославили его, блистательного остроумного Д'Актиля, и которые пели все и всюду. По всей необъятной стране победившего социализма.

Задорные жизнеутверждающие песни – в трагическую, противоречивую эпоху.

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны не льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!¹³

* * *

Аркадий Аверченко, устав скитаться, кончил дни на чужбине – был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Другой сатириконовец, Саша Чёрный, умер во Франции, в небольшом поселке Ла Фавьер. Надежда Тэффи нашла успокоение на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем.

В эмиграции оказались едва ли не все авторы «Сатирикона», а те, кто остался, не единожды имели случай горько пожалеть, что не уехали. Включая Аркадия Бухова, который эмигрировал, потом вернулся в советскую Рос-

сию и много лет сотрудничал в юмористических журналах. Пока не был репрессирован, то есть, попросту говоря, убит – как сатириконовцы Венский, Зоргенфрей, Князев.

И только два-три бывших сатирика, известных на всю страну благодаря сотрудничеству в непревзойденном журнале Аверченко, сумели, оставшись, найти себя в новой жизни – и выжить.

Среди них – Анатолий Д'Актиль.

Он жил с женой и тремя дочерьми в Ленинграде – «в Успенском переулке... в небольшом деревянном домике, за которым находилась церковь Успения и сиротливо звонили колокола...»¹⁴.

Некоторое время редактировал созданный им сатирический журнал «Красный ворон», впоследствии переименованный в «Бегемот», и журнал «Смехач», где потешался не над советскими порядками – упаси боже, а над некоторыми недостатками отдельных несознательных граждан.

Вообще, так сказать, над частными, требующими осмеяния моментами.

Ах, солнечный зайчик! Уселся на кресле,
Скользнул по кушетке, вскочил на буфет...
И в сердце моем моментально воскресли
И Пушкин, и Тютчев, и Майков, и Фет.

Весенних обычаев помня программу,
Священных традиций в лирическом сне,
Я с грохотом выставил первую раму
И влез на окошко навстречу весне.
На выцветшем небе – поблекшие тучи,
Обрывки афиш без начал и концов.
Гриппозные лужи.
Тифозные кучи.
Обломки панелей.
Провалы торцов.
Отборная брань подгулявшего шкета.
К галошному тресту – остатки хвоста.
Кино с вопиющим названьем «Ракета».
Кофейня с задумчивой кличкой «Мечта».
Пивная – с фанерой в проломленной дверце.
Старуха – с лотком ядовитых конфет.

И тихо растаяли в раненом сердце –
И Пушкин, и Тютчев, и Майков, и Фет¹⁵.

Сердце поэта было ранено несправедливостью, жестокостью, хамством представителей новой власти. Он мучительно трудно искал себя в расколотом мире.

Потом раны, видать, затянулись – и он успокоился, нашел своё место литературе. Свил в Успенском переулке уютное гнездо. Там его навещали композитор Дунаевский, режиссер Нестор Сурин, драматург Левитин, артисты Менакер и Муравский, композитор Покрасс, художник Полярный.

Д'Актиль был гостеприимным, «обожал принимать гостей и угощать их волшебю... Здесь за широким столом чаевничали, обедали и ужинали. Когда у кого-нибудь из друзей была получка, он покупал всякую всячину вкусных вещей и являлся с большим пакетом. Тотчас же Анатолий Адольфович заваривал свой знаменитый чай, накрывался стол и начиналась трапеза.

Когда же была получка у самого Анатолия Адольфовича, он являлся домой с грузом пакетов и устраивался валтасаров пир. Здесь, в квартире, задумывались оперетты и водевили, миниатюры и фельетоны... Д'Актиль был всегда другом, но оставался жестоким критиком произведений своих друзей, и жалость в этих случаях была ему неизвестна...

Он не терпел халтуры и всегда относился с суровой ответственностью к тому, что делал...»¹⁶.

Когда началась война, ему было уже за полсотню лет.

В блокадном Ленинграде он, совершенно обессиленный, продолжал работать, писал антифашистские стихи, которые читали по радио. В августе сорок второго его, полумертвого, вывезли из осажденного города в Пермь.

Там, немного придя в себя, стал писать фельетоны, сотрудничать с Театром миниатюр.

«Даже будучи больным, Анатолий Адольфович не прекращал литературной деятельности. Он написал... праздничное обозрение «Говорит Москва» для Театра миниатюр под руководством А. Любанского, пролог для новой программы цирка, сочинял сатирические стихотворные тексты для художников, которые рисовали и сами тиражировали агитплакаты... А на страницах пермской газеты «Звезда» Д'Актиль публикует патриотические стихи...»¹⁷.

Настолько нас оставила без сил
Шестнадцатинедельная блокада,
Что, оглядев, вчера меня спросил
Случайный встречный:
- Вы – из Ленинграда?...»¹⁸

В Перми Френкель прожил несколько месяцев – здоровье было подорвано настолько, что оправиться так и не смог. Его не стало в конце ноября 1942 года.

«В некрологе, который подписали Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Юрий Тынянов и другие, было сказано, что Д'Актиль «один из самых талантливых русских сатириков XX века...»¹⁹.



ПОРТРЕТ ДРАМАТУРГА: ЭРДМАН

Начало марта, а зима не сдаётся: что ни день, то морозы. Да хорошо, коли без ветра. Город завален снегом, утопает в сугробах. И тихо дремлет в ожидании благодатного тепла.

По улицам медленно движется невысокий задумчивый гражданин в роскошной шубе. Он погружен в мысли и не замечает, кажется, ничего. На подходе к театру, однако, заметно оживляется, на минуту остановившись у афиши. Читать там, положительно, нечего – да это ему и неважно: главное, тут есть театр. Сцена, где творят удивительный мир влюбленные в нее люди.

Можно отказывать себе во всем, жить вдали от столицы, обходиться без многих привычных вещей. Но без театра, он убежден, жить невозможно. Сама судьба его словно бы скроена по законам яркого драматургического произведения: в ней есть и слезы, и любовь, и разлука. Такую судьбу можно сыграть на сцене, он это знает.

Потому что написал две выдающиеся пьесы, первая из которых прошла с триумфом, сделав его сразу же знаменитым, а другая, не менее талантливая, была также обречена на успех. Сам Станиславский, читая его пьесу, говорят, был не в силах остановить приступы хохота, и всё кричал: «Гоголь, новый Гоголь!».

Заступничество корифея решило участь запрещенной цензурой сатирической драмы. Прославленный мэтр написал письмо Сталину, где, ссылаясь на Горького, просил поставить пьесу на сцене МХАТа. «В виде опыта», с различными оговорками, хозяин Кремля дал разрешение, но через полгода, после генеральной репетиции, где присутствовал Каганович, пьесу опять запретили.

А еще через год, во время съемок самого известного советского фильма тридцатых годов, наступила катастрофа: арест, Лубянка, сибирская ссылка. Так Николай Эрдман попал в Енисейск, а затем, в скором времени, оказался в Томске...

Здесь уместно процитировать Виталия Шенталинского, который читал следственное дело драматурга и поведал об обстоятельствах его ареста.

«Осенью 1933 года в Гаграх, на теплом берегу Черного моря, шли съемки фильма «Веселые ребята». Работа собрала будущих звезд экрана: артистов Любовь Орлову и Леонида Утесова, режиссера Александрова, композитора Дунаевского. Комедия пережила все режимы и пользуется неизменным успехом и сейчас. Но за историей «Веселых ребят» кроется совсем невеселая история. Авторы сценария не только были вычеркнуты из титров фильма, но и на долгие годы отлучены от нормальной жизни, объявлены преступниками».

«Это потрясающий образ двойной сути советского бытия, - читаем дальше, - в котором при бодром марше колонн энтузиастов, шествующих в светлое будущее, в том же

времени и пространстве двигались под лязг винтовочных затворов, матюки и лай конвойных собак миллионные колонны заключенных - в гулаговский ад, навстречу смерти. И главный режиссер этой фантазмагии, подписав днем расстрельные списки на несколько тысяч человек, вечером с удовольствием хохотал над забавными приключениями «Веселых ребят»...»¹.

Сценарий фильма написали два самых остроумных в Москве человека, Николай Эрдман и Владимир Масс. Но остроумие их зашло далеко. Тот последний вечер в Гаграх, когда оборвалась свобода, оба запомнили на всю жизнь.

Поздним вечером 11 октября машина, в которой находился начальник местного ГПУ Геладзе, подъехала к гостинице «Гульрипш». Там всюду шло веселье: звучал радостный смех, раздавался звон бокалов. Участвующие в съемках артисты отмечали завершение какой-то части самой веселой, самой жизнерадостной комедии тех лет. На пороге возникли хмурые люди в кожаных плащах и веселье прекратилось.

«Через несколько минут, - продолжал Шенталинский, - в машине сидел Владимир Масс, а по бокам – двое в черной коже, с пистолетами. Случилось это на виду у всех.

- Владимир Захарович, куда же вы без плаща? – крикнул в окно Утесов и выбросил другу свой плащ.

Увезли Массу, а через час приехали за Эрдманом...».

Оба оказались на Лубянке, в мрачной комнате с решеткой на окнах. И вскоре давали показания следователю, перед которым лежала невзрачная серая папка с надписью: «ДЕЛО №2685». Их обвиняли в написании забавных «контрреволюционных» басен и сатирических миниатюр, имевших широкое «нелегальное» распространение. В чем оба признались: остроумные шутки Эрдмана и Массы знала и с удовольствием цитировала вся Москва.

А поскольку «распространение этих басен оказывало враждебное, антисоветское воздействие» на идеологически нестойких слушателей, авторы оказались в ссылке. Вместе с ними были арестованы и «получили своё» два других талантливых остроумца – Эмиль Кроткий и Михаил Вольпин. Одного выслали в город Камень, второй угодил в лагерь.

Так что Эрдману, можно сказать, еще повезло: вместо Колымы он попал в Енисейск, не изведав всех прелестей гулаговской жизни...

* * *

Сибирские письма знаменитого драматурга, автора «Мандата» и «Самубийцы», хранятся в Центральном архиве литературы и искусства. Небольшую подборку их публиковал когда-то журнал «Театр», а в полном виде «запретные» письма Эрдмана увидели свет лишь в одном московском издании². Знают их немногие.

Первое письмо из ссылки Николай Робертович адресовал давнему другу поэту Вадиму Шершеневичу. В шутовском «*списке тех, кто пойдет за моим гробом при всякой погоде*», его имя стояло вначале. Эрдман сообщал, что «*истратил всё свое красноречие на письма и все свои деньги на телеграммы*», пытаясь остановить женщину, с которой его связывали нежные отношения. Но мхатовская актриса Ангелина Степанова все-таки выехала в Енисейск.

«И сделала из меня декабриста», - заключает ссыльный драматург.

О самом Енисейске, тихом глухом городишке, привыкший к столичному блеску Эрдман сообщает с присущим ему юмором, но без всякой издевки. Кроме природы, которой он «*не особенно увлекался*», там ничего не оказалось. Ничего и никого: общаться приходилось больше с книгами. Читал «В людях» Горького и указывал Шершеневичу:

«Здесь в люди выйти нельзя, поэтому я ушел в себя. Когда выйду, расскажу много интересного...».

Все следующие письма из ссылки он адресовал матери, Валентине Борисовне Кормер³, подписывая их «Мамин сибиряк».

С отцом, скромным бухгалтером мануфактурного товарищества⁴, в письмах почти не общался – тот плохо читал по-русски, предпочитая немецкий текст. Зато мать превосходно его понимала и поддерживала. От матери, он считал, досталась ему в наследство любовь к творчеству, а бабушка, урожденная Гольдберг, происходившая из состоятельной семьи, передала, по всей видимости, склонность к комфорту и умение ценить благополучие.

Эрдман писал, что живет в ссылке «*бурной общественной жизнью*»: готовит по чьему-то заданию антирелигиозный спектакль, и всё у него, в общем, прекрасно. Затем, через пару недель, иронически поведал о партийной конференции, к которой «*написал маленький одноактный водевиль о прорыве на енисейском лесном заводе*». И о том, что вошел в инициативную группу по созданию в Енисейске краеведческого общества.

Успокаивая мать, Эрдман заверяет, что регулярно пьет молоко, а следовательно, сыт и бодр.

Из енисейских писем выясняется, что Всеволод Эмильевич Мейерхольд не оставил ссыльного драматурга в беде, отправлял ему деньги и, видимо, хлопотал за его пьесы. И что в ссылке Эрдман писал какую-то пьесу, но шла она плохо.

«Писать здесь трудно. Возвращаться к письменному столу как блудный сын или сидеть за письменным столом как сукин сын – большая разница...».

О чем была пьеса – неизвестно, но занятия английским языком в работе над ней автора почему-то утешали.

Прожив в Енисейске год, опальный драматург получил предписание о переводе в Томск. В пути из-за нерадивых чекистов пришлось неделю просидеть в Красноярске, причем дорогу оплачивал сам, из своего кармана, что вызвало новую шутку.

«Я не спорю – всё дорожает, но ссылка становится уж очень дорогой. Эдак можно остаться где-нибудь посреди дороги и заработать еще года три за побег...».

И еще характерная деталь: в Красноярске сценарист Эрдман впервые увидел на экране «Веселых ребят». Фильм, воспоминания о котором были отравлены арестом, ему не понравился: *«редко можно встретить, - пишет, - более невнятную и бессвязную мешанину».*

И вот Томск, *«очаровательный старик, который созвал к себе молодежь всей Сибири».* Здесь Эрдман, облаченный в роскошную шубу Мейерхольда, оказался в марте 1935 года.

Той же весной его посетила мать – она была в Томске дважды, второй приезд состоялся через год, за несколько месяцев до окончания ссылки.

Драматург, чье имя, как явствует из писем, уже вошло в Большую Советскую Энциклопедию, получил приглашение работать завлитчастью в Томском городском театре. Соответствующий приказ по театру вышел 7 сентября того года.

Эта и другие даты, касавшиеся томской жизни сатирика, стали известны благодаря изысканиям Владимира Суздальского⁵, Николая Серебренникова и Марии Смирновой – они первые и писали о пребывании Эрдмана в Томске.

Штатную должность в театре, впрочем, драматург получил не сразу. Из письма матери, написанном сразу после ее отъезда из Томска, в мае 1935 года, узнаем, что *«только на днях»*, оказывается, состоялась его встреча с директором театра.

«Получил предложение работать, - сообщает Эрдман, - но, к сожалению, только осенью, когда на смену оперетте придет драма». А дальше – о погоде, мол, «ежедневно льет дождь, снова приходится прыгать с камушка на камушек...».

А в остальном, как всегда, всё замечательно. Без подробностей.

* * *

Николая Робертовича прописали в театральном общежитии, но жил он в другом месте, по переулку Подгорному (ныне Беленца), 6. Недалеко от дома, где поселился ссыльный философ Густав Шпет, который в тридцать седьмом был расстрелян в Томске по сфабрикованному делу. Оба, зная друг друга по

старой московской жизни, тесно общались: в доме Шпета драматурга Эрдмана называли не иначе, как «Мандат»⁶.

Остальное окружение было связано с театром, где он стал работать с 1 октября.

«Платить мне будут 300 р., но 40 рублей будут вычитать за комнату», - сообщает в письме.

Должность заведующего литчастью, надо признать, тяготила Эрдмана. Театр, по его мнению, должен был это понять и использовать такую фигуру «как-нибудь целесообразнее». Хотя и на этом «посту» опальный драматург не рассчитывал долго продержаться, опасаясь, что суровая советская власть его вовсе «погонит из театра».

И тем не менее, желание помогать режиссерам делать спектакли оправдалось. Инсценировку горьковской «Матери» он, во всяком случае, делал для томской сцены совершенно точно. Правда, в афишах его имя не значилось – там была обозначена лишь фамилия режиссера: Николай Шевелев.

«Золотая моя, - пишет матери Эрдман, - Уж очень давно я тебя не читал, милая, - не забывай, что ты мой самый любимый писатель...».

А затем сообщает, что в томском театре прошли две премьеры – «Горе от ума» и «Аристократы», и готовится «Женитьба Белугина».

«Публика, - забавляется дальше, - хорошо принимает «Аристократов» и немного скучает от «Ума». А если серьезно, «спектакли довольно чистенькие и мало чем отличаются от средних московских...».

Но вот какая штука: занят он, оказывается, в театре с утра до ночи, хотя решительно непонятно, чем именно: одна сплошная суета. Работать «для себя», увы, не удастся.

Теплые поздравления от родни с днем рождения – 3 декабря по новому стилю – получил в Николин день, 19 декабря: переписка ссыльных внимательно изучалась. Тем не менее, весь день Эрдман ходил счастливый, чувствуя себя «настоящим именинником».

Там же, в декабрьском письме, он впервые упоминает о художественном руководителе театра Самборской, которая подарила флакон духов, отчего он сидел на репетициях, «полный доброты и благоухания».

Свободу выбора в театральных занятиях Эрдман так и не получил. Он жалуется, что, будучи противником инсценировок, вынужден переделывать на драматургический лад роман «Мать». Но работа заканчивается, режиссер доволен и вообще дела идут хорошо. Даже погода балует: наступило резкое потепление, хотя скоро вернутся морозы.

Работать с таким замечательным мастером сцены, как Самборская, было редкой удачей. Лина Семеновна получила широкое признание как актриса, ставила успешные спектакли. В Эрдмановской инсценировке она исполняла главную роль, играла Пелагею Ниловну – и играла, насколько можно судить, блестяще.

«Все занятые в работе над спектаклем получили благодарность от директора, директор получил благодарность от партийных организаций города, некоторые актеры получили прибавку к зарплате, Самборская слезы и овации публики, Шевелев прекрасную рецензию, а я, - пишет Эрдман, - бутылку вина...».

В письмах ссыльной поры упоминается томский геолог Александр Дурандин и его семья, с которой Эрдман был дружен. Есть там другое имя: банковская служащая Маркова – в доме Анны Соломоновны *«часто собирались и музицировали гости»* (ее дочь Лидия Гавриловна, впоследствии известный палеоботаник, тоже фигурирует в одном из писем).

Сестра Марковой одно время сдавала Эрдману комнату на улице Советской, 10, но к приезду ревнивой жены, балерины Надежды Воронцовой, драматург сменил комнату. К ссыльному мужу она приезжала дважды, навестив его в Енисейске и Томске. Но упоминаний об этом нет ни в одном из писем.

В двух последних томских посланиях Эрдман писал, что театр начал работу над «Школой неплательщиков», а режиссер Александров предложил сделать сценарий к 20-летию Октября (через два года вышел фильм «Волга-Волга», сценарий к которому был написан в соавторстве с Александровым, но фамилия Эрдмана из титров исчезла). Предложение чрезвычайно заинтересовало, потому что работать хотелось *«как никогда»*.

Можно предположить, что первые строки сценария знаменитого фильма написаны были в Томске. Но жить здесь осталось немного: через четыре месяца, в октябре 1936 года, городской отдел НКВД вручил Эрдману справку о завершении почти трехлетней политической ссылки. Ему предоставили право выбирать место жительства – кроме шести крупнейших городов. Он выбрал Калинин.

Началась новая одиссея опального драматурга: Калинин, Вышний Волочок, Торжок, Рязань, Ставрополь. За него хлопочет Булгаков, пишет письмо Сталину, но напрасно. Вернуться в столицу Эрдману запрещают. Власть не простила его даже после того, как фильму «Волга-Волга» дала высшую в искусстве награду, присудила Сталинскую премию.

Но уничтожить память об Эрдмане не смогла. Обе его сатирические пьесы продолжали пользоваться огромным успехом.



IV. ТЫЛОВАЯ АЛЬМА-МАТЕР ОБЩИЙ ПЛАН. КАРТИНА ЭВАКУАЦИИ

Небо было безоблачное, нестерпимо голубое. И в нем беспечно резвились какие-то птицы – звонкая их перебранка слышалась прямо над головой. Тополя подставили кроны лучам, вбирая тепло, и застыли в сонной истоме. День обещал быть пригожим – не ветреным и не жарким.

В самый раз, чтоб хорошо отдохнуть.

Теперь всё это было так странно: щебетание птиц, сочная зелень травы и ветвей. Чистая, без пятнышка, голубизна небес... Как же так – война, а ничего не изменилось. Ни ветра, ни грозных тебе туч – ничего! Приятное легнее утро...

Ну, а что, собственно говоря, тревожиться: враг будет разбит, доблестная наша армия непобедима. Фашистские полчища не пройдут и шага по нашей земле – их уже бьют, нет сомнений, им уже дали жёсткий отпор. Ещё немного, несколько недель, от силы месяцев – и война кончится: что может грозить нашей могучей стране?

«Мы с большим воодушевлением приветствуем приказ Советского правительства главному командованию Красной армии и Флота ответным ударом отбить нападение и изгнать врага...

Заверяем партию и правительство, что мы, трудящиеся города Томска, еще теснее сплотимся... будем самоотверженно трудиться на благо...»¹.

Митинг на центральной площади был многолюдным и пестрым: рабочие, студенты, служащие. Говорили коротко, сжато, будто стреляли. Прямо с площади спешили в военкомат, где бурлила, гомонила возбужденная толпа.

Порыв был ясен и прост: взять в руки винтовку, поехать на фронт и бить, бить фашистскую гидру, рубить ей проклятые головы до полной победы.

Получив оружие, наспех прощались – скоро вернёмся! – и собирались в дорогу. А те, кто остался, готовились ждать победителей – работать в тылу, помогать бойцам, чем только можно.

Но меру труда и меру выдержки не ведал никто. И думать тогда, в первые дни, не могли, каким чудовищно трудным станет далекий от фронтовой полосы сибирский тыл. Каким станет голодным, больным, изможденным. И как тяжела, невыносимо трудна будет работа – тоже не знали.

Верили: едва начавшись, война скоро кончится, что тревожиться...

Предвестники бед, однако, появились еще до войны, по весне. Прошел в городе слух, что грядут трудности с хлебом, ожидаются перебои с мукой:

большая вода в половодье, говорили, затопит склады и мельницу на берегу Томи.

Вмиг выросли очереди, народ заволновался.

Виноваты враги, разъяснила всем власть, они распускают гнусные слухи.

«Враждебные элементы и обыватели, пользуясь слабостью нашей политической работы среди населения, распускают различные слухи и сеют панику. Эти враждебные разговоры не встречают должного отпора, есть случаи спекуляции хлебом и массовой закупки...»².

Очереди скоро исчезли.

А в первые дни войны появились опять: очереди за хлебом и солью. За мылом, спичками, папиросами. Горисполком издал распоряжение, велел усилить разъяснительную работу. Только это уже не помогало, хлеба действительно не стало хватать.

Потом, в конце лета, ввели продуктовые карточки. Работники, которых отнесли к первой категории снабжения, получали теперь в день 800 граммов хлеба. Остальным, чей труд считался менее важным, давали на карточку 600 граммов хлеба – членам семей того меньше.

Хлеб мерили на одних и тех же весах, а ценность жизни на разных: устанавливала ее война, и с этим не спорили. Главное – победить, разгромить врага, помочь нашим воинам!

Близилась осень, а с ней холода. Начался сбор теплых вещей для солдат. В каждом районе Томска появились пункты, где принимали бельё и теплые вещи: несли, кто что мог. Домашние хозяйки, умевшие шить и вязать, сели к швейным машинкам, взялись за шерстяные носки, чулки, варежки.

Открылась подписка на государственный займ: нужны были деньги, чтобы строить самолеты и танки. В фонд обороны сдавали личные средства, дорогие вещи и украшения: в городском отделении Госбанка беспрерывно работали три кассы, к ним подходили один за другим томичи.

«Бухгалтер одной из артелей Софья Вощерович, к примеру, «внесла облигаций на 220 рублей. Доцент стоматологического института Клейтман внес тысячу рублей облигациями и четыре золотых диска для зубных протезов весом в 6,8 граммов. Банк также принял от него в фонд обороны зубоврачебное кресло...»³.

Всё для фронта! Все для победы!

Бои идут далеко, тут не рвутся снаряды. Но, если подумать, здесь тоже свой фронт – идеологический: враг-то не дремлет, засылает шпионов, диверсантов, мутит всячески воду. Враг хитер и опасен.

В вузах города, мастерских и промартелях проходят партийные собрания. Главный вопрос: усиление бдительности. Лишнего не болтать, сведений о работе не разглашать, пресекать слухи. Надо усилить охрану, лучше хра-

нить документы, чтоб никто не выкрал и не воспользовался. Ввести во всех главных учреждениях пропуска.

«Иностранные разведки засылают своих шпионов, не надо забывать... А усилению бдительности в Томске уделяется еще мало внимания. Томск должен быть готов ко всяким неожиданностям...»⁴.

Но самой большой неожиданностью стала громадная эвакуация. Тихий вузовский городок, утративший областное значение, не готов был принять столько заводов. Ведь принять – означало найти место, смонтировать, ввести в строй. Разместить где-то рабочих, дать кров, обеспечить питанием.

Как это сделать, да еще быстро, крайне быстро – в городе, где промышленности не было почти никакой?

Работа на станции, меж тем, не затихала и ночью. Устало отдуваясь после дальней дороги, локомотивы подвозили тяжелые составы со станками, запчастями, механизмами. Их разгружали, везли оборудование в общежития, клубы, школьные и вузовские корпуса. Иные заводы, которым не нашлось места, размещали прямо на пустыре, под открытым небом.

«Одной из первых прибыла электростанция их Гомеля, а с ней – четыреста рабочих и инженеров. Они выехали прямо из-под бомбежки, некоторые рабочие были ранены, их сразу отправили в госпиталь. И оборудование было изрядно повреждено – взялись восстанавливать. Собирали турбогенератор по всему городу...»⁵.

До войны в Томске действовала одна слабая электростанция, вводить с ней эвакуированные предприятия нечего было и думать. Теперь появилась вторая, собрали ее без промедления, но и обе давали электричества меньше, чем нужно. Не хватало топлива, сырья для заводов, транспорта.

Весь транспорт, полуторки и повозки, забрали по мобилизационному предписанию в первую неделю войны. А собрав, увидели, как мало: транспорта в городе катастрофически не хватало, особенно грузовых машин. Разъезжали, большей частью, повозки: свесив уныло голову, напрягаясь изо всех сил, везли лошаденки со станции промасленные железные глыбы.

Катили туда и обратно, туда и обратно. И не было, казалось, конца этим поездкам.

А эшелоны всё подходили: шарикоподшипниковый завод, электроламповый, резиновый, инструментальный, электромоторный. Предприятия из Москвы, Ленинграда, Гомеля, Харькова, Ленинградской и Орловской областей.

К декабрю, оглядевшись, увидели, что город принял, оказывается, тридцать заводов – не считая правительственных учреждений, институтов, госпиталей, детских домов. Прибыли десятки тысяч людей: рабочие, служащие, инженеры, врачи, учителя.

И ученые, крупные ученые из научно-исследовательских институтов Москвы, преподаватели вузов, профессора. Авторы учебников и монографий, по которым занимались студенты. Основатели научных школ и направлений.

Их заставили бросить работу и поехать в Сибирь, подальше от фронта. Им говорили: вас ценят. И они поехали, чтоб продолжать исследования, завершить начатые в мирное время труды. Не всем, но некоторым это удалось, несмотря на голод, холод, болезни.

Другим удалось просто выжить, что для науки, в конце концов, было тоже немаловажно.

* * *

Чужая промышленность, занесенная войной, преобразила город. И всё же он оставался вузовским – по числу институтов и техникумов не имел себе равных в Сибири.

Здесь не строили боевые самолеты, не выпускали снаряды, не плавил сталь. У города была своя задача. Он учил тех, кто потом строил, плавил и выпускал. Томск давал стране кадры.

А кадры, учил вождь, отец всех народов и корифей всех наук, – кадры решают всё!

Готовить их надо не просто хорошо, а так, чтоб отечественные специалисты не уступали зарубежным. Наша высшая школа должна быть лучшей в мире, непревзойденной, а она этим требованиям не вполне отвечала: перед войной готовили кардинальные меры для повышения качества образования.

Одна из мер – введение платного высшего образования. Был в советском правительстве такой несоветский проект.

«Серьезное внимание, - говорили, - нужно уделить подбору профессорско-преподавательского состава вузов. В ближайшее время необходимо пересмотреть подготовленность профессоров, доцентов, аспирантов к научно-исследовательской работе. Особое внимание уделить качеству диссертаций: они должны отражать актуальные вопросы жизни...»⁶.

В условиях войны совершенствовать высшую школу никто, конечно, не собирался. Сразу ощутили громадную нехватку специалистов – многие ушли на фронт. И перед вузами встала задача: наладить ускоренный выпуск врачей, инженеров, проектировщиков, геологов.

Вышел приказ Наркомата просвещения: пятилетний срок обучения заменить трехлетним. Специалистов стали готовить по сокращенной программе. Инженеров тоже, хотя для них сделали исключение: институтскую их программу вместили в три года четыре месяца.

Томские вузы пересмотрели учебные планы. Одни курсы убрали, другие добавили.

На мехмате стали преподавать баллистику, теорию стрельбы и управление огнем, на истфаке – политрабому в войсках. У географов появилась аэрофотосъемка, а следом военная география, химики изучали отравляющие вещества. Студентам-биологам ввели промысловую ихтиологию: изучать рыбу стало менее важно, чем ловить.

И все вместе, независимо от специальности, стали активно учить военное дело. Курс «военно-физкультурная работа» занимал теперь много часов: лыжные марши, бег и прыжки, военные дисциплины. Каждый студент, считалось, обязан иметь военную квалификацию, учиться на радиста, телефониста или водителя.

В вузах открылись «оборонные» кружки – для стрелков, гранатометчиков, мотоциклистов. Кружки штыкового боя. При университете возник штаб противовоздушной обороны, который организовал «самозащиту». Студенты дежурили на крышах: на тот, разумеется, случай, чтоб вражеский самолет, преодолев тыщи километров, не забросал бомбами тыловой мирный Томск...

Так начинался первый учебный год лихолетья.

Набор в вузы впервые провели без экзаменов – брали всех, кто желал учиться. А таких оказалось немного: кто не ушел на фронт, становился к станку, работал в поле. Так было легче выжить. Главная-то забота в войну – продержатся, добыть пропитание и одежду, а образование что ж, не уйдет. Вот добьем врага, будем строить мирную жизнь, думать о будущем...

Какая учеба, если хочется есть – постоянно, с утра до вечера все мысли о хлебе. Маленький, весь на ладони, кусок черного хлеба, норма военной поры. Откусывай по кусочку да глотай, наслаждайся вкусом и запахом.

«Жилось трудно всем. Хозяйства нет, паек по карточке, тащили на базар одежду и обувь из «довоенной роскоши», чтобы купить молоко, хлеб, картошку. Цены же на базаре были явно не божеские: молоко стоило 80 рублей литр, хлеб – сто рублей килограмм, картошка – 350 рублей за ведро. А старых сбережений не было, на черный день не копили...»⁷.

Поступить в вуз и учиться в военное время, зная, что будешь недоедать, недосыпать, падать с ног от усталости, могли немногие. Тут требовалась особая решимость. Кто-то, намаявшись, уходил на заочное, поступал на завод. Там работали почти все студенты – только одни посещали лекции, а другие готовились самостоятельно.

Когда прибыли эвакуированные заводы, студенты, как все, разгружали вагоны, помогали строить цеха, участвовали в монтаже станков. И запускали производство, и работали потом по графику, который утверждали заводские месткомы: обычная смена длилась полсуток и больше – студентам позволяли работать восемь часов.

Но и восьми хватало, чтоб валиться без сил. Утром, чуть свет, брели на занятия и дремали, дремали на лекции, а спросят, отвечали невпопад, чему никто, впрочем, не удивлялся. Смотрели на доску, испещренную формулами,

а видели иное: стакан молока с хлебом. Раскрывали учебник – перед глазами стояла тарелка наваристых щей.

«Стипендию в войну получали только сдавшие сессию на отлично... По карточкам студентам давали 400 граммов хлеба. В зимнее время в столовой университета на обед выдавали тарелку супа с галушками, а летом – суп из крапивы... Хлеб был для всех лакомством...»⁸.

От недостатка питания болели, у многих падало зрение.

Райским местом считалась необременительная работа вроде сторожа или контролера в Городском саду, которая позволяла раскрыть книгу. Такие места доставались редким счастливым, за них крепко держались: это вам не завод. И не госпиталь, где студентки-медсестры перевязывали гнойные раны.

Осенью сорок первого для эвакуированных заводов стали строить железнодорожные ветки, по городским улицам потянули узкоколейки.

Запомнилось: «Холод, слякоть, грязь. В ночной темноте горят костры. Люди долбят мерзлую землю, таскают шпалы, вручную укладывают рельсы». Студенты «начинали работу ежедневно после занятий, в три-четыре часа дня, и продолжали до глубокой ночи. Трудились безвозмездно, без выходных дней... Рядом со студентами работали учащиеся школ, техникумов, население прилегающих улиц...»⁹.

В скверной обуви стыли ноги: башмаки не выдерживали, расползались. Приходилось тащиться к костру, наскоро греться, восстанавливать обувь подручными средствами. Зато на строительстве колеи давали батон ситного хлеба. Не в одни, правда, руки, но всё ж таки хлеб.

А вот на разгрузке вагонов с углем для вузовских корпусов давать хлеб не полагалось. И дровяные баржи на пристани разгружали «за так», во внеурочное время. Город спешно запасался топливом, направлял людей в Кузбасс – отгружать уголь непосредственно с шахт. Там работало много томских студентов.

Но топлива все равно не хватало. И студенты перед занятиями шли на черемошинские склады, а когда те опустели, тащились с санками через замерзшую Томь. На том берегу, в Тимирязевском бору, ждали сваленные и распиленные преподавателями деревья. Их укладывали на самодельные санки, впрягались и волокли до учебного корпуса, а в аудитории кололи и топили печи.

Истопников было мало. Следить за огнем обязывали дежурных, а дежурили у печи, как правило, аспиранты и молодые преподаватели. Но что там скромные печи для большого-то здания – холод в аудиториях стоял невыносимый, мерзли чернила. Сидели на лекциях в верхней одежде и писали, согревая дыханием руки.

Закутаться в полушубок плотнее – и ничего, сидеть можно. Даже лучше, что холод: пригреешься – клонит ко сну.

«В аудиториях стоял холод, всю войну не было электроосвещения. Из-за холода в общежитских комнатах и аудиториях занятия часто проходили на квартирах преподавателей. Так, латинским языком занимались дома у Молиной, где отапливалась одна комната...»¹⁰.

В Научной библиотеке университета действовал только один читальный зал, занимались там и преподаватели, и студенты. Но и в этом единственном зале было ощутимо холодно: сидели в шапке и валенках.

Первая сессия военной поры прошла плохо, уровень знаний, особенно на первых курсах, был низким. Потом вроде втянулись, догнали программу. Начались «сталинские вахты» за высокие показатели в вузах. Твой фронт, говорили, – аудитория. Оружие студента – «пятерка».

«Каждая отличная оценка – меткий удар по врагу!».

«В условиях войны, когда над нашей советской родиной нависла угроза, когда озверелый фашизм протягивает свои кровавые лапы к жизненно важным центрам страны, когда стоит вопрос о жизни и смерти... каждый должен быть собран и дисциплинирован, работать с удвоенной, утроенной энергией, всемерно помогать фронту...»¹¹.

Учеба наладилась, набор возрастал.

На томские учебные заведения обратили внимание: как-никак пять вузов, три научно-исследовательских института, девятнадцать техникумов. Только в мединституте училась тысяча с лишним студентов, да полторы тысячи – в политехническом и университете, вместе взятых.

Горисполком проводит совещание:

«За последние три года торгующие организации Томска почти не снабжали студентов одеждой, обувью и бельем. Вследствие этого многие студенты вузов и учащиеся техникумов оказались в крайне тяжелом положении, с наступлением холодов не могут посещать занятия...»¹².

Безобразия! Нужно поддержать вузы, наладить торговлю.

И как всегда справедливо и мудро отметил недостатки обком. Утратив областное значение, Томск перешел в подчинение Новосибирску, ценные указания давали соседи. Томские беды оттуда виделись удивительно полно. Были, можно сказать, как на ладони.

Вузы, сердился обком, занимаются всем, чем угодно, только не учебой!

Это верно, каялись томичи, «мы выполняли свой долг по созданию фонда обороны, сбору теплых вещей, заготовке топлива, а основная наша работа, учеба, отошла на второй план...»¹³. Что, конечно, вы правы, недопустимо.

Но если есть недостатки, имеются и виновные. Их не надо искать: в университете, скажем, оказался виноват Пегель, проректор по научной рабо-

те. Его постоянно критиковали за «низкий уровень учебного процесса». Товарища Пегеля вызывали на партбюро и постоянно воспитывали.

Он робко возражал: мол, «условия, в которых работаем, не соответствуют задачам и требованиям, стоящим перед нами». В таких условиях нельзя нормально учиться и двигать науку.

Можно! – заверял твердо парторг. И проректор вздыхал: вообще-то да, «многое зависит не от объективных причин, а от нас самих»¹⁴. Нашей расторопности и собранности.

Признать ошибки, явные и мнимые, означало уберечься от худших обвинений: плохую работу в войну расценивали, как саботаж. И судили по законам военного времени.

* * *

В университетской роще не слышно студенческих голосов. Туда вообще никого не пускают – военный объект, действующий здесь, находится под охраной.

Главный корпус университета не узнать, так изменился. Старейший за Уралом вуз одним из первых принял оборудование. Здесь теперь выпускают прицелы для снайперских винтовок, работает оптико-механический завод.

Запустили его быстро: основные цеха ввели за пару недель, а весь завод – за двадцать четыре дня, на пять дней раньше срока. Мог ли принять такой крупный завод другой город, никто и не думал. Эшелоны с «оборонным грузом» шли через всю Сибирь, и когда Омск с Новосибирском отказывались брать, его отправляли в Томск.

Томичи принимали всех: железнодорожный тупик, дальше не уедешь.

Кабинеты и аудитории университета освобождали для завода сами студенты. Транспорт не давали, переносили всё на руках: лабораторное оборудование, приборы, шкафы и книги. Ценнейшие экспонаты трех университетских музеев – минералогического, зоологического и этнографического.

Часть реликвий унесли в Научную библиотеку, но разместить там всё самое ценное не смогли. Горисполком выделил восемь небольших деревянных зданий, спешно выселял жильцов: туда и переезжали в срочном порядке, по жесткому графику, университетские кафедры, кабинеты, лаборатории.

Химическому факультету не повезло, его имущество сильно пострадало. «Большая часть оборудования на улице Горького осталась лежать под навесом, часть оборудования погибла...»¹⁵.

Что поделаться: война. Всё для фронта, всё для победы...

Передав городу, в общей сложности, свыше тридцати тысяч квадратных метров учебной и жилой площади, университет не получил и десятой доли:

занятия проходили в тесных разрозненных зданиях. Даже в лабораториях Физико-технического института¹⁶.

Когда положение на фронте изменилось, университет напомнил об эвакуированном заводе – Москва отмахнулась. Следующие ходатайства ждала та же участь. Заводчане тоже были недовольны: разрешение вернуться на родину, в Подмосковье, они получили лишь осенью сорок третьего.

И сразу же начали собираться.

«Завод оставил университет в совершенно разрушенном состоянии. Здание сильно пострадало от находившихся там станков, машин и спецоборудования. Многие аудитории были переделаны для нужд завода, приходилось приводить их в пригодное для учебных и научных целей состояние...»¹⁷.

Побывав под бомбежкой, университет пострадал бы, наверное, меньше. Такой разрухи трудно было представить!

«Паровое отопление не действовало, полы и потолки в ряде комнат были пробиты, внутренняя электропроводка испорчена, разрушено спецоборудование лабораторий. Зданию нужен был капитальный ремонт...»¹⁸.

Все для фронта, все для победы...

По-хорошему, поступить следовало так: заколотить главный вход досками и оставить, как есть, до конца войны. Вселяться в университет было немыслимо. И все же решили переезжать. Причем незамедлительно.

Строителей город не дал – нет лишних рук, денег тоже. Обратились в правительство. Через год на ремонт главного корпуса университет получил миллион рублей, но выполнить работу по-прежнему было некому. Пришлось ремонтировать своими силами: за дело взялись студенты и преподаватели.

«На военные рельсы» перешли все подразделения вуза.

Старейший в Сибири, уникальный Ботанический сад взялся выращивать для госпиталей лекарственные растения. Ну, а главной его заботой стали овощи – обычные овощи для вузовской столовой, картошка и свекла. Их выращивали там же, где тропические растения, рядом с пальмами и другими обитателями экзотических стран.

Потом переоборудовали под овощехранилище одно из строений Ботанического сада. А когда вспыхнула эпидемия тифа и в Томске ввели карантин, здесь устроили санобработку: на опытном участке возвели срочно баню, открыли дезокамеру. Противостоять болезни вполне удалось. А вот нежные растения сада болели и гибли, им не хватало тепла.

И кто ж был виноват?

Да, конечно, враги – саботажники и вредители: это они «уничтожали редкие растения», больше некому. Надо усилить бдительность! Долг каждого коммуниста – ставить в известность «кого следует» обо всем, что происходит в вузе.

«Коммунист должен иметь глаза и уши и пресекать всякую попытку вредительства. Нужно вести борьбу и помогать органам госбезопасности...»¹⁹.

В тыловой обстановке, убеждали парторги, бдительность приобретает особое значение. Смотри в оба!

«Некоторые коммунисты не считают своим долгом реагировать на различные, иногда чуждые разговоры. Необходимо в вузах усилить политико-массовую работу... Надо помнить, что враги пытаются заслат в тыл шпионов и диверсантов, поэтому бдительность сейчас должна быть острее...»²⁰.

Чуждым разговором считалось всякое проявление недовольства. Жаловаться нельзя – даже лучшему другу, даже если ты болен и голоден, а вещей, чтоб продать на толкучке, уже не осталось. Всё равно, молчи и терпи, иначе будешь пособник врага. И тогда пощады не жди!

Разговоры о голоде пресечь просто. Куда сложнее победить сам голод.

И тех, кто на нем наживался: в подсобном хозяйстве мединститута, оказалось, воровали картофель со склада и продавали на рынке. Крупные кражи продовольствия в сорок третьем году вызвали разбирательство и закрытое письмо горкома: продукты воровали ящиками, на десятки тысяч рублей²¹.

А томские вузы, как заправский колхоз, участвовали в посевной и уборочной. Сеяли, косили, выращивали, молотили.

По заданию Наркомпроса во все учебные планы включили аграрное дело. На одних факультетах изучали трактора и молотилки, на других – общее земледелие и местные культуры. Летом отправлялись в деревню и закрепляли знания на практике, оставаясь до конца сезонных работ.

Уборка овощей, как и лесозаготовка, стала заданием государственной важности. А на свои нужды выращивали овощи сами, в подсобном хозяйстве, отвечала за это «огородная комиссия» вуза. И каждая семья должна была обеспечить себя овощами самостоятельно.

Весь город в войну был покрыт огородами. Использовали каждый пустырь, каждый участок. Вырубали березовые рощи и сажали картофель.

«Когда в столовых чистили картошку, аккуратно вырезали и хранили «глазки», чтоб посадить их весной. Занимали в городе под огороды все свободные площади, даже в городском парке сажали картошку...»²².

Ничего, после войны, рассуждали, посадим новые рощи. Главное – выжить, продержаться голодное время. На фронте труднее, там каждый день ходишь под смертью: что тыловые тяготы по сравнению с теми мучениями!

И посылали на фронт продукты, помогали семьям фронтовиков, инвалидам войны. В голодный Ленинград, едва прорвали блокаду, отправили це-

лый вагон продуктов: рыбу, мясо, пельмени. Из скудного заработка выделяли в фонд обороны. Одним танком больше – уже хорошо.

«Военный» займ, денежные лотереи, добровольные взносы – всё в фонд обороны. Однодневный заработок отчисляли на поддержку Сибирской дивизии. За участие в сборе средств приветственные телеграммы из Москвы получили университет и мединститут.

«Прошу передать профессорам и научным работникам Томского университета, - читали с трепетом, - мой боевой привет и благодарность от Красной Армии»²³.

И подпись: Иосиф Сталин.

Когда на ученом совете университета зачитали эти волнующие, эти забываемые строки, раздались аплодисменты: лучшей награды, чем благодарность вождя, невозможно представить!

Сбор средств – хорошо, дело нужное. Только... от вузовского города ждали другого.

«Как сказал секретарь райкома партии товарищ Шеляков, перед вузами Томска поставлена задача воспитывать грамотных, обладающих большим кругозором специалистов...»²⁴.

А воспитывать-то как раз было трудно. Чудовищно трудно!

Бедствовали вузы, отчаянно бились с нуждой техникумы. У коммунально-строительного техникума забрали для госпиталей учебный корпус, подсобные помещения и общежитие. Коллектив кочевал по городу, переезжал семь раз. *«Большая часть лабораторного оборудования и инвентаря погибла».*

«В настоящее время, - жаловался директор, - техникум превратился в карликовое учебное заведение с убогой материальной и учебной базой... Такое положение лишает техникум возможности хоть как-то развиваться...»²⁵.

Лучше жилось тем, кому помогали заводы. Машиностроительный техникум, эвакуированный из Кременчука, разместили в одном из корпусов подшипникового завода. И хотя комиссия, изучив состояние дел, признала, что ни учебных площадей, ни преподавателей там не хватает, техникум был доволен: заводчане его опекали.

Три раза переезжал с места на место химический факультет университета. Да так и не обрел надежный кров, пока не вернулся в родные стены. А кафедру ихтиологии прикрепили к «Рыбтресту», преподавателей и студентов отправили в Нарым – помогать выполнять план по рыбодобыче.

Каждая такая задача была «оборонной». От науки ждали скорых ощутимых результатов: быстрые исследования должны дать быструю пользу, тут же, немедленно сказаться на военной промышленности.

Ученых торопили: ну же, где ваши труды, где большие открытия! Думайте, исследуйте, творите. На то вы и ученые!

* * *

В июне сорок первого для решения оборонных задач создают Комитет ученых. Входят в него семнадцать профессоров, три доцента и два партийных руководителя. Возглавляет его профессор Токин.

«Комитет объединил до трехсот научных работников, выполнял производственные задания для Томска и других городов, создавал временные комиссии, секции, бригады... Ученые помогали эвакуированным предприятиям вступать в строй, осваивать новые технологии, находить сырье из местных ресурсов...»²⁶.

Успешно работают ученые-медики: лекарственные растения, бактерициды, сложные полевые операции. Доцент Одинцов изобрел *«радиоцуп для обнаружения и удаления из тела пуль»*. Хорошо показал себя *«новый метод борьбы с брюшным тифом»*, разработанный профессором Карповым.

Мединститут готовит врачей по новым специальностям. В госпиталях, размещенных в корпусах и общежитиях университета, педагогического института, в Доме науки имеется свыше десяти тысяч коек. Томичи производят препараты, которые страна закупала за рубежом.

Ведутся геологические изыскания, направленные на расширение минерально-сырьевой базы Сибири: ищут уголь, железные руды, цветные металлы, нефть. Геологи Баженов, Коровин, Молчанов, Кузнецов, Хахлов открывают в Кузбассе новые месторождения.

Профессор Большакова создает новые сплавы, профессор Азбукин – новый способ защиты линий связи от помех. Профессор Кузнецов ведет исследования бронепробиваемости, профессор Розенберг находит доступный для заводов метод превращения отходов стали в резцы. Профессор Савиных *«вносит ряд новшеств»* в военную хирургию...

В отчетах по научной работе имена эти встречались довольно часто. Двигать науку по крупному, полагали, могли лишь крупные ученые. Им создавали особые условия. Их окружали особой заботой.

Зимой сорок второго, в тяжкое время, горком обязал торговые организации обеспечить дровами и топливом видных ученых. В список включили пятьдесят с лишним человек, каждому выдали килограмм масла, килограмм сахара, два кило шоколада, картошку с капустой, два куба дров. Квартиры ученых, *«согласно списку»*, обеспечили светом²⁷.

Через несколько месяцев вышло такое же постановление. Томторг обязали выделить ученым картофель, гормолзаводу велели обеспечить их молоком. Продукты получила так называемая «академическая группа»: восемь

лауреатов Сталинской премии, пять заслуженных деятелей наук и несколько членов Академии наук.

В список вошли томичи и эвакуированные ученые: Белецкий, Кузнецов, Беркман, Вершинин, Рабинович, Жданович, Мерович, Заварзин и другие²⁸. Остальным, менее титулованным, приходилось труднее, но они понимали трудности и не роптали.

Даже когда их незаслуженно обвиняли, выдвигая беспочвенные требования.

Доставалось кафедре систематики низших растений, возглавлял которую профессор Лавров. Ругали кафедру органической химии и профессора Измаильского, отвечавшего за ее работу. Постоянно отчитывали доцента Иоганзена, заведовавшего кафедрой ихтиологии.

Когда профессор Боев, который эвакуировался из Москвы, вступал в партию, на партбюро университета его строго спросили: «Почему не нашли оборонную тему?». Тот растерялся, стал смущенно оправдываться. В Томске, мол, нет аппаратуры, нужной для исследований... правда, ряд расчетов по оборонной тематике всё же представил.

Ну, хорошо, разрешило партийное бюро, получайте заветную красную книжицу.

«Боева можно принять в члены ВКП(б), - занесли в протокол собрания. – Но нужно сделать замечание относительно того, что у него не изжиты черты интеллигентщины, которые выражаются в слащаво-изысканном тоне разговора...»²⁹.

Изысканные манеры, видно, не очень вязались с обликом настоящего коммуниста. А ему – идущему в авангарде – полагалось быть образцом. Везде и во всем!

Надо помнить, что «источник богатырской силы советского народа заключался», без всякого сомнения, «в руководстве Коммунистической партии, вооруженной знанием законов общественного развития, в социалистической идеологии, дающей массам понимание их коренных интересов и ясность перспектив...»³⁰.

А вот с научными перспективами, увы, не всё было ясно. Такие темы, как «*выведение новых культур в условиях Сибири*», предполагали длительную работу. Без серьезных долгих исследований добиться успеха здесь было мудрено, а результат требовали сразу, в текущем квартале. Ну, или хотя бы в полугодии...

Результат подменяли нередко разговором о необходимости скорейшего результата, бурной перепиской, включением в план немыслимых тем. Университет, например, наряду с изучением баллистики, поиском заменителей изоляционных материалов, собирался усовершенствовать «*визуальный метод спектрального анализа*»³¹.

Мастерским Физико-технического института «было доверено изготовление сложнейших военных приборов», в то же время студенты химфака готовили на заводе старое противотанковое оружие, бутылки с горючей смесью. Профессор Неусыхин, специалист по средним векам, написал брошюру о немецкой теории «высшей расы», а одна аспирантка подготовила в сорок третьем диссертацию о тыловом Томске.

И фамилия её была Скороспелова.

Хотя «опасность свести тему до газетной статьи» несколько беспокоила университетских профессоров, защита прошла успешно. Кафедра марксизма-ленинизма госуниверситета уверенно поставила «галочку»³².

Молодых ученых торопили с диссертацией, толкали под руку. Советовали сворачивать теоретические изыскания и быстрее защищаться. Недостатки исследования, откровенные промахи объясняли нехваткой литературы – тем более, что проблема имелась.

Плохо обстояло дело с новейшими иностранными изданиями. Лишь в сорок четвертом мединститут добился от Наркомздрава, коему подчинялся, чтобы десять ведущих профессоров «получали по одному иностранному журналу»: прочитал – передай другому. Иначе двигать науку было нельзя!

Но ее, вопреки всему, как-то двигали. Сосредоточенно и упрямо.

Профессор Тронов добился очистки смолы для получения жидкого топлива. Профессор Геблер открыл способ регенерации турбинных масел. Работы профессора Бутакова увеличили мощность действующих электростанций. А профессор Радугин открыл месторождение марганцевых руд.

Крупнейшее, между прочим, в стране.

«Большую часть денег он внес на строительство танков, а остальные положил в банк, чтобы проценты выдавать на премии за лучшие научно-исследовательские работы студентам...»³³.

Причем работы, в основном, прикладного характера: теоретические исследования в войну почти не развивались. Говорить об этом, конечно, не полагалось, даже в подтексте нигде не звучало. Но именно военные нужды требовали развития фундаментальных наук, в Москве это понимали.

И требовали от ученых совмещать академические исследования с прикладными, злободневными, направленными на скорейший результат. А как, собственно, совмещать – не объясняли.

Только после войны ученым позволили робко, затем откровеннее высказываться на эту тему. Да и то не всем, а самым известным, ибо крупную проблему могли обсуждать, безусловно, лишь крупные ученые.

Заговорили о ней в начале сорок шестого, после известной речи товарища Сталина о советской науке.

«Крупные ученые, - говорилось в послании Комитета ученых томскому обкому партии, - отмечают, что в последние годы, особенно в период войны, деятельность в разра-

ботке теоретических вопросов нередко встречала недооценку, тогда как положение ряда областей прикладной науки и техники настоятельно требовало теоретической базы...»³⁴.

Профессор Тронов сетовал, что *«теоретические работы считались неактуальными»*. О необходимости *«предоставлять ученым больше времени на фундаментальные исследования»* говорил профессор Розенберг. А профессор Бунтин, считая, что есть опасность отставания в химических науках, предлагал *«создать при Томском университете химический НИИ»*.

Такой институт не был создан. Больше того, стало известно, что Сибирский филиал Академии наук правительство собирается открыть не в Томске, с его мощной научной базой, а в Новосибирске.

Незадолго до этого, в конце войны, томским ученым предложили высказаться о состоянии науки в связи с тем, что на карте страны вновь появилась Томская область. Говорить о проблемах в полный голос еще было нельзя – многие выступали, как прежде: одобряем и поддерживаем.

Но не все. Профессор Кудривцева заговорила о научных школах, которые требуется всячески развивать. А профессор Жданов показал, что нехватка приборов и оборудования грозит обернуться серьезным отставанием в науке.

«Нужно поднять издательскую деятельность, - заявил он, - лучше оборудовать лаборатории, доукомплектовать библиотеки, вернуть мединституту учебные корпуса. И больных лучше кормить... Необходимо восстановить былую славу томских клиник...»³⁵.

По-настоящему острое выступление, впрочем, было одно – у профессора Кузнецова. Только известный ученый, к которому благоволила власть, мог позволить себе такие резкие высказывания.

А начал с того, что не намерен покидать Томск.

«Несколько лет меня зовут в Москву, а я категорически отказываюсь. Считаю, что в Томске условия для научной работы лучше, творить науку здесь более благоприятно, чем в Москве...»³⁶.

Но вместе с тем... И дальше громко, с трибуны стал говорить о том, что полагалось обсуждать шепотом. Да и то в кругу близких людей – за плотно закрытой дверью.

Секретарь обкома товарищ Семин, услышав такое, нахмурил брови и недовольно заерзал. Но перебивать не стал: сам же вызвал ученых на открытость. Раскрыв блокнот, взялся записывать «критические замечания».

Карандаш резво побежал по бумаге: замечаний оказалось много.

В протокол совещания они все вошли, а вот отчет, который следом направили в Москву, имел вид вполне благонадежного документа: одобряем и поддерживаем.

* * *

Война вызвала, как говорили, приток свежих научных сил. Эвакуация дала Томску много блестящих ученых.

Первое время они приходили в себя, осматривались и вживались. Потом брались за работу. Москвичи, ленинградцы, киевляне вели здесь исследования. Писали статьи, монографии, книги.

Академик Белецкий и профессор Каган читали филологам лекции, на которые приходили из других факультетов. Профессор Самарин, крупнейший знаток зарубежной литературы, читал лекции в двух городах: полмесяца в Томске, полмесяца в Новосибирске.

Историки ловили каждое слово профессора Хейфец, трепетно внимали профессору Ярошевскому. С почтением взирали на доцента Гессена: под руководством приезжего историка *«готовились курсовые и дипломные работы по отдельным проблемам истории Томска»*³⁷.

То были выдающиеся ученые!

Профессор Каган в совершенстве владел несколькими языками, читал в подлиннике Шекспира, Стендаля и Гёте. Преподавал прежде в ведущих вузах страны и *«состоял консультантом ряда наркоматов»*³⁸. А в Томске возглавил университетскую кафедру классической филологии.

Автор учебника по всемирной истории профессор Хейфец заведовала в университете кафедрой новой истории. Ее исследования по французской революции высоко ставил академик Тарле. В Томске она продолжила исследования, *«занимаясь в богатейших фондах Научной библиотеки»*³⁹.

Институт инженеров железнодорожного транспорта тоже принял известных ученых. Работали там московские профессора Андреев, Китаев, Азбукин, профессора Ленинградской академии связи Зелингер и Малышев.

По их учебникам томичи учились, *«имея счастье слушать их лекции»*⁴⁰.

В мединституте преподавал крупнейший биохимик Браунштейн. Он работал в госпиталях и *«изучал влияние пищевого режима на обезвреживание в организме ядов»*. После войны написал ряд крупных работ, получил Ленинскую премию, был избран в члены Академии наук США⁴¹.

Там же, в мединституте, работал автор учебника по биохимии профессор Капланский. Он эвакуировался из Москвы, будучи замдиректора Всесоюзного института экспериментальной медицины, и продолжил изыскания. Как и биохимик Кашевник, который стал доктором наук в Томске, защитившись в сорок втором⁴²...

Но не всех, увы, встречали фанфарами. Не всем давали возможность нормально работать.

«Надо помнить, - говорили, - что враги пытаются заслат в тыл шпионов и диверсантов, поэтому бдительность сейчас должны быть острее. Надо насторожиться к эвакуированным немцам...»⁴³.

Да и не только к ним.

Показательна судьба профессора Ширвиндта. Консультант Наркомата просвещения и профессор Московского автомеханического института до войны был больше известен, как замдиректора Третьяковской галереи и редактор Совкино.

В Томск профессор приехал в июле сорок первого, а через два месяца предстал перед университетским партийным бюро: почему, заболев, ушел с партактива, ведь там выступал секретарь горкома? Надо разобраться, политическая это близорукость... или что-то похуже⁴⁴.

Через год профессора, завкафедрой марксизма-ленинизма, вновь взяли «на карандаш», он оказался в числе отстающих научных работников⁴⁵. А в конце войны, вернее, через две недели после победы, Ширвиндта арестовали «за клеветнические измышления» и осудили на десять лет лагерей⁴⁶.

Та же участь постигла профессора Хейфец. С той разницей, что арестовали ее не в Томске, а в Москве, куда она вернулась в сорок четвертом и стала работать в Институте истории Академии наук. Взяли ее «за антисоветские высказывания» почти одновременно с профессором Ширвиндтом⁴⁷.

В июне сорок второго рассматривалось персональное дело Друзь, бывшего сотрудника Московского пединститута. Когда-то давно его исключили из партии: не донес на друга, отец которого до революции имел торговлю. В университете это вызвало подозрение: что за человек, как попал в эвакуацию?

Да как многие, сказал Друзь: был в ополчении, просился на фронт – не пустили. Вместо этого велели выехать в Томск. Ну, хорошо, ответили, а где доказательства? Одной справки, что на руках, маловато.

Получить ответ на запрос в войну было сложно. Но москвичу повезло: пришла бумага, заверенная Наркомпросом и подтверждавшая его рассказ. Друзь остался на свободе. Но в покое его не оставили, продолжали «присматриваться»⁴⁸.

Да, товарищи, «вопрос о бдительности в тыловой обстановке имеет первостепенное значение!...»⁴⁹.

В сорок четвертом бдительные органы вскрыли «преступную группу студентов».

«Пользуясь слабой политической работой среди молодежи, они на протяжении ряда лет вели антисоветскую агитацию пораженческого характера, клеветали на Советскую власть и руководителей партии». И даже – страшно подумать! – «высказывали террористические угрозы...»⁵⁰.

Входили в группу учащиеся трех томских вузов, а организатором был немец Зилинг, студент Института железнодорожного транспорта. Молодые

люди, забыв об осторожности, читали «преступные» стихи и обсуждали политические темы. За что и поплатились – другой вины за ними не было.

Но тридцать седьмой миновал, сажать за разговоры уже как-то «стеснялись». Друзей представили злейшей бандой, которая «готовила оружие и взрывчатые вещества», чтоб убивать, терзать, взрывать мирных граждан.

Ссылный немец Винтер рисовал антифашистские карикатуры для одной из стенных газет. И снова скандал: кто допустил! Скульптор Азгур, народный художник Белоруссии, писавший портрет товарища Сталина, хотел, было, заступиться: талант Винтера «может принести пользу народу». Но вмешательство знаменитости, видно, не спасло ссылного от репрессий⁵¹.

По мере того, как явных врагов, фашистских агрессоров, теснили на Запад, мнимых врагов, профессоров и студентов, почему-то всё больше находили в глубоком тылу.

В сорок четвертом началась «охота на ведьм».

Профессор Кучин, которого представили к правительственной награде, не только не получил медаль, но чуть было не поплатился свободой. Вспомнили, что в молодости он стоял на меньшевистских позициях. И вроде бы продолжал держаться чуждых взглядов.

«В антисоветском духе отражал характер советского государства... заявлял об отсутствии в СССР демократии... С враждебных позиций истолковывал положение трудящихся и, проявляя себя сторонником буржуазной демократии... восхвалял известную антисоветскую речь Черчилля, произнесенную в Фултоне...»⁵².

Попал под подозрение и директор мукомольно-элеваторного техникума Иванов.

В детстве он «неосторожно» жил в Харбине и окончил там гимназию. Приехав в советскую страну, «имел подозрительные связи с харбинцами, получал оттуда посылки», а брат его, служащий КВЖД, перед войной был арестован за «связь с японской разведкой»⁵³.

И такому человеку доверили техникум!

Сгустились тучи над головой Кугеля: несмотря на «тяжкое» бундовское прошлое, он продолжал заведовать кафедрой. Был даже лектором обкома и университета марксизма-ленинизма⁵⁴.

Через четыре года после войны Кугель защитил докторскую диссертацию, а еще через три года, в разгар борьбы с «космополитами», был арестован и попал в лагерь...

Когда война завершилась, томский обком потребовал сведений о «засоренности учреждений и вузов антисоветским элементом». Собрали данные и ужаснулись! В тихом вузовском городе работают почти две тысячи политически неблагонадежных⁵⁵. Выходцы из семей спецпереселенцев и люди, имевшие родственников за границей. Дети «врагов народа» и те, кто жил на оккупированной территории.

Сколько врагов-то кругом, сколько врагов!

Профессор Гриневич, доцент Гессен, профессор Иоганзен, профессор Перельман, профессор Арнольди... Просто шагу некуда ступить, везде одни «антисоветские элементы»!

Секретарь обкома Семин даёт распоряжение:

«Считаю необходимым поручить детально разобраться со всеми преподавательскими кадрами высших учебных заведений области. Явно непригодных и не внушающих политического доверия от работы освободить...»⁵⁶.

И ученые, которые в войну занимались важнейшей работой, помогали фронту исследованиями, развивали науку, растерялись. Все ведь знали, к чему приводят разбирательства.

Теперь войну вели с ними: жестко, упорно, непримиримо. Для многих это обернулось настоящей трагедией.

Δ

ПОРТРЕТ ПОЭТА: АНТОКОЛЬСКИЙ

Поэзия и театр. Мир волнующих образов и мир возвышенных чувств. Две страсти, которые захватили Павла Антокольского с юности, овладели его умом и сердцем, опутали. Околдовали душу.

Все долгие годы творчества магическая, колдовская сила искусства безраздельно властвовала над учеником Вахтангова, над поэтом, которого при жизни называли классиком, изучали в школе и включали в академические энциклопедии.

Поэт отстаивал право на «волшебство», писал:

«До тех пор, пока художник... не поймет и не решит окончательно, что он волшебник и обязан быть волшебником... до тех пор он вообще не художник. Всеми доступными ему средствами – языком, ритмом, образами – он должен уметь колдовать... очаровывать людей, брать их в плен, вести по своей воле, куда угодно...»¹.

Антокольскому это удавалось без всяких усилий, он был, по собственному выражению, настоящим «ловцом душ». Театр и поэзия переплелись в его творчестве, создав художественный сплав потрясающей силы. Под светом двух этих звезд писал он лучшие свои вещи, в которых ощущалась Эпоха.

Да здравствует Время! Да здравствует путь!
Рискуй. Не робей. Нерасчетливым будь!

Да, «его поэзия была театральной, полной сценических эффектов»², и в то же время удивительно поэтичной оставалась драматургия – пьесы в стихах, поставленные в студии Вахтангова. Сама его жизнь, полная драматургически эффектных сюжетов, была возвышенно поэтична, окрашена романтической страстью и подлинными, искренними чувствами. Радостью и горем, состраданием и восторгом.

Он жил, как творил, сохраняя цельность и оставаясь верным своим убеждениям – по-другому не умел.

Я остаюсь на боевом посту,
Полна восторга иль презренья,
Слепа иль дальнозорка – я расту,
Но не меняю точку зренья.

Сознавая особенность своего дарования, Павел Григорьевич писал, что для него «Поэзия с Театром навсегда обвенчаны». Понимали и чувствовали это все, кто его окружал. Даже люди, оказавшиеся рядом с мастером на короткое время, попадали под обаяние его личности, оказывались под влиянием его «волшебства».

Довелось ощутить это любителям поэзии и театра из Томска, где Антокольский жил и работал несколько послевоенных месяцев, «оставив в истории томской культуры заметный след»³.

Пребывание в Томске Антокольского многие почему-то связывают с некими тяжкими обстоятельствами его насыщенной событиями жизни. Полагают, что известный поэт находился в изгнании, пребывал в опале.

Такое объяснение правдоподобно, ведь именно здесь отбывал ссылку драматург Эрдман, здесь был казнен философ с мировым именем Шпет. Здесь закончились дни политического ссыльного Клюева, поэта и друга Есенина.

Печальный список можно продолжить, вписав десяток других значимых для искусства и науки фамилий, но... «апостол советской литературы», не имел к нему отношения. При всех «неровностях» судьбы и творческого пути он никогда не оказывался под ударом властей.

Что, впрочем, ничуть не снижало его литературный вес и значение.

* * *

В Томск поэт приехал в качестве художественного руководителя Горьковского театра, из которого потом в результате слияний и реформ был создан Томский областной драматический театр. Приехал вместе с женой, актрисой Зоей Бажановой, едва ли не в первые мирные дни сорок пятого года.

Горьковский театр имени Чкалова вырос из «кочевого» колхозного театра, который возник на строительстве Волжского автомобильного завода, *«первого гиганта первой пятилетки»*, за десять лет до войны. Его актерами были строители и рабочие, организовавшие трудовую коммуну, а первыми настоящими учителями оказались вахтанговцы.

В 1934 году Московский театр имени Вахтангова, в духе времени, взял шефство над самодеятельным коллективом Театра рабочей молодежи. Молодым артистам посчастливилось учиться у таких мастеров, как Шихматов, Синельникова, Алексеева. Корифеи сцены Захава и Щукин читали лекции по режиссерскому и актерскому ремеслу.

Некоторое время руководил театром драматург, режиссер и поэт Масс, которого за *«контрреволюционные произведения»* вскоре арестовали вместе с Эрдманом и отправили в ссылку.

Но главными учителями и наставниками молодого коллектива стали Антокольский и Бажанова – режиссер Вахтанговского театра и актриса, педагог училища имени Щукина.

«Мы трепетали. Ничего еще не успевшие повидать, прочитавшие мало книг – зеленые, необученные артисты. И вот к нам едут москвичи, ученики легендарного Вахтангова», - вспоминал о первой встрече заслуженный артист России Теодор Лондон.

«Столичные деятели прославленного театра должны были выгладеть солидно, основательно. А из вагона вышла худенькая, маленькая женщина, почти девочка... Зоя Константиновна Бажанова. За ней двигалось уж совсем непонятное существо в платочке, завязанном по-деревенски, с кошелками в руках... И последним появился в дверях вагона небольшого роста мужчина, тоже одетый далеко не эффектно... его черные, живые глаза неизвестно кому лукаво подмигивали.

Единственное, что как-то обнадеживало, - роскошная, причудливой формы трубка в зубах у этого обычного мужчины. Из трубки шел головокружительный, столичный аромат табака «Золотое руно»...»⁴.

Таким десять с лишним лет спустя увидели поэта и режиссера и томичи.

Антокольский сотрудничал с коллективом, получившим признание, долгие годы. Благодаря ему театр осуществил *«много больших и сложных постановок, пользовавшихся любовью и признанием зрителей»*⁵. Спектакли «Женитьба Фигаро» и «Виндзорские проказницы», поставленные Антокольским, проходили с аншлагом.

Театр оставался верным традициям русской сцены, «пытался реализовать принципы, завещанные Евгением Багратионовичем Вахтанговым, основа которых – правдивое изображение жизни, сочетающееся с театральной яркостью в средствах выражения»⁶.

Горьковский театр блистал на фестивалях, имел доброжелательную прессу, росло мастерство артистов. Но *«началась война. Театр автозаводцев стал фронтовым театром. И снова вместе со своими учениками – Павел Григорьевич и Зоя Константиновна»*⁷.

Война... В январе 42-го поэт пишет дочери и первой жене Наталье Николаевне в Ташкент:

«О своей московской жизни писать мне пока нечего. Она нелегка, но удивительно радостна и полна. Уже два раза выступал по радио... может быть, предстоит назначение на фронт, во фронтовую или армейскую газету – вещь почетная и необходимая. Поеду – ближе к боям, к великой истории».

И дальше: «Зоя будет работать в бригаде оставшихся вахтанговцев»⁸. Театр Вахтангова эвакуировали в Омск, «у нас было оттуда несколько вызовов на работу», продолжает Антокольский, но «мы удержались от Омска так же, как от Ташкента: чтобы по возможности быть ближе к Москве... Для меня Омск и Ташкент были равносильны сдаче. Ни за что!»⁹.

В «Москве фронтовой» есть пронзительные, говорящие о том же строки:

И вот враги подкрались издалече,
Чтоб онемечить, насмерть искалечив
Твое прекрасное лицо,
И тыкались их волчьи морды в пене,
И лязгали клыками в нетерпенье,
Сдвигаясь в тесное кольцо.
Такой тебя запомню навсегда я:
Прифронтовая, грозная, седая,
Завьюженная до бровей...

Сделав выбор, поэт ищет применение своим творческим силам. В марте того же 42-го года наконец сообщает:

«Мы оба, Зоя и я, присоединились к нашим горьковчанам, к театру, путешествуем со спектаклями к концертам вокруг Москвы... мечтаем быть ближе к фронту»⁹.

Поэту нравилось, что ученики его оказались «*в центре внимания и хорошего отношения к себе со стороны... авторитетных организаций*», что их «*спектакли, концерты отлично принимаются бойцами везде и всюду*»¹⁰.

Театр колесил по фронтовым дорогам, и вместе с ним вел походную изнурительную жизнь немолодой сорокашестилетний поэт, лишь однажды позволивший себе обронить в письме, как сильно устал и постарел. Но это была усталость довольного собой человека, неприхотливого и легкого на подъем.

Все-таки лучшее слово на свете – дорога,
Честная, жесткая дружба с пространством земли...

Когда летом пришла черная весть о гибели сына, поэт почти сразу начал работу над поэмой: «*дать сыну вторую – на этот раз вечную жизнь – могло*

*только творчество»*¹¹. Продолжая поездку по фронтовым городам Подмосковья, Антокольский использует каждую свободную минуту, чтобы завершить главное теперь для себя дело.

«Ночуя в землянках и опустевших, полуразрушенных избах, когда усталые актеры вповалку спали мертвым сном, Антокольский писал свою поэму. Ее нельзя было не написать. Возвращаясь в Москву, он вез с собой восемь глав из задуманных десяти...»¹².

И только по щеке, в дыму махорки
Ползет скупая, трудная слеза,
Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза...

Насколько тяжела была утрата, как велика отцовская боль, понять и почувствовать можно из писем, которые опубликовал фронтовой друг восемнадцатилетнего младшего лейтенанта Владимира Антокольского.

«Пожалей, береги себя. Не только физически. И нравственно тоже, - просил отец. - Ты знаешь, как бесконечно дорог ты мне. Ты моя гордость... я всегда и всюду уверен в тебе, в твоём благородстве, в твоём сильном характере». И заканчивал словами: «Родной мой, любимый мальчик, обнимаю тебя и желаю здоровья, бодрости, успеха...»¹³.

Убитый в первом бою, сын поэта, по выражению Юрия Нагибина, *«шагнул в бессмертную поэму отца»*, которую *«носили в вещмешках и сумках... читали в землянках при свете самодельных светильников, в госпиталях... учили наизусть и твердили про себя в окопной бессоннице»*¹⁴.

Вероятно, сознавая, как важны выстраданные им слова тем, кто потерял на войне близких, Антокольский читал поэму «Сын» где мог, и читал превосходно. Хотя не все понимали и оправдывали его желание продлить отцовскую боль, высказывая сокровенное.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

В «актерском» чтении поэмы некоторым виделась нарочитость, холодность, даже равнодушие к памяти близкого человека. Тем более, что Антокольский *«читал стихи необыкновенно»*, мастерски, *«магнетизм его голоса и высокий артистизм»* подкупали всех, кто слышал его страстный голос¹⁵.

И в Томске выступление Антокольского вызвало, судя по всему, неоднозначную оценку, хотя немногие рассуждали о душевном состоянии поэта. Отрывки из поэмы «Сын» он читал со сцены Томского драмтеатра, предвзято собственную постановку, летом победного сорок пятого года.

...Ну, так дойди до белого каленя,
Испепелись и пепел свой развей,
Стань кровью молодого поколенья,
Любовью всех отцов и сыновей.
Ты не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть.
Вся жизнь моя, вся боль моя – к оружию!
Всё видеть. Всё сказать. Всё перенести...

* * *

В годы войны Томск стал местом эвакуации крупных заводов, принял известные художественные коллективы.

Здесь давал концерты старейший камерный ансамбль страны – квартет Глазунова, а Ленинградский симфонический оркестр под управлением Мравинского исполнил Шестую симфонию Чайковского и Седьмую симфонию Бетховена. Перед томичами выступал легендарный пианист Флиер, за год до этого игравший в осажденном Ленинграде.

С томской сцены звучали мелодии в исполнении джаз-оркестра Утесова. Свои «психологические опыты» показывал сибирякам знаменитый Вольф Мессинг, а прославленный скульптор и портретист Заир Азгур продолжал в сибирской глуши работу над «галереей монументальных образов».

Сюда же были эвакуированы два национальных театра, ставших впоследствии академическими, украинский имени Шевченко и белорусский имени Янки Купала.

Белорусы работали в Томске три года, восстановив 11 прежних и создав 14 новых постановок. Чтобы предоставить им место, томский театр Луначарского в полном составе перевели в Кемерово. Затем, посла отъезда «гостей», томичи возвратились.

«Казалось бы, по логике, на освободившуюся сцену должен был вернуться Томский театр, - вспоминал старейший его работник Сергей Королев. - Но произошло другое. На смену белорусам в Томск прибыл, проработавший три с половиной года в действующей армии, драматический театр имени Чкалова... Возглавлял его актер, режиссер и поэт Павел Антокольский...»¹⁶.

Любопытная деталь: почти год после отъезда минчан в Томске работал Нарымский окружной театр, выступавший во время войны на Севере. Художественным руководителем коллектива был актер Ленинградского театра имени Пушкина Меркурьев, ставший впоследствии звездой экрана. А режиссером работала его жена, дочь великого Мейерхольда¹⁷.

Ко времени перевода театра в Томск оба они возвратились в Москву, и труппа, судя по всему, потеряла перспективу. Определенную роль, возможно, сыграло и то, что среди «нарымчан» были «политически неблагонадеж-

ные», которых могли как-то терпеть на Севере, но никак не в крупном вузовском городе.

Как бы там ни было, не театр Меркурьева стал основой Томского драматического театра, а приезжий фронтальной коллектив. Театр Павла Антокольского.

Горьковчане привезли несколько спектаклей, в репертуаре их значились пьесы «На дне», «Давным-давно», «Лес», «Сады цветут» и «Женитьба Фигаро». Сразу по приезду Антокольский выступил в газете с программным заявлением, обещая *«установить живой контакт с новой аудиторией рабочих... интеллигенцией города, со студенческой молодежью»*¹⁸.

И это удалось. Томичи приняли театр доброжелательно, зал во время спектаклей был всегда полон. За два месяца горьковчане дали 46 спектаклей, которые посмотрели около 50-ти тысяч зрителей.

Выступали в госпиталях и колхозах, «обслуживая» посевную кампанию. В пионерских лагерях и санаториях. Летом, когда помещение театра закрыли на ремонт, артистам дали мало подходящую сцену клуба, где они стали готовить три новых постановки.

Первый послевоенный театральный сезон, по предложению Антокольского, решили открыть шекспировской пьесой о любви, пьесой Симонова «Так и будет» и «Свадьбой Кречинского» Сухово-Кобылина. «Ромео и Джульетта» в собственном переводе ставил Антокольский – это была единственная постановка бессмертной трагедии за всю историю томского театра.

Пытаясь объяснить выбор, показать, как современна шекспировская пьеса, поэт писал, обращаясь к зрителю:

«Трагедия говорит о том, что беззаветная любовь и беззаветная ненависть всегда героичны. Ради любви и верности друг другу Ромео и Джульетта вызывают на бой всё общество, весь строй жизни, все силы неба и земли... Вот почему они оба близки нашей молодежи». И дальше: «Этот спектакль мы посвящаем нашей молодежи, славной, трудоспособной, героической молодежи, которая умеет беззаветно любить и беззаветно бороться за то, что она любит...»¹⁹.

Много лет спустя в стихотворении, посвященном Теодору Лондону, который сыграл Ромео, поэт напишет:

Пошла репетиция. Дверь на запор.
Свершается пиршество наше.
Вас двое влюбленных, и вы до сих пор
Не венчаны в келье монашьей.

Джульетта твоя молода и нежна,
Свисают шпалерами розы.
Но горе – невольно уснула она
В смертельных объятиях прозы...

К спектаклю Бомарше «Женитьба Фигаро», который на томской сцене поставили Зоя Бажанова и Теодор Лондон, текст песен написал автор поэмы «Сын». На премьере «Ромео и Джульетта» Антокольский прочел, как повелось, несколько глав из сокровенной поэмы.

«Читал он с большим эмоциональным накалом, его голос с хрипотцой, необычайная напористость усиливали напряжение в зале, веяло трагичностью», - находим в воспоминаниях. – Антокольский...был крепкого сложения, невысокий, с большой лысиной не по возрасту. Лицо выразительное, живое, необычайно подвижен, постоянно жестикулирует...»²⁰.

Таким запомнился томичам поэт Павел Антокольский: моложавый и бодрый, несмотря на свои сорок девять. Очень доброжелательный, доступный и изысканно вежливый.

Зная его пристрастие к книгам, можно предположить, что поэт не отказал себе в удовольствии побывать на книжных развалах Томска: из каждой командировки привозил один, а то и несколько драгоценных томиков. По крайней мере, главное книгохранилище города, Научную библиотеку университета, Антокольский, известно, посещал не раз.

Содействие в поисках нужной ему литературы оказывала директор библиотеки Наумова-Широких, выпускница Бестужевских курсов и дочь известного сибирского писателя Николая Наумова. Позже поэт посвятил ей одно из стихотворений, вошедших в сборник «Десять лет».

Известно также, что Антокольский встречался с творческой интеллигенцией Томска. Беседовал на близкие темы: поэзия, театр, искусство. Рассказывал о великих современниках – Вахтангове, Брюсове, Блоке, которые оказали на него сильнейшее влияние. Читал стихи.

Говорить о себе и своих корнях не любил, уводил разговор в сторону. Избегал упоминать об отце, считая его «неудачным адвокатом», который «вечно носился с какими-то планами переустройства... судьбы»²¹. Обходил молчанием знаменитого деда, скульптора Мордухая Антокольского, чьи работы попали в ведущие музеи Европы и произвели большое впечатление на Стасова, Репина, Тургенева, Гаршина, Мусоргского и Александра II.

Как поэт «новой формации», не отягощенный влиянием «старорежимных» традиций, в духе времени, Антокольский полагал, что всего в жизни добился сам и обязан успехом себе да своему героическому времени.

Переживания об «утраченном родстве» охватили его только на склоне лет.

Как это ни печально, я не знаю
Ни прадеда, ни деда своего.
Меж нами связь нарушена сквозная,
Само собой оборвалось родство.

Подобно Эренбургу, поэт ощущал себя космополитом, человеком европейской культуры, был тонким ценителем французской литературы и, как Эренбург, страстно любил Париж. Тот и другой побывали на фронте в качестве армейских корреспондентов, и там, на фронте, впервые задумались о сопричастности к гонимому еврейскому народу, написав полные боли строки.

Правда, в военной лирике Антокольского «еврейская» тема прозвучала лишь единожды, в стихотворении о старухе, ищущей погибших сыновей.

Извините меня, я глуха и слепа,
Может быть, среди польских равнин,
Может быть, эти сломанные черепа –
Мой Иосиф и мой Вениамин...
Ведь у вас под ногами не щебень хрустел.
Эта черная, жирная пыль –
Это прах человеческих обугленных тел, -
Так сказала старуха Рахиль.

Считая, что «*поэзия лгать не вправе*», Антокольский не шел наперекор совести, не лукавил в стихах и не скрывал убеждений. Только о личном, глубоко пережитом писал талантливо, по-настоящему вдохновенно, а вот о том, что следовало подавать, как личное, оставил холодные, «правильные» произведения.

Сам был недоволен поэмой «Тысяча восемьсот сорок восьмой», посвященной столетию Манифеста коммунистической партии, а выстраданной поэме о погибшем сыне, «*полуеврее-полурусском*», относился с особым трепетом. Читал взволнованно и торжественно, как присягу.

Как клятву памяти родному человеку.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда,
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Через несколько месяцев после того, в Томске смолк голос поэта, читавшего строки о сыне, пришло известие о награждении Антокольского Сталинской премией.

В список награжденных, кроме него, попали пианист Эмиль Гилельс, профессор консерватории Самуил Фейнберг, актриса Дебора Нечецкая, портретист Заир Азгур, композитор Исаак Любан, оператор Вульф Цитрон, режиссер Юлий Райзман. Сталинскую премию получили в тот год кинематографисты Сергей Эйзенштейн и Софья Бирман, Марк Донской, Фридрих Эрмлер, Вульф Рапопорт. Художественный руководитель Ленинградского театра оперы и балета Борис Хайкин и другие деятели искусства²².

Имя автора поэмы «Сын» помещено было в одном ряду с такими выдающимися обладателями награды, как Михаил Лозинский и Самуил Маршак. Его причастность к «кругу избранных» сомнений не вызывала – у томичей тоже.

Непонятно было другое, почему пребывание в Томске поэта и режиссера оказалось столь коротким.

* * *

Антокольский был противоречивой фигурой. Его импульсивность, максимализм в оценках бросались в глаза – как и удивительная незащищенность, «детскость» поэта.

«Деду была чужда и непосильна всякая формальность, сдержанность и дипломатия, – писал внук Павла Григорьевича. – Он совершенно не умел намекать или издеваться, мог обманывать только себя, но никогда не других. Он успешно задирает друзей, но терялся перед лицом подлинного зла... «Игра в грубость» в творчестве смешно контрастировала с беззащитностью деда в реальной жизни...»²³.

Возможно, тут-то, в этих чертах характера и следует усматривать причину поспешного, похожего на бегство, отъезда из Томска. Ведь, судя по заявлениям в печати, Антокольский поначалу имел другие намерения. Более основательно связывал свои планы с судьбой горьковского театра.

В июле сорок пятого, «воодушевленные присвоением вождю народов звания *Генералиссимуса*», томские актеры принимают обязательства. После обещаний «*единодушно сплотиться*» и «*не жалея сил, служить великим пропагандистским задачам*», коллектив обязался «*приложить все силы к выпуску в срок намеченных премьер: «Ромео и Джульетта», «Так и будет», «Свадьба Кречинского*»²⁴.

Три новых и четыре восстановленных спектакля, предложенных художественным руководителем Антокольским, составили репертуар первого сезона. Среди старых спектаклей особым успехом у зрителей пользовался «Лес» в постановке Антокольского, но на томской сцене «*жемчужина драматургии Островского*» не прижилась.

И вообще то, что легко проходило раньше, в Томске вызвало недовольство людей, отвечавших за искусство. Репертуар театра сильно изменился. Не устоялся он вплоть до 1947 года, на что прямо указывают документы.

«С современными пьесами дело обстоит очень плохо, – читаем в протоколах партийной группы. – Театр не удовлетворяет томского зрителя, особенно студенческую молодежь. Упрочить театр можно только сменой художественного руководства, подбором квалифицированных артистов и чисткой театра от непригодных лиц...»²⁵.

Ко времени, когда прозвучали эти слова, Антокольский в театре не работал – преемником его стал Доннати. Откуда он прибыл, неизвестно, но *«был поставлен в такие рамки, увидел такое отношение, что перестал ходить в театр, а затем совсем уехал»*²⁶.

Его сменил Смирнов, который поставил для томичей «Молодую гвардию» и «За тех, кто в море». Но *«отношение к нему стало такое же»*²⁷. В 1947 году продолжалось *«переформирование коллектива, был взят курс на усиление актерского состава, поднятие культуры спектаклей»*.

В театре, говорили, *«не оказалось полноценной советской пьесы, разрабатывающей тему нашей современности, только легкие французские пьесы и русская классика...»*²⁸.

Очевидно, тем же попрекали и Антокольского, который отстаивал творческую самостоятельность, болезненно, как всякий поэт, реагировал на вмешательство в творческий процесс.

*«Когда-то давно Антокольский вольно или невольно провел пограничную черту между тем, где он профессионал и абсолютно правдив и требователен... и тем, что вне его компетенции и где он – легковверный протак, видящий всё и всех с показываемой стороны...»*²⁹.

Того же профессионализма он ждал, естественно, от других и огорчался, обманываясь в ожиданиях. Он остро переживал несправедливость к себе, но еще мучительнее – незаслуженные обиды в отношении труппы, у которой почти сразу начались проблемы.

Связаны они были, по всей вероятности, с тем, что горьковчане, в отличие от томичей, были требовательнее к себе и театру, а главное, позволяли себе открыто выражать мнение. Что не нравилось, прежде всего, директору театра Иванову, его заместителю Басманову и парторгу Горбатенко.

*«Перестройка театра проходит болезненно, потому что у него не оказалось хорошего репертуара, - читаем в архивных документах. – Тенденция «горьковской группы» существует и по сей день. Деление на «варягов» и «славян» еще бытует, а разговоры, дискредитирующие руководство театра, продолжают идти в коллективе и вне его...»*³⁰.

Есть вещи, которые трудно простить и забыть.

Много разного вмерзло в память,
Словно мамонт в полярный лед...

На собрании, где в январе 47-го громили театральную *«групповщину»*, присутствовал секретарь райкома Новиков. Наверное, его призыв *«кончить одним ударом»* с людьми, которые многое себе позволяли, возымел-таки действие: в протоколах следующих лет нет ни намека на «оппозицию».

Зато сетования на безудержное пьянство оставшихся после «чистки» артистов, недостойное поведение в быту и низкую квалификацию обнаружить не трудно.

«С конца сороковых, - замечали наблюдатели, - прошло очень много времени, и перемены в жизни страны оказались просто разительны, однако Томская драма переживала полосу затяжного кризиса, начавшуюся года через три после войны и лишь изредка перемежаемую отдельными яркими вспышками...»³¹.

Выходит, стремительный, похожий на бегство, отъезд поэта из Томска, был предопределен. Антокольский видел или, вернее всего, чувствовал, что тут ему не ужиться. Хотя, если смотреть со стороны, повода бросать коллектив, отказываться от намерения «завоевать доверие и любовь томского зрителя» у него вроде не было.

Антокольский уехал, не успев нажать ни врагов, ни друзей. А вот урок да, получил, урок губительной вкусовщины. Извечный вопрос «быть или не быть» собою поэт решил однозначно.

Гамлет, старый товарищ,
Ты жил без гроша,
Но тебя не состаришь,
Не меркла душа,
Не лгала, не молчала,
Не льстила врагу.
Начинай сначала!
А я помогу...

Проявлением «драматургических» обстоятельств проникнута вся жизнь режиссера и лирика. Не всегда выходил он из них победителем, однако «не льстит врагу» умел. Не только в стихах, но и в судьбе поэта видно сочетание «лиризма и театральной приподнятости, романтизма и гротеска».

Казавшись «кусками монолога еще не написанной трагедии»³², они, эти стихи, встраивались в самостоятельную поэму о человеке, который имел право сказать:

Строящий, стареющий, сгорающий,
Жил я, как цари и мастера!³³



ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА: МЕДЛИН

Его скрипка творила чудеса. Заставляла плакать и смеяться, радоваться и огорчаться.

Казалось, в её крохотном теле заключена была живая душа. Словно инструмент существовал отдельно от человека, сам по себе, но имел на него влияние.

Так, по воспоминаниям старых томичей, играл Яков Медлин.

Педагог, музыковед, непревзойденный скрипач. Музыкант, которому аплодировали Париж и Берлин. Один из создателей Сибирской народной консерватории. Первая скрипка в известном на всю Сибирь симфоническом оркестре Моисея Маломета.

«Медлин был прекрасным педагогом, человеком большой души, – вспоминал его ученик Виктор Цыбенко. – Занимался он с нами беззаветно. Медлин считал, что не только музыкальный слух воспитывает музыканта. Нужна и общая высокая культура, нравственность...»¹.

Выпускник Варшавской консерватории и сам обладал такой культурой, а порядочность Медлина, щепетильность в вопросах чести была известна всем, кто его знал.

Музыка, внушал ученикам Яков Соломонович, не подвластна грубому административному вмешательству. Мир звуков, говорил он, вне политики. Гармония не терпит директивных инструкций. Нет ничего более далекого от повседневной суеты и общественных интересов, чем музыка.

Но думать так было непозволительно.

Ну-ка, откройте-ка сталинскую энциклопедию: музыка, сказано там, играет огромную социальную роль. Историческое ее развитие подчинено законам социального развития. А передовые музыканты и композиторы связаны с прогрессивными общественными движениями.

Яков Медлин к прогрессивным движениям отношения не имел – как не был связан и с силами противоположного свойства. Всю жизнь он играл на скрипке и учил других. Но советская власть почему-то очень хотела, чтобы он этого не делал.

И она его расстреляла...

* * *

Кто-то сказал: порядочные люди служат превосходной мишенью для несчастий. Им всегда достаётся – за дело и без.

Медлина судьба тоже не очень-то баловала. Но в целом из житейских передряг он выходил невредимым, пережив погромы, революцию, гражданскую войну, разруху и голод. Судьба оберегала его до самой старости, до шестидесяти шести лет.

А в июле тридцать седьмого подписала приговор рукой начальника третьего отделения Томского НКВД лейтенанта госбезопасности Романова, выдавшего орден на арест.

Поздней ночью 19 июля в доме №6 по Нечевскому переулку раздался настойчивый стук. Дверь открыла жена Медлина, преподававшая в пединституте. Трое в форме стремительно вошли в квартиру, за их спинами топтались понятия.

Начался обыск.

Что, собственно, искали сосредоточенные хмурые люди, не знали, должно быть, они сами. Но действовали энергично, в считанные минуты перевернув вверх дном всю квартиру.

Яков Соломонович, потерянный и бледный, стоял здесь же и с ужасом наблюдал за происходившим, понимая, что это конец. Он видел, как забрали письма и некоторые документы. Растерянно подумал: «Зачем им профсоюзный билет?». Но если абсурдным было общее действие, частности, даже самые нелепые, уже не имели значения.

Приказано было взять кое-какие вещи и следовать за теми, кто совершал обыск. Медлин поцеловал страшно напуганного одиннадцатилетнего сына, обнял плачущую жену и вышел.

Последнее, что запомнил, покидая свой дом, – нотные листы, по которым властно ступали сапоги чекистов. На белых разлинованных страницах, хранивших Бетховенскую сонату, а может, прелюдию Шуберта, отпечатались грязные следы...

Полмесяца Медлин провел в переполненной камере городского НКВД.

Каждый день несколько человек уводили на допрос – иные не возвращались. Каждый день прибывали свежие люди – такие же убитые несчастьем, ничего не понимавшие, как он сам.

Время шло, а о нём будто забыли.

Но здесь, в этих стенах, никого и ничто не забывали – Медлин скоро убедился. Первый допрос состоялся 7 августа, вел его Часовских, уполномоченный госбезопасности.

Исхудавшего, немощного музыканта, назвали обвиняемым, усадили на стул. Медлин, хоть и не был юридически грамотен, всё же знал, что до решения суда задержанные считались подозреваемыми. Но спорить не стал. Если назвали обвиняемым, значит уже доказали вину – возражать не было смысла.

Вопросы – прямые и четкие. Отвечать надлежало так же, прямо и честно, ничего не утаивая от бдительной, но справедливой, самой гуманной власти.

И Медлин, тоскуя, говорил о своей жизни. Да, коренной томич, сын музыканта, почетного гражданина города. Получил классическое музыкальное образование.

Ныне директор музыкального училища. Во время событий 1905 года увлекся либеральными идеями, стал кадетом.

«Занятия при Колчаке?».

«Был директором Народной консерватории».

«Есть ли знакомые за границей?».

«В США живет мой ученик, лет десять назад он прислал письмо. Больше переписки с ним не было».

«Расскажите о брате».

«Мой брат Аарон Соломонович был осужден в 1929 году за контрреволюционную деятельность».

«Приходилось ли бывать за рубежом?».

«Да, в 1906 году для музыкальной учебы приехал в Берлин, а в 1911 году побывал в Париже...»².

Еще несколько вопросов – и у дверей незримо вырос конвоир: на выход. Снова тесная, душная камера. И мучительное ожидание участи.

Что происходило в следующие дни, об этом можно только догадываться. Но когда через девять дней в деле Медлина возник новый протокол допроса, он уже имел «уличающий» характер. Старый музыкант безропотно согласился с чудовищными обвинениями. «Осознал» вину и назвал «сообщников».

«Признаете себя виновным в том, что являлись активным участником офицерско-монархической организации, контрреволюционная деятельность которой была направлена на подготовку вооруженного свержения Советской власти?».

«Да, признаю...»³.

Несуществующей, вымышленной организации дали громкое название – «Союз спасения России».

Для чего музыканту вступать в «боевую» офицерскую группу, которая будто бы готовилась к вооруженному восстанию и свержению власти, было непонятно. Он в жизни не держал в руках ничего, кроме скрипки. И отчего представитель самого угнетенного при царизме народа примкнул вдруг к «отпетым» монархистам, тоже оставалось непонятным.

И все же Медлин «признался». Даже подтвердил, что играл в «Союзе спасения» видную роль.

«Вся эта группа собиралась у меня на квартире, где мы критиковали меры партии и правительства, высказывали свою озлобленность на Советскую власть и восхваляли монархический строй...»⁴.

Под этими словами в протоколе стояла подпись, выведенная нетвердой рукой.

Согласно «легенде», придуманной в томской Лубянке, выходило, что еще до знакомства со ссыльным князем Волконским, якобы возглавившим подпольную группу, Медлин установил *«обширные связи с бывшим офицерством и другим контрреволюционным монархическим элементом»*.

Шёл перечень участников злобной, решительной, жаждущей крови организации: священник Игнатьев, художник Голубин, ссыльный дворянин Брюлов. К ним примыкали бывшие купцы Перминов и Фуксман, оба преклонного возраста, помощник бухгалтера музыкальной школы Ордов, бывшие офицеры Муравьев и Акулов.

Дальше получалась несуразность.

Признав поначалу, что вошел в группу лишь за два года до ареста, Яков Соломонович вдруг «вспомнил», чем она занималась до тридцать третьего года, до приезда в Томск князя Волконского. Любопытны и высказывания старого, гонимого аристократа, приводимые в документе.

«Видите, как при большевиках запугано и подавлено всё население, - вещал будто бы князь. – Колхозы распадаются вследствие голода. Городское население тоже голодное и раздетое, при таком положении масса восстанет против Советской власти».

«С доводами Волконского, - следовало признание Медлина, - я соглашался, и его личное мнение разделял...»⁵.

Вовлекать в подобную организацию бывших офицеров было логично. А для чего устанавливать связь с профессурой и что проку от стариков, бывших кадетов, было совершенно не ясно.

Только ясности тут и не требовалось, вот в чём беда.

Все, кому трудно было придумать особую роль, проходили по делу как «вербовщики». Один вовлекал в организацию другого, тот третьего – и так далее. Медлина «уговорили» признаться, что он завербовал немца Гундлаха, главного администратора Томского театра, и поляка Карповича, работавшего там же.

Но этого показалось мало. Дальше музыкант сознался, что вёл антисоветские разговоры с научными работниками и профессорами. *«Клеветал на вождей партии и правительства, восхвалял монархический строй, доказывая, что при старом строе жилось лучше»*.

Организация между тем разрасталась.

Цепная реакция «добровольных» признаний увеличивала список злоумышленников. Возникали новые имена: томские профессора Иогансен, Перельман, Галахов, Светиков, ссыльный князь Ширинский-Шихматов, бывший ротмистр Левицкий-Щербина.

Создателем «Союз спасения России» был назван зарубежный белогвардейский «Общевойсковой союз».

В середине сентября, через два месяца после ареста, Медлин узнал, что следствие закончено. Обвинительное заключение было не слишком большим. На следующий день после того, как его предъявили, состоялось заседание «тройки» управления НКВД Западно-Сибирского края.

Якова Соломоновича приговорили к расстрелу, имущество его подлежало конфискации.

Пострадали и другие томские музыканты, Алексей Игнатъев и Виктор Муравьев. Пианистка Тютрюмова стала единственной, кто на митинге о признании их «врагами народа», проголосовала против обличительной резолюции. Даже поехала в Новосибирск, добиваясь смягчить их участь и не зная, что все «враги» уже были расстреляны.

А следом попала в НКВД сама. К ней применили ту же меру наказания: расстрел⁶.

* * *

Хлопотать за Медлина взялась жена.

Понимая, что происходит страшная ошибка, она решилась на отчаянный в тех условиях шаг: написала в областную прокуратуру. И подробно, обстоятельно поведала о том, каким человеком был ее муж, как много сделал для города – и всей Сибири.

«Он один из основоположников музыкального образования в Сибири, - писала Валентина Владимировна. - Он развивал музыкальную культуру Томска – города, в котором родился и где создавал кадры работников для целого ряда городов...

Сибирь хорошо знала концертную деятельность Медлина, а сибирские курорты, где лечатся и отдыхают трудящиеся, в течение многих лет обслуживались оркестром и ансамблем под его управлением...»⁷.

Один из основоположников – это верно. Так оно, без преувеличения, и было.

Музыка Медлина...

Его музыка звучала везде. Да и не только его: в старом Томске она раздавалась повсюду. В городском саду ублажал гуляющих оркестр Пожарного общества. Из музыкальных классов на Почтамтской доносились звуки сюиты, а в доме Коммерческого собрания на Магистратской раздавались мощные аккорды симфонии.

Редкий номер местных газет не обходился без уведомления о предстоящем концерте. Ну, а в то время, как благородная публика наслаждалась на музыкальном вечере Моцартом, другая, менее благородная часть общества сидела в кабаках и проливали горячие слезы над скрипичными страданиями опустившегося маэстро.

И всем было хорошо: музыка не знала границ. Ни сословных, ни имущественных. Музыка сближала, рождала общее чувство восхищения гармонией.

Но местных профессиональных исполнителей не хватало, концертировали, в основном, приезжие. Даже когда открылось отделение Императорского музыкального общества и в Томске стали часто давать симфонические концерты и оперные спектакли, недостаток хороших музыкантов ощущался.

Каждый талант, возникший на местной почве, старались терпеливо, бережно возвращать.

Одна такая восходящая звезда носила имя Яков Медлин.

«Медлин много раз играл перед томской публикой и обнаружил несомненное дарование, - сообщал «Сибирский вестник». - Хороший тон, беглость и музыкальность исполнения составляют его достоинства. Но все это не закончено, в игре Медлина нет школы. Если ему удастся исполнить заветную мечту, поступить в консерваторию... можно надеяться, что из него выйдет недюжинный скрипач...»⁸.

Заметка появилась в 1891 году, и была не единственной, где превозносили музыкальное исполнение Медлина. Ему не было и двадцати, когда сольные его концерты собирали весь цвет губернского Томска, а люди, хорошо разбиравшиеся в музыке, прочили славу незаурядного исполнителя.

На снимках тех лет юный скрипач стоит в сюртуке и нежно, как драгоценный цветок, держит в руках инструмент. И взгляд его неизъяснимо печален, словно проникает в самое будущее. Будто юным предвидел итог.

«Этот молодой человек обладает несомненным талантом, и если он будет иметь средства отправиться в Россию и поступить там в одну из консерваторий... из него может выработаться выдающийся виртуоз», - вновь и вновь пишут газеты.

«Господин Медлин – сибиряк по рождению, и родина должна помочь ему стать на ноги и развить его природное дарование...»⁹.

Виртуоз из него получился. И действительно выдающийся – таких на громадном пространстве Сибири было два-три, не больше. На деньги, собранные поклонниками его таланта, Яков поехал учиться. Поступил в Варшавскую консерваторию. Стал учеником знаменитых маэстро.

Как давно это было...

Как тяжело об этом писать, адресуя воспоминания далекому и бездушному прокурору.

«До революции Медлин устраивал благотворительные концерты и участвовал в них сам. Когда музыка была достоянием привилегированных классов, он нес музыку в массы, ряд лет систематически организовывал бесплатные музыкальные утренники в воскресной школе и публичной библиотеке Томска.

Медлин был организатором Народной консерватории, которая просуществовала в Томске под его руководством около двух лет. Потом Народная консерватория слилась с

музыкальным училищем – он перешел туда преподавателем и проработал пятнадцать лет...»¹⁰.

И продолжал выступать.

Ах, как пела его скрипка, как очаровывала, заставляла забыть обо всем на свете! Что за дивные, волшебные звуки лились из-под смычка. И как одухотворено было лицо музыканта, как тонко понимал он бессмертную музыку!

Снова снимок: зрелый Медлин, немного позируя, сидит среди исполнителей. Достоинство в позе, копна густых черных волос и важный, чуть снисходительный взгляд: человек, знавший себе цену.

Известный томский маэстро.

А вот афиша начала двадцатых: в бывшей гостинице «Россия» на Нечаевской выступает камерный коллектив под управлением Якова Медлина. В программе Скрябин, Лядов, Римский-Корсаков, Рубинштейн. Исполнители: Тютрюмова, Медлин, Ришес, Маркелова-Карсаевская, Державин, Александриди.

При поддержке Рубинштейна тридцать лет назад, в 1893 году, было открыто Томское музыкальное училище. С тех пор в томских концертных залах музыка его не смолкала.

Долгое время, почти десять лет, училище существовало в виде классов. Потом обрело статус солидного музыкального учебного заведения. Одно время называлось даже Высшей музыкальной школой Сибири. Готовили там скрипачей, пианистов, духовиков, баянистов, дирижеров.

И среди преподавателей был Медлин, которому поручили возглавить училище.

«В последние годы, при директоре Янчуке, в музыкальном училище был полный развал, - писала Валентина Владимировна. – Весной тридцать пятого Янчука сняли с работы. Директором временно был назначен Медлин...»¹¹.

Преподавал в училище патриарх музыкальной культуры Маломет, известный на всю Сибирь капельмейстер, который тоже учился в Варшаве. Вели занятия выпускницы Московской консерватории Котлеревская и Билевич. Занимались с детьми замечательные томские музыканты Ленгард и Александриди¹².

А были в коллективе и бездарности, которые ничего, кроме интриг, не умели. Зато паутину плели превосходно, угодить в нее было несложно.

Тем более тогда, в тридцать седьмом. Тем более открытому простодушному Медлину.

В уставе училища говорилось:

«На директора возлагается руководство политической, культурной и воспитательной работой среди учащихся, преподавателей и учебно-воспитательного состава...»¹³.

Можно было скверно учить, готовить плохих исполнителей, не давать концерты. Но, имея пролетарские корни, говорить без умолку о преданности большевистским идеям – и числится надежным руководителем.

У Медлина было наоборот: он крутился, не зная покоя, весь день – решал хозяйственные вопросы, преподавал скрипачам, репетировал с симфоническим оркестром. Но нужной риторикой не обладал. Допускал «мягкотелость», входил в положение.

Интеллигентность тогда признавали преступлением. Порядочность объявляли вне закона. Не удивительно, что Медлин попал в *«антисоветские элементы»*...

«Знаю своего мужа много лет. Он никогда не был врагом народа...

Прошу пересмотреть дело Медлина в порядке прокурорского надзора, проверить правильность следственных материалов и меры наказания...»¹⁴.

Тяжелые лагерные условия не для него, старого музыканта, убеждала она: лагерь убьет его!

Она не знала, что Медлина нет уж в живых – официальная версия приговора, с которой ее ознакомили, была лживой...

Через двадцать лет после гибели Якова Соломоновича его родственники добились пересмотра дела. Проверка установила, что музыкант был осужден на основе собственных показаний, которые не нашли подтверждений.

Но дело все же решили прекратить. За недоказанностью преступления, а вовсе не за его отсутствием.

Так начиналась «оттепель».



ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ: ХАЛФИНА

Вот только ради этого сказочного вида и стоило, думаешь, поселиться здесь, вдали от города.

Сядешь у окна – и смотришь на высоченные, до неба, сосны, запорошенные снегом, на сугробы, что катятся белыми волнами по всему доступному глазу пространству. И такая кругом тишина, такое спокойствие – словно настала на земле благодать, воцарилась гармония, и не о чем больше тревожится.

Будто и не живёт по соседству настоящее горе, будто не плачут по ночам от одиночества и боли брошенные старики. Горе – оно ведь приходит незванным, в любой обстановке, и вид за окном, пусть самый волшебный, не скрасит душевных терзаний.

А может, и скрасит, как знать...

Мария Леонтьевна думала об этом наверняка – не могла не думать, ради этого здесь поселилась. То есть были, конечно, другие причины, непременно были, но главной считала необходимость пожить среди стариков – персонажей будущих своих произведений. И в заявлении так прямо указала: хочу поселиться в «Лесной даче», поскольку пишу новую повесть.

Ей выделили комнату – небольшую, но отдельную: кровать, стол, шкаф. Скромные занавесочки, коврики для уюта. На столе, подоконнике, в ящиках стола – всюду были книги. А с краю стола имелась особая, специально приспособленная кнопка для вызова дежурной сестры: когда наступало астматическое удушье, приходила сестра с кислородной подушкой.

В личном деле Халфиной, которое хранится в доме-интернате для престарелых «Лесная дача», есть заключение врача, из которого следует, что медицинским основанием для помещения её туда могла стать любая из хворей: ишемическая болезнь сердца, гипертония, хроническая коронарная недостаточность, кардиосклероз. Но всем было известно, что поселилась она здесь, в шестидесяти километрах от Томска, из каких-то своих «писательских» соображений.

А ещё оттого, что... негде стало жить. Добровольно лишила себя крова. Отдала квартиру сыну – пусть живёт там с семьей, не стесняясь присутствием матери. Так, решила она, будет лучше. Что в действительности скрывалось за этим мотивом, никто, ясное дело, не знал – в свои душевные переживания Мария Леонтьевна никого не посвящала.

Да и сам мотив был известен немногим, а проще сказать, одному человеку – директору Юрию Тимофеевичу Кривошееву, который, впрочем, подробностей тоже не ведал.

Однако ж отнесся к решению с должным пониманием – за годы работы в доме-интернате посмотрелся-то всякого.

– Приехала сюда в первый раз, - вспоминает, - и всплеснула руками: как хорошо. В стороне от магистрали – сосновый бор, речка неподалеку, деревенская жизнь. А воздух, сказала, – чувствуете, какой воздух! – его же пить можно. Дыши – не надыхнешься!

И она ходила по этим дорожкам, вздыхала густой аромат хвои, рисовала прутиком на снегу закорючки – и думала о чём-то своем. Постоянно думала.

Может, о сложных отношениях с сыновьями – своим и приёмным, которые совершенно не походили на неё, открытую и искреннюю. Общась со стариками, не утратившими, по ветхости, здравого смысла, Мария Леонтьевна невольно соотносила их полные драматизма истории со своей – и выходило, что ей ничуть не лучше. Что её беда, пусть внешне, со стороны, не такая заметная, тоже тяжела.

А может, напротив, уехала, чтоб убежать от самой себя, своих переживаний, сосредоточив мысли на чужих судьбах, чужих страданиях, умело воссозданных под талантливим пером. На рабочем столе Халфиной, рядом со спасительной кнопкой, лежали рукописи – она постоянно работала, что-то писала. Не исключено, что, и в самом деле, готовила повесть.

Никто в «Лесной даче», однако, не знал, что она пишет – воспоминания, письма или художественное произведение.

Известно лишь было, что незадолго до отъезда подготовила статью, которая вышла в одной из центральных газет¹. Статья получилась острая, злободневная. И в то же время спокойная – размышления вслух: осмысливая увиденное в «Даче», Халфина говорила обо всей системе социального обеспечения. Размышляла о *«достойной постановке дела, исходя из реальных возможностей»*. Обобщала и умно, неброско давала оценки.

Получалось, за короткое время пребывания в «Даче» ей, благодаря имени, удалось сделать больше, чем государственным органам за многие предыдущие годы. Был открыт магазин, появилось отделение связи, установлено автобусное движение до города. Но Халфина оставалась писателем, её и здесь волновали человеческие отношения, она и здесь писала о равнодушии, душевной слепоте, горькой участи никому не нужных стариков, доживавших век на государственном обеспечении в чужих и немилых стенах.

Сама она в семьдесят с лишним лет, при своих хворях, не выглядела немощной и нуждавшейся в помощи. Никогда ни о чем не жаловалась, оставалась подтянутой, бодрой.

По утрам, открыв форточку, делала зарядку, затем отправлялась гулять – всегда, при любой погоде: неспешно пройтись по лесным дорожкам «стариковской усадьбы» стало привычкой. Даже внешне выделялась из серой, унылой массы обитателей «Дачи» – в ту пору мало кто из дам почтенного возраста носил брючный костюм. Халфина же одевалась так, как удобно, была независима от вкусов и мнений.

И во взглядах обнаруживала независимость: подлость для неё была подлостью, в какие б одежды ни рядилась, доброта оставалась добротой, что б там ни говорили.

Она обладала редким даром: умела слушать собеседника, с искренним интересом относилась к неурядицам и бедам, казалось бы, далёких людей. Медицинские сестры доверительно, как матери, рассказывали ей о будничной жизни – болеют ли дети, всё ли в порядке с хозяйством. Старики – и те приходили за советом, хотя возрастом, бывало, изрядно её превосходили.

Она слушала, делилась мнением, осторожно советовала.

Потом возвращалась в отдельную, скромную, как келья, комнатку, брала в руки бумагу и писала:

«Меня никогда не терзали мысли о бренности человеческого бытия, о зря прожитой жизни. Никогда не чувствовала я себя лишней на милой моей земле...»².

Спокойное, мудрое принятие собственной старости – и умение прийти на помощь тем, кто лишен был такого понимания, кто нуждался в добром участии, – вот что отличало Марию Леонтьевну до последних дней.

А прожила она, покинув «Лесную дачу», немного, несколько лет. Но и перебравшись в город, не переставала работать: встречалась с читателями, вела переписку, готовила к изданию рукописи.

«Никогда не чувствовала я себя лишней на милой этой земле...».

* * *

В литературу Халфина вошла не так, как другие, кто робко прислушивался к своему дару. Она не искала тему, не вырабатывала стиль, не формировала эстетическую позицию.

Она просто сразу стала писателем – своеобразным, с неповторимым почерком, своим видением мира. И сразу, с первых же строк, получила признание. Редко, но так бывает: копит человек жизненные впечатления, набирается опыта, размышляет о жизни, а потом в один прекрасный момент садится – и пишет прекрасную прозу.

У Халфиной вышло так же. Думать не думала заниматься литературой, никогда не помышляла писать книги, распространяла чужие – работала издательницей, библиотекарем, методистом, преподавала библиотечное ремесло. Долго, почти сорок лет, вела просветительское дело.

Писала, конечно, стихи – как многие в молодом возрасте, публиковала в газетах, журнале «Крестьянка». Но так, между делом, хорошо сознавая меру поэтического своего дарования.

И в том возрасте, когда иные писатели, обеспечив имя и солидное общественное положение, тихо - мирно почивают на лаврах, стала писать с не-

обыкновенной силой. Много, талантливо, проникновенно. Известен и день, когда это произошло – точная дата: 30 мая 1962 года. В тот день «Комсомолка» напечатала за подписью Халфиной документальный рассказ «Два слепых сердца» – историю одной молодой семьи.

Незамысловатая вроде история, рассказанная мастерски, с болью, вызвала огромную почту: редакцию завалили письмами. Несколько недель газета получала отклики со всех краев безмерной державы. Потом вызвала в Москву автора очерка: разбирайте эти завалы сами.

«Рассказ имел большой резонанс, - вспоминала позже Халфина, - тема его очень проста... Молодые, здоровые, красивые люди, имеющие чудесного двухлетнего малыша, несдержанностью, грубостью, хамством отравляют друг другу жизнь и калечат жизнь ребенку...»³.

Вот этому ребенку, несчастному «колобку», жившему через стенку с хамоватыми злыми родителями, и был посвящен очерк: *«Если б не Сашка, возможно, я давно отказалась бы от своей попытки помочь этим двум дуракам»*.

И в другом месте неожиданно добавляла: *«До отчаяния, до физической боли мне жаль их обоих»*⁴, не знавших других отношений и других, кроме матерных, слов. А Сашка вызывал жалость и нежность – за него было по-настоящему страшно: каким вырастет маленький беспомощный «колобок»?

Потому и взялась за перо...

Признание пришло в пятьдесят четыре года. В пятьдесят восемь, громко заявив о себе в писательской среде, Мария Леонтьевна была принята в творческий Союз. И тогда же, в 1966 году, написала одну из лучших повестей, которая, во многом, благодаря фильму сделала её по-настоящему известной далеко за пределами страны – повесть «Мачеха».

Фильм обошел экраны более семидесяти стран, а повесть, опубликованная в «Огоньке», опять-таки нашла отклик среди читателей – почти каждый «огоньковский» рассказ Халфиной с той поры вызывал обширную почту.

Почему, так сразу не скажешь...

Ну, да – писала просто и в то же время талантливо. Писала о простых, как принято говорить, людях, которые живут рядом, за стенкой. Об их удивительных судьбах, бедах и радостях, что, безусловно, подкупало. Но писала с такой доверительной интонацией, так правдиво и искренне, без тени фальши, что сразу, в любом, даже коротком рассказе располагала к себе с первых, безыскусных, казалось бы, фраз.

Проза Халфиной обладала той удивительной силой, тем литературным обаянием, которое запоминается больше, чем сюжет – тоже, бывает, довольно простой, и которое скрашивает читательское восприятие.

Некрасивая Вера Черномыйка, *«большая здоровая деваха»* в повести, которая так и называется – «Простая история», берётся выхаживать спивше-

гося мужика, ничего, кроме жалости, к нему не испытывая. Она бьётся за него, безнадежно махнувшего на себя рукой, видя в нём человека необыкновенной души, бьется отчаянно, изо всех сил. И когда сама теряет надежду вернуть его к нормальной жизни, попадает в больницу – и наступает перелом. Совсем, было, пропащий Мотыка превращается вдруг в степенного положительного Матвея Егоровича.

И думаешь: что напоминает эта совсем непростая и вроде б знакомая история? Потом понимаешь: ба! – да это классический сюжет о девушке, полюбившей чудовище. Только её доброта помогла снять заклятие – злые чары пали, и пред нею предстал очень даже симпатичный герой. И зажили Третьяковы, Вера с Матвеем, душа в душу, на зависть всему поселку, и у них появились дети – один, другой, третий.

Счастливым, будто во сне, финал. И заканчивается повесть лёгким, умиротворенным, как в детстве, сном.

«Викулька... юркнула к матери под бочок. Потёрлась лбом о её подбородок, повозилась ещё немножко, удобнее примачиваясь на материнском плече, дремотно помурлыкала и засопела... Я собралась посмеяться на ней, но в этот момент ветер надул надо мной зеленые паруса, и ладья моя, плавно покачиваясь, отчалила вслед за Верой и Викулькой...»⁵.

Совершенно житейская – и вполне сказочная история.

Но ничего сказочного, если разобраться, у Халфиной нет: персонажи её не злодеи и не ангелы. В каждом намешано всякое – хорошее и плохое, хотя хорошего больше. И сознавая, видимо, это, они ведут внутреннюю борьбу.

Вот и Шурка из повести «Мачеха» не сразу приняла чужого осиротевшего ребенка, поначалу кричала, *«яростно взвизгивала, с трудом сдерживая подкатившие к горлу слезы»*. А после, накинув платок, бросилась за мужем везти домой нелюдимую хмурую Светку. И начала заботливо, терпеливо, ласково отогревать озябшую душу.

В рассказе «Виктория», лучшем из всего, написанного Халфиной в «коротком жанре», интеллигентная *«музыкантша»*, эвакуированная с детьми в деревню, оказывается беспомощной, ни на что, кроме рефлексии, не способной. Зато беспутная, ветреная Онька, не рассуждая, берётся выхаживать, спасать от гибели чужого младенца – выкармливает своим молоком. Умная, порядочная Зинаида, мать ребенка, *«уходила из комнаты, чтобы не видеть, как, вывалив тяжелую, несомненно потную и грязную грудь, сует она в рот её дочери сосок, наспех сполоснутый холодной водой»*⁶.

Проницательный, неравнодушный халфинский взгляд, который томский писатель Вадим Макшеев назвал *«мудрым пониманием жизни»*, глубокие и сложные, по сути, «простые истории», хороший литературный язык – всё это объясняло притягательную силу её прозы. Халфина творила легко и, по писательским меркам, умело. Одна только фраза *«воевал Матвей по»*

хорошему» объясняла столько, сколько у другого уместилось бы, наверно, на полстраницы.

А вот описание улыбки добродушного скромного мужика.

«Первыми начинали смеяться глаза, потом дрогнут и тут же ещё плотнее сожмутся губы, дрогнут и прихмурятся брови, но от глаз уже бегут десятки живых смешливых морщинок, и вот, наконец, всё лицо заполняет улыбка – широкая, открытая и очень заразная...»⁷.

Так писать не научат ни в одном Литературном институте. И разбираться так в людях, понимать их природу, высвечивая самое ценное, что есть в человеке, тоже никто не научит.

«Она обладала счастливым даром ожидать от людей только хорошее», - написала Халфина об одной из своих героинь. То же самое, почти слово в слово, доводилось слышать о самой Марии Леонтьевне.

«А как она умеет слушать! – говорится в рассказе «Милочка». – Внимательно, серьезно... И всегда не просто с добрым человеческим участием, а с деятельной готовностью поддержать, помочь, принять на себя долю чужой беды...»⁸.

Точно так относилась к людям, чужим бедам и Халфина, а свои переживания, в отличие от других, оставляла при себе, не делала их предметом художественного анализа.

Пожалуй, лишь раз, в одном позднем рассказе «Игорёк», абсолютно автобиографическом, позволила себе поделиться своей бедой. И оттого, что сделала это вопреки убеждению, поддавшись отчаянию, рассказ получился слабым, сырым. Но, просматривая черновик, где сделаны характерные вставки, начинаешь понимать, что тяготило Марию Леонтьевну. Как складывались её отношения с «философствующим» сыном.

«Её мучила тревожная мысль: где во всей этой мальчишеской сумятице идей, понятий, решений кончается временное, наносное, юношеская дань моде и начинается подлинная зрелая убежденность»⁹, - писала Халфина, повествуя о «неродном», в духовном смысле, родстве.

Заканчивалась новелла, как жестокий приговор:

«Так и живут они под одной крышей: он – свободный и независимый, со своим неприкосновенным «внутренним миром», и она - притихшая, опустошенная, очень постаревшая, тоже со своим внутренним миром, до которого сыну её нет никакого дела...»¹⁰.

Кто знает, может, этот рассказ и появился в стенах небольшой, похожей на келью, комнатухи с видом на чудный хвойный лесок. Может, о том и размышляла она, прохаживаясь по дорожкам населенной стариками «Дачи». Только почему-то думаешь, что это не так, что мысли её обращены были к

другим, кому ещё горше, больнее: чужие заботы для нее всегда значили больше своих.

Она переживала их, как собственные – даже, наверно, острее. Не уставала восторгаться душевной чуткостью, благородством и скромностью «простых» людей. Не переставая удивляться чьей-то подлости, хамству, бездушию.

* * *

В доме, где Халфина прожила оставшиеся дни, хранились письма – много писем, несметное количество.

Где они, куда подевались – узнать, к великому сожалению, не удалось. А переписывалась она со многими: поддерживала связь со знаменитым земляком Василием Шукшиным, общалась в письмах, как утверждают, с Валентином Распутиным. Отвечала на послания многочисленных читателей и почитателей.

Кое-что из того, что адресовано было ей, правда, осталось – Мария Леонтьевна передала часть бумаг в Государственный областной архив. Это лишь малая часть переписки, но и она даёт представление о том, что значили для читателя газетные и прозаические раздумья Халфиной. Как дорожили её мнением, высоко ставили мудрые наблюдения за жизнью, разделяя бескомпромиссную позицию, где чёрное называлось чёрным, а белое – белым.

«Ваши рассказы потрясли меня, это изумительно! – сообщал старик из Целинограда. – То, что прочёл, потрясло меня до глубины души, честное слово!..»¹¹.

«Знаете, прочитала вашу книгу, и никак не могла удержаться, чтобы не написать. Ваша книжка перевернула всё мое сознание...»¹², - благодарила читательница из Кировской области.

«Читал «Простую повесть», и пытался представить автора. Так мог написать только человек, который много пережил и что-то подобное происходило с ним, либо человек большой души, глубоко воспринимающий чью-то жизнь», - размышлял читатель из украинского города Никополь. И делал вывод: «Ваша повесть говорит о вас, как о человеке большой души, перед которым можно исповедаться...»¹³.

Да, писем-исповедей было много, десятки – на тетрадных, в клетку, страницах, блокнотных листах. Люди подробно, не таясь, делились наболевшим, рассказывали о бедах. Просили совета, поддержки, участия.

Какое-то время Халфина получала письма из зоны – от бывшего вора, который читал её произведения со сцены в колонии строгого режима.

«Хочу прочитать отрывки из «Мачехи», но связать их в одно целое трудно – может, вы согласитесь сделать эту работу для меня», - просил он в одном из писем. – «Только очень чёрствый человек останется равнодушным. Я никогда не считал себя слишком чувствительным, но повесть ваша разбередила мне душу. Чувствую, что смогу прочесть от-

рывок, как надо, смогу разбудить чувство сострадания... заставить полюбить вашу «Мачеху» так же сильно, как я...»¹⁴.

Были другие письма из мест, «не столь отдаленных» – от молодой женщины с искалеченной судьбой, которая разуверилась в добре и впала в отчаяние.

«Как бы хотелось мне встретить такого человека, как Алексей в вашем рассказе «Безотцовщина», - писала она, - такого же чуткого, искреннего, заботливого мужа и отца». А в конце письма обращалась с просьбой: «Пишите мне о себе, пишите! Мне всё интересно знать о вас, ведь вы для меня так дороги и близки...»¹⁵.

Но чаще просили: помогите разобраться! – и на нескольких листах описывали непутевую свою жизнь, нескладные отношения с близкими. Признавались в грехах, исповедывались. Может, оттого, что не было рядом такого же доброго, чуткого человека, который бы выслушал, посочувствовал, пожалел – и действительно дал бы толковый совет. А вернее всего потому, что писали под обаянием халфинской прозы.

Под властью её художественного слова.

Писали нередко для того, чтоб поблагодарить её за великий и, увы, редкостный дар – понимать и жалеть человека.

«Передайте мою искреннюю признательность Марии Халфиной за чуткость и внимание к людям, - просили читатели редакцию. – Передайте: мы учимся у вас не проходить мимо даже самого маленького человеческого горя и радости...»¹⁶.

«Всё дело в том, - высказывал кто-то догадку, - что она просто очень любит людей, с которыми живёт и работает, и видит в них, прежде всего, хорошее – то, что делает их достойными уважения людьми...»¹⁷.

Что ж, верно – так оно и было.

Умение понять и принять человека, со всеми его слабостями и недостатками, проникнуть во внутренний мир и показать изначально светлую, незамутненную его сущность, было заметной, яркой чертой писательского дарования Халфиной.

А окружали её «по жизни», в общем-то, простые, бесхитростные люди – цеховые рабочие, речники, строители, механизаторы, доярки. Писала она, конечно, не только для них, но почти всегда, от первого рассказа до последнего, писала об их жизни.

Как библиотекарь, учила постигать и ценить изящную словесность, а потом, спустя время, населяла такими же людьми свой собственный художественный мир. Другие писатели становились просветителями в старом, исконном смысле слова, помогая людям сознавать себя людьми, а у Халфиной вышло наоборот. Писателем стала после того, как много лет, лучшую часть жизни, распространяла культуру, приобщала к литературе.

Просвещала...

С семнадцати лет работала на Алтае избачом, потом библиотекарем, методистом, преподавателем. Училась сама, повышала образование – и учила других понимать и любить книгу¹⁸.

В сорок с лишним лет приехала в Моряковский затон, небольшой рабочий поселок на Оби, создала там библиотеку, убедила выстроить здание и поставила дело так, что библиотека за короткое время была признана лучшей в области, а потом и во всей России. На всероссийском конкурсе заняла первое место.

Вот тогда наступил звёздный час Марии Леонтьевны. О ней и своеобразном её опыте заговорили, появились хвалебные статьи. Издательство «Госкультпросветиздат» попросило Халфину подготовить в виде брошюры методические рекомендации.

«Чтобы дать читателю подходящую книгу, - писала Халфина, - чтобы затем руководить его чтением, я должна его очень хорошо знать. Знать его интересы, вкусы, уровень подготовки, условия, в которых он живёт и работает...». И добавляла: «Какое ж это великое удовольствие – видеть, как человек всё глубже и осмысленнее воспринимает прочитанное, как шире и разнообразнее становятся его интересы, увереннее и организованнее речь...»¹⁹.

Появившись в поселке, она начала с того, что пошла в производственные мастерские судоремонтного завода и стала знакомиться с людьми, узнавала об их жизни. Приходила с книгами в рабочий клуб, устраивала диспуты, знакомила с новинками литературы, организовывала выставки.

Самой библиотеки, по сути, ещё не было, она только формировалась, а круг активных читателей благодаря Халфиной успел сложиться. Вошли в него даже домохозяйки, которых кроме кухни и огорода, не интересовало, казлось, ничего.

Начальство смотрело на всю эту деятельность безучастно: книга так книга, лишь бы не пили да выполняли – святая святых – производственный план. И недоумевали, когда Халфина убеждала помочь, будоражила, не давала покоя: чего вам, собственно, не хватает?

Не хватало денег пополнять книжный фонд, помощников, чтоб устраивать читательские конференции, выставки, вечера. И главное, не было своего здания – обещали построить давно, да всё что-то откладывали, находя отговорки. Халфина поехала в Томск, пошла по начальственным кабинетам, и не успокоилась, пока не выбила деньги на поселковую библиотеку.

Деревянное здание книгохранилища возвели за считанные недели, а потом рабочих перекинули на другой объект. Мария Леонтьевна пошла по домам, собрала друзей, активных читателей и завершила с ними строительство. Сами готовили раствор, штукатурили, белили, красили. Огородили штакетником территорию библиотеки. Посадили саженцы ясеня, клена, сирени, привезенные Халфиной из университетского Ботанического сада.

День открытия библиотеки стал праздником для всего поселка.

Люди потянулись за книгами, газетами, журналами, приходили ради общения. Через три года книжный фонд библиотеки насчитывал свыше 12 тысяч томов, а в картотеке значилось около двух тысяч имён – считай, всё взрослое население поселка. Ну, и школьники – эти проводили здесь дни напролёт. При библиотеке открылся драматический кружок, где постановки ставила Халфина, работал клуб по интересам.

Но Халфина была недовольна: переживала, когда слышала о дурном поступке кого-то из читателей – в посёлке-то все на виду. Корила себя за недостаточно высокое, по её мнению, стремление людей к самообразованию. И не могла смириться с тем, что «очагам культуры» придают второстепенное значение, убеждала, что просветительская работа особенно важна в таких вот посёлках, что сельским клубам надо уделять больше внимания.

«О том, что профессия работника культуры не популярна, как-то не принято говорить вслух, - размышляла в одной из статей. – Наше дело именуют «почётным», но в жизни мы часто встречаем совершенно иное отношение к себе и своему труду...»²⁰.

Работник культуры получает ничтожно мало – руководитель сельского клуба зарабатывает немногим больше уборщицы. Так быть не должно! – возмущалась Халфина.

И обличала равнодушие чиновников к проблемам культуры, раскрывала схему финансирования библиотек и клубов по «остаточному принципу», показывала безобразное положение, при котором *господствует «страшное слово лимит»* и приходится идти на уловки, изворачиваться, лукавить, чтоб, не нарушив букву закона, сделать полезное приобретение. Купить книги, обновить мебель, наладить уют.

«Так кто кого обманывает? И кому нужен этот обман? – задавала риторические вопросы. - Из нашего лексикона исчезло слово «купить». Мы можем лишь выпросить, добиться, достать – в худшем случае, урвать или ухватить... Дают деньги и говорят: вот тебе тысяча рублей, но так как торговать с тобой невыгодно, обеспечить тебя товарами на эту сумму не можем. Попытайся использовать эти деньги в порядке личной инициативы. Но учти – не сумеешь до 1 октября, деньги отберём и на будущий год не дадим, а к тебе прилипнет ярлык никудышного хозяина, неспособного осваивать смету...»²¹.

Лукавить, работая с книгами, распространяя великую русскую классику, было невыносимо. Но Халфина, светлая душа, верила, что всё это – от непонимания отдельных чиновников. От временных перегибов, свойственных нашей «богоспасаемой» стране. Надеялась раскрыть кому-то глаза на происки минфина, изменить пренебрежительное отношение к сельской культуре, достучаться до сознания людей, принимавших решение.

Так и боролась с ветряными мельницами, докучала правдоискательством руководителей. Радовалась малейшим признакам улучшения, воспринимая это началом неизбежного, по её мнению, обновления. И героев своих

книг наделила сходным качеством: верить в лучшее наперекор всему. Верить и готовить лучшее неустанным трудом.

Верить, когда опускаются руки, когда не мил белый свет. И трудиться, трудиться, трудиться ради великого обновления, не жалея себя, чтоб признать потом себе честно и откровенно:

«Никогда не чувствовала я себя лишней на милой этой земле...».

* * *

В библиотеке «Лесной дачи» книги Халфиной пользуются спросом – некоторые истрёпаны, зачитаны до невозможности. Ну, как же: автор была в этих стенах, что-то писала – может, даже о стариках, обитателях дома-интерната, то есть людях, которые живут здесь и жили.

Как не прочесть – интересно...

Но, взяв в руки книгу, старики, по собственному признанию, забывали об этом тут же: бесхитростные, простые рассказы Халфиной завораживали сильнее других книг. И тоскуя о чём-то своем, находили они в авторе спокойного, понимающего собеседника – человека доброго, равнодушного.

«Старость самой Халфиной была плодотворной и мужественной, – утверждали близко знавшие её люди. – Старость Халфиной была мудрой и светлой. Не потому ли, что её поздняя осень вобрала в себя всё богатство трудной, честной и деятельной жизни?...»²².

А писатели, коллеги по творческому цеху, признавали:

«По натуре своей Мария Леонтьевна – человек крутой, резкий на поворотах. Людям с кривой душой, с холодными глазами доставалось от неё не раз. Зато уж с людьми искренними, душевными – она всегда свой человек...»²³.

Охотно встречалась с читателями, прилежно отвечала на письма. Но, как прежде, рассказывала о себе скупно, без всякого желания, будто установила раз навсегда некую грань, которую нельзя, недопустимо перешагнуть, открывая свой мир. Вот и обитателей «Дачи», среди которых прожила немало, ответным откровением не особенно баловала.

Только однажды, повинувшись порыву, вспомнила об одном эпизоде, который, видно, не давал ей покоя, тревожил, бередил душу. Рассказала, как в свинцовую пору конца тридцатых забрали мужа, а следом для допроса привезли туда же саму. Муж, объявленный «врагом народа», так бесследно и сгинул. Никаких сомнений в том, что больше его не увидит, у неё не возникло: проходя по коридору, слышала из кабинетов крики.

Веря близкому человеку, как себе, веря в его невиновность, она понимала, что ничего изменить не удастся. Но понять жестокость, принять неспра-

ведливость, как должное, означало простить, а этого не могла – ещё потому, что семье «врага народа» приходилось уж очень несладко.

Так Матвей Третьяков, герой её повести, не простил людям, укоровшим его пленом, из которого дважды бежал, из-за которого потом, в мирное время, лишился работы, друзей, доброго имени.

«...А потом получилось такое. Экспедитор оorsa, провоевавший в интендантских тылах, как-то в забегаловке, чокнувшись с Матвеем, сказал, доброжелательно ослабившись:

- Я бы на твоём месте спрятал эти самые ордена подальше, в мамашин комод. Вот если бы ты их после плена заслужил – другая бы им цена была...

За всю жизнь, даже в мальчишеских драках, Матвей ни одного человека не ударил в лицо. И тут, закрыв глаза, чтобы не видеть жирной подлой ухмылки, он схватил обидчика за грудки и с неожиданно воскресшей третьяковской силой повел его перед собой, затылком вперед, к дверям...»²⁴.

Кто олицетворял всю несправедливость для самой Халфиной, догадаться было несложно. Но взять этого обидчика за грудки она, ясное дело, не могла. Хотя и забыть было выше её сил: хорошее и плохое, так уж устроен человек, оседает в памяти накрепко...

Мария Леонтьевна вспоминала порой детство, алтайскую родину, людей, которые окружали. Вот об Алтае да, говорить любила, живописала его с удовольствием. И как-то раз, поддавшись на уговоры, написала об отце, который оказал на нее, несомненно, сильнейшее влияние. Написала коротко, с теплотой, а о себе – с нескрываемой иронией, что может позволить себе не всякий.

«Пятьдесят с лишним лет назад я, по единодушному мнению окружающих, была вундеркиндом. С одинаковым и всегда неизменным успехом я пела, плясала, писала стихи, рисовала...

Не знаю, что, в конце концов, из меня могло получиться, если б в вопросы моего эстетического воспитания не вмешался веселый и мудрый отец. Он сказал мне: «13 с половиной талантов – и ни одного настоящего, потому что ни к одному у тебя нет призвания». Почему именно 13 с половиной – не знаю, но я очень любила отца и беззаветно ему верила.

Ненавязчиво, незаметно он сумел внушить мне, что человек, взрослея, должен найти для себя пусть небольшое, негромкое, но такое дело, служение которому будет не трудом, а радостью...»²⁵.

И внушил не только ей, но и сыну: Леонтий Леонтьевич стал видным ученым, профессором палеонтологии и исторической геологии. Заведовал в Томске кафедрой, написал много ценных трудов. В годы войны был деканом геофака Политехнического института, затем перебрался в Новосибирск²⁶.

Оба, следуя наставлениям отца, нашли призвание. Да, как оказалось, не одно – Мария Леонтьевна считала библиотечное дело таким же важным, как и писательство. Даже став известным прозаиком, чьи новеллы из номера в

номер публиковались в «Огоньке» – журнале с многомиллионной аудиторией, избегала называть себя литератором.

Зато от почетного библиотечарского «звания» не отрекалась ни разу.

«Я всегда преклонялась перед колдовской способностью писателя волновать, будоражить сознание человека, заставляя его думать, - обронила в автобиографии. – Но мне никогда не приходило в голову, что мой рассказ, моё слово, обращенное к читателю, может заставить его плакать, переоценивать поступки, понять что-то, что раньше не доходило до его сознания...»²⁷.

Оказалось, может. Да ещё как.

И это открытие потрясло Халфину, заставило профессионально заниматься литературой, воспитанием чувств, как выразился о ее творчестве один критик²⁸. Поняв это, уверившись в своем даре, она взвалила на себя тяжкую ношу.

И несла ее – порой мучительно, порой радостно – до конца своих дней.



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Он шел по снежной многолюдной улице, как идут по пустыне, где во круг, во все стороны, простирается необъятное безжизненное пространство. Шел, не замечая людей, обтекавших его, словно воды корабль, и студеного ветра, дувшего прямо в лицо.

Шел, погруженный в далёкие от стужи и земной суеты сферы. В свои мысли.

Одинокий задумчивый путник...

- Виктор Соломонович, - громко окликали его, - здравствуйте!

Некоторое время смотрел, мигая белесыми ресницами, будто силился вспомнить, кто перед ним, а на самом деле – было заметно – выплывал из бездонных глубин памяти.

На лице появлялось смешанное выражение досады и почтения: жаль было прерванной мысли, это конечно, но... врожденная интеллигентность обязывала проявить знаки внимания. Что он и делал. Очевидно, внутренняя работа совершалась в нём непрерывно, и сохраняла важность при любых обстоятельствах.

Отвернувшись от ветра, Цейтлин о чем-то говорил, вопрошал о текущих делах – и глаза его заметно теплели, в них появлялся огонёк заинтересованности, доброго участия. Неподдельного внимания. Теперь чужие дела ему были важнее внутренних душевных переживаний и мыслей, незавершенность которых уже не могла тяготить.

Разговоры о себе, своем старческом житье-бытье, Виктор Соломонович не любил. Ни разу, даже когда ему было страшно худо, не слышал от него жалобы на одолевавшие хвори и нужду. А вот события культурной жизни города бывшего директора драмтеатра и руководителя областной филармонии, заслуженного работника культуры интересовали чрезвычайно.

Он много читал, был в курсе всего, что происходило. Вникал в проблемы еврейской общины, ходил на семинары и сам нередко выступал. Рассказывал об еврейском театре, в котором работал до войны и своем великом учителе Соломоне Михоэлсе. О войне, идишисткой культуре, которую знал и любил. О встречах с удивительными людьми...

Теперь его нет.

Но остались снимки, воспоминания, страницы старых газет – доводилось писать о Цейтлине не раз. Наверное, правильнее было бы дополнить, что-то исправить и переделать написанное, но... поразмыслив, этого делать не стал. Решил оставить, как есть.

Ещё потому, что рассказывать о нём в прошедшем времени и вправду нелегко...

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО: ЦЕЙТЛИН¹

Дневниковые записи, как ни старомодно сегодня звучит, он вёл почти всю жизнь, пристрастившись к «письмам себе» больше полувека назад. В ту благословенной памяти пору, когда восемнадцатилетним провинциалом оказался в кипучей, слезам не верящей столице, вознамерившись поступить в театральное училище.

В училище поступил и – закружился в хороводе событий, калейдоскопе имен, спектаклей. Ташкент, Баку, Белосток, другие города – старая довоенная театральная сцена. Строки, которые писались без особых претензий, как бы случайно, для себя самого, получили ценное для истории значение.

Не знаю, увидят ли когда-нибудь свет воспоминания театрала – собрать и обработать дневники у автора как-то не доходят руки. Но если книга состоит, или пусть даже не книга – что-то другое, она, уверен, станет редким изданием.

Кто интересуется театром, найдет в ней встречи с интересными, известными людьми. А кого занимает приключенческая беллетристика, тот тоже не будет разочарован. Потому как жизнь Виктора Соломоновича, если о ней по-

ведать подробно, сама по себе остросюжетный рассказ: знакомство с ГУЛА-Гом, фронтовые случаи. История с ранением, после которого обычно не выживают, когда его заживо похоронили...

Из дневников Цейтлина:

«1946 год. Приезжали с концертами артисты Мособлфилармонии. Это такой страх, что волосы способны встать дыбом даже на парике.

1947 год. Некогда славившийся новосибирский театр «Красный факел» теперь по настоящему оправдывает свое название и горит ярким пламенем.

1949 год. Об одном из наших кураторов можно сказать словами Рузвельта по поводу греческого короля Георга: «Милейший парень, хоть и совершеннейший болван»...»².

Впрочем, речь сейчас не о том, и дневник не за тем был помянут.

Бывает, знаешь человека вроде не первый день, но вот однажды, совершенно мимоходом, в маловажном телефонном разговоре он сообщает нечто такое, что заставляет взглянуть на него иными глазами.

Так случилось, когда от Виктора Соломоновича узнал о причудливом его увлечении: лет двадцать пять, не меньше, дотошно подбирая слова, он составил для собственного потребления, исключительно для себя богатейший словарь синонимов русского языка.

ДОТОШНЫЙ – СИНОНИМЫ:
ПЫТЛИВЫЙ, ОДЕРЖИМЫЙ, НЕУГОМОННЫЙ...

Вот тут-то вкус к летописным упражнениям и дал о себе знать, хотя составлялся словарь для другой совсем цели. Многие годы во многих газетах Цейтлин-театрал помещал свои театральные заметки о спектаклях, став со временем завзятым, чуть ли не штатным рецензентом. И в Томске, куда угодил в качестве режиссера драмтеатра сразу после войны, рука потянулась к перу, а перо, как водится, к бумаге.

С театром, к сожалению, пришлось вскоре расстаться: ранение горла (в танковом поединке ему перебило осколком сонную артерию) сказалось на голосовых связках, стало трудно разговаривать. Но все восемнадцать лет, работая директором и художественным руководителем Томской филармонии, и после – во Дворце спорта и зрелищ, Виктор Соломонович неустанно продолжал публиковать свои театральные впечатления. Как правило, небольшие, лаконичные, но крепко, профессионально сбитые.

Ну, а тот, кто дознался о дневниковых его сокровищах, стремился, само собой, заполучить хоть что-то.

Из дневников Цейтлина:

«1950 год. В Томске гастролирует молодой талантливый скрипач Эдуард Грач. Многие повторяют мою версию, что нынче ранняя весна – грачи прилетели.

1951 год. Хлопоты по гастролям симфонического оркестра меня угробят. Хожение Богородицы по мукам – приятная прогулка по сравнению с тем, что я переживаю.

1953 год. Заметив плакат ГАИ, подумал дать его в измененном варианте: «Трамвай обходи спереди, автобус – сзади, начальство – со всех сторон...»³.

Отрывки из записных книжек Цейтлина появлялись то в московских изданиях, то за рубежом. Не могу здесь удержаться, дабы не привести крохотный кусочек его воспоминаний о Соломоне Михоэлсе, выдающемся актере и режиссере, каковые поместил на русском языке журнал «Панорама Израиля». Для того, чтоб показать меру владения словом, продемонстрировать авторский стиль Виктора Соломоновича.

«...Пробормотав текст, растворенный в бездонных паузах, мы с партнером «мхатовское» естество довели до такой убийственно тошнотной кульминации, что аудитория поголовно погрузилась в бездну царства Морфея. Михоэлс же, оправившись от оцепенения, ни слова не проронил, лишь провел полусогнутой ладонью по своей отвислой нижней губе...».

Не был Виктор Соломонович ни писателем, ни журналистом. Не считал себя и большим таким докой в филологии, однако к работе над словом подходил профессионально. Ведь что такое слово? Так – колебание воздуха, нечто нематериальное, сущий вздор, казалось бы. А вот поди ж ты, не обойтись без него, как без воздуха, – и как воздух же его не замечаешь. Культура, воспитание, образование – всё, как на стержень, нанизано на Слово.

Общеизвестная истина.

Потому-то и коробило цейтлиновский слух культивирование, по его выражению, словесного чертополоха, языковой тарабарщины. Заслышав на улице ли, по телевизору какую-нибудь стилистическую глупость, поймав в газете или книге, как мышшь за хвост, неряшливое слово, он заносил материал в неизменную свою копилку.

Ну, скажем, такое:

«Записка домоуправления: «Товарищи жильцы! Кто не уплатит за квартиру до конца года, будет повешен на подъезде».

Спортивный чиновник: «Особенно отличились стрелки-разрядники. Они перестреляли всех своих конкурентов и заняли первое место».

«Учительница географии: «На последующем уроке мы будем брать Москву...».

Подлинный народный язык, утверждает Виктор Соломонович, не имеет ничего общего с завалами «словесной руды», с языком, испакощенным нашей бесцеремонностью, торжествующим бескультурьем.

Словесный мусор, что и говорить, всегда вызывал у него вполне уместное чувство брезгливости.

БРЕЗГЛИВЫЙ – СИНОНИМ: ГАЛДИВЫЙ.
БРЕЗГЛИВОСТЬ – ОТВРАЩЕНИЕ.

В дневниках и записных книжках любителя изящной словесности – богатейшие россыпи перлов, которые костью встают поперек горла любого образованного человека. Вот «Встречи» писателя Богданова-Березовского, был такой:

«Увидел извозчика, трусившего вдоль казарм, а на нем молодую женщину, приветливо махнувшую мне рукой. Это была Спесивцева...».

Так знаменитая балерина, не думая - не гадая, по чьей-то милости прогалопировала верхом на извозчике.

Скрупулезным постижением внутреннего мира своих студенток превратилось для профессора Виноградова в другом тексте во что-то крайне непристойное. Он, было написано, «до глубины прощупывал своих учениц». Автор несурзости – старейшая советская писательница, которую критика подобострастно называла классиком литературы.

- Вот, не угодно ли послушать, - листает коллекционер перлов свои записи. – На совещании пропагандистов: «Я хотел несколько слов остановиться на задачах». В газете: «Одна только доярка Петрова дала более ста литров молока». Или вот, изумительная вещь: «Мы созвали специальное собрание тунеядцев, на котором они отчитываются о своей деятельности...».

С особым пристрастием подмечал варварское отношение к великому и могучему языку вождей: от любителя «царицы полей» до последнего на русской земле генсека. Впрочем, высмеивание косноязычия руководителей давно превратилось в излюбленное развлечение интеллигента – после преферанса и диссидентских некогда книжек.

У Цейтлина это сопровождалось еще очищением авгиевых конюшен лексикона, составлением словаря.

Из дневников Цейтлина:

«1955 год. Если кто хочет бесплатно получить три инфаркта, пусть обзаведется цыганским ансамблем.

1957 год. Вечер, посвященный 100-летию Глинки. Впервые удалось вытащить на симфонический концерт «высокое начальство». Е. спросил, какую резолюцию принять торжественному заседанию. Я предложил краткую: одобрить деятельность товарища Глинки.

1958 год. В здании облисполкома был пожар, сгорело управление культуры. За многие годы своего существования это ведомство наконец сумело обратить на себя внимание и вызвать к себе «теплое» отношение...»⁴.

Когда он взялся за синонимы, подобных словарей, кроме двух учебных изданий, в стране, говорящей на русском языке, не существовало.

Первый словарь синонимов возник в 1968-м – как практическое пособие, справочник. Принялся филолог-самоучка сверять свой словарь с только что выпущенным, и обнаружил нетщательность усилий. А когда в 1975-м самодеятельный словарь приобрел законченный вид, в семнадцати цейтлинов-

ских тетрадах оказалось больше 9 тысяч синонимических рядов и около 46 тысяч слов – в словаре же Александровой, с которым невольно состязался, насчитывалось не больше 7 тысяч рядов и 35 тысяч слов.

Но, главное, рукописный словарь отличался от печатного пониманием смысла синонимического ряда. Виктор Соломонович щедро расширил его за счет заимствованных слов, нововведенных – слов разных народов и эпох. Если «дом», положим, то не просто «очаг, усадьба, кров, покой», но и – «хата, хоромы, терем». Вошли слова, перешедшие из других языков, донесшиеся из других времен. Так, у слова «духовенство» нашлось 24 ближайших «родственников», а «царя», по Цейтлину, можно назвать в 37-ми вариантах.

Не буду спорить о научной значимости такого словаря. Для меня достаточно того, что практическая его польза для людей пишущих несомненна.

Тем более, что по такому принципу не строился еще ни один словарь синонимов, да и было-то их издано раз-два и обчёлся. Тем более, что в определении самого синонима, что это за штука, *«ни в области лексикологии, - цитирую, - ни в области лексикографии нет более или менее единой, ясной и отчетливой точки зрения»*. Тут уж приходится ссылаться на авторитетное мнение профессора Евгеньевой, главного редактора академического словаря синонимов.

А что же заболевший филологией старый театрал?

Он и не думает пристраивать свой четвертьвековой труд, зачем? И томским ученым, специалистам по языку, демонстрировать тоже не собирается. Не для науки старался – для себя: в каком-то смысле процесс оказался важнее результата.

Бывало, полночи просиживает над рецензией, ищет и не находит нужное слово. Копаются в памяти, мучается, как от зубной боли. Но когда материал попадает в редакцию, с трудом найденное слово заменяют на суконно-обыденное, на штамп. Так – привычной.

Ну, а про то, что нет ничего скучнее привычного, заурядного, сказано давно.

ЗАУРЯДНЫЙ – СИНОНИМЫ: ОБЫДЕННЫЙ, ПОВСЕДНЕВНЫЙ, БУДНИЧНЫЙ...

Из дневников Цейтлина:

«Первые успехи на курсах повышения квалификации: узнал – Моцарт и Глюк были космополитами...

Совещание в обкоме по обслуживанию лесозаготовок. Один из участников указал, что художественное обслуживание должно проводиться только на тему леса. В перерыве изложил ему свой проект: актеры драмтеатра покажут спектакль Островского «Лес», симфонический оркестр исполнит вальс Штрауса «Сказки венского леса», а художники развешат на лесопунктах копии картины Шишкина «Утро в сосновом бору»...

Дураков, говорят, не сеют, не жнут – сами рождаются. Все помешались на «наглядной агитации». Выполняя неукоснительные вышестоящие указания, в Громовской бане

спешно повесили в коридоре два портрета: Фридриха Энгельса и... Фурцевой. И все довольны!...

Нюрнбергский международный суд совершил в свое время ошибку, забыв причислить к преступным организациям и Гастрольбюро. Это штаб выдающихся путаников и бездельников, хотя каждый из них думает, что спасает Россию. Интересно, как бы гастролировали Микеланджело или Моцарт, если бы их труд регулировал какой-нибудь плановый отдел...

Состоялось собрание творческой интеллигенции. На повестке дня – «поведение» поэта Пастернака. Эту постыдную акцию придумали власть предержащие...»⁵.

ИСТОЧНИКИ

I. «ЖИЛИ-БЫЛИ САРА С АБРАМОМ» КАРТИНА ЖИЗНИ

¹ Фрагменты очерка «Тени далеких предков» (сборник «Евреи Сибири». Томск Изд. ТГУ 2000 г.) с дополнениями и изменениями.

² ГАТО ф. 3 оп.4 д.35

³ Там же

⁴ Там же

⁵ ГАТО ф. 233 оп. 2 д. 112

⁶ Имеется в виду циркуляр МВД начальнику Томской губернии от 12 марта 1876 г. (там же).

⁷ ГАТО ф. 233 оп. 2 д. 2692

⁸ Там же.

⁹ ГАТО ф. 233 оп. 2 д. 2762

¹⁰ Там же

¹¹ ГАТО ф. 1786 оп. 1 д. 67

¹² «Положение о праве участия в выборах в городскую Думу» (ГАТО ф.48 оп.1 д.41 л.47).

¹³ ГАТО ф.233 оп.5 д.326

¹⁴ ГАТО ф.233 оп.5 д.856

¹⁵ ГАТО ф.233 оп.2 д.1083

¹⁶ ГАТО ф.233 оп.2 д.335

¹⁷ Там же.

¹⁸ Данные из «Алфавита томских улиц» 1900 г. (ГАТО ф.233 оп.5 д. 846).

¹⁹ Список владельцев питейных домов и лавок (ГАТО ф. 127 оп. 1 д. 2693); данные о винокурении и владельцах винных складов также в справочной книге «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ» (под редакцией А. Блау СПб. 1899 г.) и в книге А. Адрианова «Томск в прошлом и настоящем» (Томск Изд. Сиб. книжного магазина «Михайлов и Макушин» 1890 г).

²⁰ «Алфавитный список владельцев питейных домов и лавок Томска» (ГАТО ф. 127 оп.1 д.2693).

²¹ ГАТО ф.127 оп.1 д.2714

²² «Разъяснение» указа Правительствующего сената было опубликовано в «Известиях Томского городского общественного управления» (майский выпуск 1906 г.).

²³ ГАТО ф. 3 оп. 44 д. 4001

²⁴ Там же.

²⁵ Там же

²⁶ «Восточное обозрение» 1887 г №39

²⁷ ГАТО ф.127 оп.1 д.2645

²⁸ Здесь и далее – «Колыванское дело» 1882 года. (ГАТО ф.48 оп.1 д.6).

²⁹ ГАТО ф.233 оп.2 д.112

³⁰ «Сибирский торгово-промышленный справочный календарь» за 1899 г. Томск. Изд. Романова. Год выпуска VI-й.

³¹ «Сибирский торгово-промышленный календарь» за 1900 г. Томск. Изд. Романова. Год выпуска VII-й.

³² Здесь и далее – переписка по жалобе томского купца Федора Исааковича Монасевича (ГАТО ф. 3 оп. 18 д. 434).

³³ Статистические сведения на начало XX в. – в книге А. Адрианова «Томск в прошлом и настоящем» (Томск Изд. Сиб. книжного магазина «Михайлов и Макушин» 1890 г). и справочной книге «Торгово-промышленная Россия» (СПб. 1899 г).

³⁴ «Сибирская жизнь» за декабрь 1901 г.

³⁵ Справочная книга «Торгово-промышленная Россия» СПб. 1899 г.

³⁶ Список томских скотопромышленников и мясоторговцев – в «Известиях Томского городского общественного управления» за октябрь 1903 г».

³⁷ ГАТО ф.233 оп.2 д.2928

³⁸ «Сибирские отголоски» 1908 г. №117

³⁹ ГАТО ф.233 оп.2 д.911

⁴⁰ Там же.

⁴¹ «Отчет Томского Общества народного развлечения за 1909-1910 гг» Томск 1910 г. С. 5

⁴² ГАТО ф. 48 оп.1 д.61 л.19

⁴³ ГАТО ф.317 оп.1 д.2 л. 5

⁴⁴ ГАТО ф.36 оп.2 д.55 л.37

ПОРТРЕТ НАРОДОВОЛЬЦА: ЧУДНОВСКИЙ

¹ Записки товарища Соломона Чудновского: Жебунев С. «Отрывки из воспоминаний» // «Былое» 1907 г. №5 С. 253

² Трифонов Юрий «Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове». М. Политиздат. Серия «Пламенные революционеры». 1973 г. С. 44

³ Дейч Л. «Социалистическое движение начала 70-х годов в России (к полувековому юбилею)». Ростов-Дон. «Буревестник». 1925 г. С. 32

⁴ Чудновский Соломон. «Странички из воспоминаний» // «Былое» 1907 г. №6 С. 287

⁵ Там же, с. 288

⁶ Ковалик С.Ф. «революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х». М. Изд. политкартожан. 1928 г. С. 84

⁷ Аптекман О.В. «Общество «Земля и воля» 70-х годов. Петроград. Изд. «Колос» 1924 г. С. 60

⁸ Там же, с. 69

⁹ Дейч Л. «Социалистическое движение начала 70-х годов в России». С. 36

¹⁰ Трифонов Юрий «Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове». С. 1

¹¹ Чудновский С. «Колонизационное значение Сибирской ссылки». // «Русская мысль» 1886 г. кн. X («Сборник статей о Сибири». Том 87 С. 204).

¹² Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн.І. С. 122

¹³ Чудновский С. «Колонизационное значение Сибирской ссылки». С. 206

¹⁴ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн.І. С. 123

¹⁵ Там же, с. 124

¹⁶ Там же, с. 132

¹⁷ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн.ІІ. С. 96

¹⁸ Жилиякова Н. «История «Сибирской газеты». // «Сибирская газета» в воспоминаниях современников». Томск. Изд. НТЛ. 2004 г. С. 3, 6

¹⁹ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн.ІІ. С. 97

²⁰ Чудновский Соломон «Енисейская губерния в 300-летнему юбилею Сибири». Томск Типография «Сибирской газеты» 1885 г. С. 29

²¹ Там же, с. 36

-
- ²² Там же, с. 39
- ²³ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. II. С. 98
- ²⁴ Тучин Борис «Хроника Томского университета». Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1980 г. С. 99
- ²⁵ Жилиякова Н. «История «Сибирской газеты». С. 10
- ²⁶ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. III. С. 164
- ²⁷ Там же, с. 165
- ²⁸ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. II. С. 99
- ²⁹ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. III. С. 177
- ³⁰ Некролог по случаю кончины кн. А.А. Кропоткина // «Томский некрополь» Сост. Н.Д. Дмитриенко. Томск ТГУ 2001 г. С. 23
- ³¹ «Сибирская газета» от 27 июня 1883 г.
- ³² Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. III. С. 175
- ³³ Чудновский С. «Переселенческое дело на Алтае. Статистико-экономический очерк». Записки Восточно-Сибирского отдела Императорского Географического общества (под редакцией Г.Н. Потанина). Иркутск 1889 г. Т. I Вып. I С. 154.
- ³⁴ Якимова И.А. Соломон Чудновский о крестьянской общине на Алтае во второй половине XIX в». // «Актуальные вопросы истории Сибири. Вторые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. 6-7 октября 1999 г.». Барнаул. 2000 г. С. 111
- ³⁵ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. III. С. 176
- ³⁶ Пугачев А. «Ссылный автор «Морских рассказов» // «Наш город родной (исторические и памятные места Томска)». Новосибирск. Западно-Сибирское книжное изд. 1982 г. С. 171
- ³⁷ Чудновский С. «Из дальних лет» // «Вестник Европы» 1912 г. кн. III. С. 181
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ Чудновский С. «Алтайская поземельная община» // «Северный вестник» 1888 г. кн. X С. 114.
- ⁴⁰ Чудновский С. «Очерки народного юридического быта Алтайского горного округа». // «Русское богатство» 1894 г. кн. VII (Сборник статей о Сибири. Том 225 С. 361).

ПОРТРЕТ ПУБЛИЦИСТА: БЕЙЛИН

- ¹ ГАТО ф.102 оп.2 д.353 л.8
- ² Там же, л.9
- ³ ГАТО ф.102 оп.5 д. 46 л.3
- ⁴ ГАТО ф.102 оп.2 д. 353 л.19
- ⁵ «Томск в кармане. Справочная книга и адрес-календарь Томска» Томск Изд. Н.А. Гурьева и И.Л. Миллера 1903 г. С.59
- ⁶ «Томский некрополь». Состав. Н.М. Дмитриенко. Томск 2001 г. С. 87
- ⁷ ГАТО ф.126 оп.2 д.1401 л. 128
- ⁸ ГАТО ф.126 оп.2 д.1466 л.182
- ⁹ ГАТО ф.126 оп.2 д.1401 л. 129
- ¹⁰ «Сборник статей о Сибири». Том 300 С. 252-257
- ¹¹ «Сибирская мысль» за 1906 г. №5 С. 3
- ¹² Там же. №9 С.3
- ¹³ Там же. №4 С.2; №5 С.3; №18 С.3
- ¹⁴ Там же. №2 С.3

-
- ¹⁵ Кутилова Л.А. Нам И.В. Наумова Н.И. Сафонов В.А. «Национальные меньшинства Томской губернии. Хроника общественной и культурной жизни (1885-1919 гг)». Томск 1999 г. С.42
- ¹⁶ Там же, с.46.
- ¹⁷ «Весь Томск. Адресно-справочная книжка на 1912-1913 гг.». Издание Г.В. Чавыкина. Томск 1912 г. С. 117
- ¹⁸ Кутилова Л.А. Нам И.В. Наумова Н.И. Сафонов В.А. «Национальные меньшинства Томской губернии. Хроника общественной и культурной жизни (1885-1919 гг)». Томск 1999 г. С.60
- ¹⁹ Там же, с.75-76
- ²⁰ Там же, с.95
- ²¹ ГАТО ф.126 оп.2 д.2555 л.5-12
- ²² ГАТО ф.194 оп. 1 д.123 л.21
- ²³ Сагалаев А. М. Крюков В. М. «Г.Н. Потанин: опыт осмысления личности». Новосибирск 1991 г. С.217

ПОРТРЕТ УЧЕНОГО: КИЖНЕР

- ¹ «Новый энциклопедический словарь» под ред. академика К. Арсеньева. СПб. АО «Издательское дело Брокгауз-Ефрон» 1915 г. Т. XXI С.545
- ² «Большая советская энциклопедия» 2-е издание М. 1953 г. Т. XX С.608 «Большая советская энциклопедия» 3-е издание М. 1973 г. Т. XII С.102
- ³ «Краткая еврейская энциклопедия» Иерусалим 1996 г. Т. VIII С.997
- ⁴ «Профессора Томского политехнического университета». Томск ТПУ 1998 г Т.1 С.113.
- ⁵ Белый А. «На рубеже двух столетий». Москва-Ленинград. Изд. «Земля и фабрика» 1930 г. С.42
- ⁶ Там же.
- ⁷ ГАТО ф.194 оп.6 д. 58 л.37
- ⁸ «Профессора ТПУ». Томск 1998 г. Т.1 С.114
- ⁹ Ломов Н.И. «К биографии Н.М. Кижнера» // «Труды ТГУ» Томск 1954 г. Т. 126 С.73
- ¹⁰ Там же, с.74
- ¹¹ Там же
- ¹² ГАТО ф.194 оп. 6 д.58 л.55
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же, л.59
- ¹⁵ Альманах «Сибирская старина» 1995 г №9 С.27
- ¹⁶ Арбузов А.Е. «Краткий очерк развития органической химии в России». Ленинград. АН СССР.1948 г. С.134
- ¹⁷ Яновский В.А. «Великие алхимики» // «Томский политехник» Томск 1999 г. вып. №5 С.33
- ¹⁸ Там же, с.34
- ¹⁹ «Профессора ТПУ» Томск 1998 г. Т.1 С.115
- ²⁰ ГАТО ф. 194 оп.6 д. 58 л. 62
- ²¹ Там же, л.78
- ²² ГАТО ф. 194 оп. 4 д. 88 л.9
- ²³ «Сибирская жизнь» 1912 г. №86 от 17 апреля
- ²⁴ Там же
- ²⁵ «Сибирская жизнь» 1912 г. №87 от 18 апреля.
- ²⁶ ГАТО ф. 194 оп.1 д.123 л 21

²⁷ ГАТО ф. 194 оп. 6 д.58 л 64

²⁸ Там же, л 65

²⁹ Там же, л. 67

³⁰ Там же

³¹ ГАТО ф. 126 оп. 4 д. 110 л. 99

³² Там же, л.100

³³ Кижнер Н.М.«Исследования в области органической химии». М. АН СССР 1937 г С. 291

II. «БЕЗУМНЫЕ ДНИ» ОБЩИЙ ПЛАН. КАРТИНА ПОГРОМА

¹ Глава из авторской книги «Эскиз сюжета» (Томск Изд. «НТЛ» 2003 г.).

² «Томский вестник», краеведческая страница «Елань» от 13 ноября 1993 г.

³ «Октябрьские дни в Томске» Томск 1905 г.

⁴ Хроника погрома дана по брошюрам «Октябрьские дни в Томске», «1905 год в Сибири» (Новониколаевск. Истпартотдел Сибирского краевого к-та ВКП (б) 1925 г), «Итоги 20 октября, или Нечто о томских событиях» Томск 1906 г.), «Дело о погроме в Томске в 1905 г» (Томск 1909 г), а также статье А. Пугачева в альманахе «Томск» (1956 г. №9).

⁵ Воспоминания свидетелей погрома (ГАТО ф.р-1612 оп.1 д.76; ф.р-1612 оп. 1 д. 80 а).

⁶ «Октябрьские дни в Томске» Томск 1905 г.

⁷ Там же.

⁸ Там же. Еврейский погром описывал также Иван Лясоцкий в книге «Записки старого томича» (Томск 1954 г).

⁹ «Известия Томского городского общественного управления» за 1906 г. №23

¹⁰ Там же.

¹¹ Заметку об этом дала газета «Сибирские отголоски» в апреле 1908 г.

ПОРТРЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЯ: ВОЛЬФСОН

¹ Потанин Г. «Памяти Дмитрия Дмитриевича Вольфсона». // «Сибирская жизнь» от 8 января 1906 г («Томский некрополь» Состав. Н.М. Дмитриенко. Томск 2001 г. С. 100).

² Там же.

³ Отчет о вечере памяти Дмитрия Вольфсона в газете «Сибирская жизнь». // «Томский некрополь». С. 101

⁴ ГАТО ф. 214 оп.17 д. 1198 л. 2-2 об.

⁵ Отчет о вечере памяти Дмитрия Вольфсона. С. 101

⁶ Там же. С. 102

⁷ Вольфсон Д. «Сибирские воскресные школы». Томск Товарищество скоропечатни Левенсона. 1903 г. (Сборник статей о Сибири. Т. 330 С. 55).

⁸ Там же. С. 79

⁹ Там же, с. 239

¹⁰ Отчет о вечере памяти Дмитрия Вольфсона. С. 102

¹¹ «Сибирская жизнь» от 8 января 1906 г. («Томский некрополь». С. 101).

¹² Отчет о вечере памяти Дмитрия Вольфсона. С. 102

¹³ Потанин Г. «Памяти Дмитрия Дмитриевича Вольфсона». С. 101

¹⁴ ГАТО ф. 214 оп.17 д. 1198 л. 2 об.

ПОРТРЕТ ЗОДЧЕГО: ФИШЕЛЬ

- ¹ «ТМ-Экспресс» от 17 июля 1992 г. №29 С. 7
- ² «Сибирская старина» 1994 г. №6 С. 38.
- ³ «ТМ-Экспресс» от 17 июля 1992 г. №29 С.7.
- ⁴ ГАТО ф.233 оп.2 д.3616 л. 23
- ⁵ «Национальные меньшинства Томской губернии». Томск, 1999 г. С.243.
- ⁶ «Известия Томского городского общественного управления» за март 1909 г. №9-13 С.36
- ⁷ «Известия Томского городского общественного управления» за сентябрь 1910 г. №35-38 С.47.
- ⁸ «Известия Томского городского общественного управления» за октябрь 1909 г. №40-43 С.13
- ⁹ «ТМ-Экспресс» от 17 июля 1992 г. №29 С.7
- ¹⁰ ГАТО ф. 3 оп. 41 д. 925 л. 7
- ¹¹ ГАТО ф. 233 оп. 2 д. 3616 л. 23
- ¹² «Национальные меньшинства Томской губернии». Томск. 1999 г. С.53
- ¹³ ГАТО ф. 233 оп. 2 д. 3616 л.28
- ¹⁴ «Сибирская старина» 1994 г. №6 С.39
- ¹⁵ «Известия Томского городского общественного управления» за июль 1909 г. №26-30 С.5
- ¹⁶ «Известия Томского городского общественного управления» за апрель 1910 г. №15-18 С.30
- ¹⁷ «Хроника художественной жизни Томска (1909-1919 гг)» Томск 2000 г. С. 17,31,42
- ¹⁸ «Сибирская старина» №21 за 1999 г. С.3
- ¹⁹ «Сибирская жизнь» от 27 декабря 1908 г. №277 С.4
- ²⁰ «Хроника художественной жизни Томска». С. 45
- ²¹ «Отчет о деятельности Томского общества любителей живописи за 1909-1911 гг» Томск 1912 г. С.19
- ²² «Национальные меньшинства Томской губернии». С.46
- ²³ «Хроника художественной жизни Томска». С.88,101
- ²⁴ ГАТО ф.233 оп.2 д. 3616 л.29
- ²⁵ «Известия Томского городского общественного управления» за октябрь 1909 г. №40-43 С.88
- ²⁶ «Известия Томского городского общественного управления» за апрель 1909 г. №13-16 С.193
- ²⁷ «Сибирская старина» 1994 г. №6 С.38
- ²⁸ ГАТО ф.233 оп.2 д. 3616 л.55
- ²⁹ Там же, л.59
- ³⁰ Там же, л.61
- ³¹ Там же

III. «ТОТ САМЫЙ НАРЫМ» КАРТИНА ССЫЛКИ

- ¹ «Нарым. Очерки и статьи». Новосибирск Западно-Сибирское книжное изд. 1936г. С. 13.
- ² Бухарин В.А. (В. Браун) «Нарымская группа помощи политическим ссыльным Нарымского края». // «Сибирские огни» 1925 г. №2 С. 134
- ³ ГАТО ф. 3 оп.70 д. 511, 526, 528, 544, 545, 695, 696.
- ⁴ ГАТО ф.3 оп.70 д. 696 л. 22

-
- ⁵ ГАТО ф.3 оп.70 д. 583 л.125 об.
⁶ ГАТО ф.3 оп.70 д. 591 л. 2
⁷ Там же, л. 13
⁸ Бухарин В.А. (В. Браун) «Нарымская группа...». С. 137
⁹ ГАТО ф.3 оп.70 д. 591 л.28-29, 35
¹⁰ «Нарымская ссылка. Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках». Западно-Сибирское книжное изд. Томское отделение. 1970 г. С. 27
¹¹ ГАТО ф.3 оп.70 д. 528 л. 8
¹² ГАТО ф. 3 Оп.70 д. 583 л. 124
¹³ Там же, л.48
¹⁴ ГАТО ф.3 оп.70 д. 696 л. 45
¹⁵ ГАТО ф.3 оп.70 д. 526 л. 14
¹⁶ ГАТО ф.3 оп.70 д. 488 л. 35-36
¹⁷ «Нарымская ссылка». С. 31
¹⁸ Там же, с. 33
¹⁹ Бухарин В.А. (В. Браун) «Нарымская группа...». С. 136
²⁰ Там же, с. 138
²¹ «Нарымская ссылка». С. 36
²² Там же
²³ ГАТО ф.3 оп.70 д. 1053 л. 53
²⁴ ГАТО ф.3 оп.70 д. 1070 л. 177
²⁵ ГАТО ф.3 оп.70 д. 963 л. 30-30 об.
²⁶ ГАТО ф.3 оп.70 л. 15
²⁷ Там же, л. 17
²⁸ ГАТО ф.3 оп.70 д.1069 л. 16
²⁹ Там же, л.25
³⁰ Там же, л. 98-99 об.
³¹ Там же, л. 119
³² ГАТО ф.3 оп.70 д. 1057 л. 20-29
³³ ГАТО ф.3 оп.70 д. 583 л. 122
³⁴ Там же.
³⁵ Там же, л. 49
³⁶ ГАТО ф.3 оп.70 д. 695 л.18 об.
³⁷ ГАТО ф.3 оп. 77 д. 1489 л. 8
³⁸ ГАТО ф.3 оп.77 д. 460 л.7
³⁹ ГАТО ф.3 оп.70 д. 836 л.3
⁴⁰ ГАТО ф.3 оп.77 д. 1052 л. 13
⁴¹ Там же, л.15

ПОРТРЕТ ИСТОРИКА: ВЕГМАН

- ¹ Вегман В. «Как и почему пала в 1918 году Советская власть в Томске» // «Сибирские огни» 1923 г № 1-2 С. 146
² Там же.
³ Вегман В. «Почему я пошел в ссылку (год на подпольной работе)» // «Сибирские огни» 1925 г «1 С. 141
⁴ Гусева В., Познанский В. «По жизни с пламенем ленинской «Искры» // «Сибирские огни» 1973 г. №8 С. 179
⁵ Вегман В. «Почему я пошел в ссылку». С. 142

-
- ⁶ Там же. С. 145
- ⁷ Левицкий Л. «Вениамин Давидович Вегман». // «Гордость Томска». Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1982 г. С. 267
- ⁸ Там же. С. 270
- ⁹ «Нарымская ссылка. Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках». Западно-Сибирское книжное издательство Томское отделение 1970 г. С. 278-278
- ¹⁰ Там же. С. 282-283
- ¹¹ Там же. С. 285-286
- ¹² Гусева В., Познанский В. «По жизни с пламенем ленинской «Искры». С. 179
- ¹³ Вегман В. «На волю (из воспоминаний нарымского ссыльного)». // «Советская Сибирь» от 14 марта 1926 г. №60 с. 3
- ¹⁴ Вегман В. «Как и почему пала в 1918 году Советская власть в Томске». С. 127
- ¹⁵ «Гимн Сибири» // «Сибирские записки» 1918 г. №4 С. 1
- ¹⁶ Константинович Б. «Господа Шатилов и Вегман» // «Сибирская жизнь» от 16 июля 1918 г. №60 С. 1-2
- ¹⁷ Гусева В., Познанский В. «По жизни с пламенем ленинской «Искры». С. 180
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Вегман В. (Н.Н.) «Краеведение и генеральный план развития народного хозяйства Сибири» // «Сибирские огни» 1928 г. №1 С. 153
- ²⁰ Познанский В. «Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 1917-1918 гг». Новосибирск. Изд. «Наука» 1973 г. С. 10
- ²¹ Познанский В. «Вениамин Давыдович Вегман». // «История СССР» 1967 г. №6 С. 162
- ²² Гусева В., Познанский В. «По жизни с пламенем ленинской «Искры». С. 180
- ²³ Там же. С. 180-181
- ²⁴ Вегман В. Рецензия на сборник «Борьба за Урал и Сибирь (воспоминания участников борьбы с учредилкой и колчаковской контрреволюцией)». // «Сибирские огни» 1927 г. №4 С. 219
- ²⁵ Павлова И. «Из истории изучения гражданской войны в Сибири» // «Из истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке (1917-1922 гг)». // Новосибирск Изд. «Наука» 1985 г. с. 53
- ²⁶ «Сибирская советская энциклопедия». Новосибирск. Сибирское краевое издательство. 1929 г. Том 1 с. 452
- ²⁷ Вегман В. (Н.Н.) «Краеведение и генеральный план развития народного хозяйства Сибири». С. 157
- ²⁸ Левицкий Л. «Вениамин Давидович Вегман». С. 282
- ²⁹ Вегман В. Предисловие «В.Г. Болдырев и его воспоминания». // «Сибирская жизнь» 1923 г. №5-6 С. 107
- ³⁰ Вегман В. (Ямин В.) Рецензия на книгу Гайда «Мои воспоминания» // «Сибирская жизнь» 1927 г. №4 С. 223
- ³¹ Турунов А.Н., Вегман В.Д. «Революция и гражданская война в Сибири. Указатель книг и журнальных статей». Новосибирск. Сибкрайиздат. 1928 г. С. I.
- ³² Вегман В. «Областнические иллюзии, возрожденные колчаковщиной». // «Сибирские огни» 1923 г. №5-6 С. 141
- ³³ Турунов А.Н., Вегман В.Д. «Революция и гражданская война в Сибири. С. I.
- ³⁴ Стихотворение Георгия Вяткина в журнале «Сибирские записки» 1918 г. № 4 С. 1
- ³⁵ Вегман В. «Сибоблдума». // «Сибирские огни» 1923 г. №4 С. 96
- ³⁶ Вегман В. «Областнические иллюзии, возрожденные колчаковщиной». С. 162

³⁷ Вегман В. «Революция и гражданская война в Сибири» // «По рекам Сибири. Очерки хозяйственных и транспортных связей в районе деятельности Сибирского пароходства». Новосибирск. Издание Западно-Сибирского речного пароходства. 1926 г. С. 58

³⁸ Вегман В. «Сибирский педагог в революции и гражданской войне» // «Сибирские огни» 1927 г. №10 С. 41-43

³⁹ «60-летие старого большевика В. Вегмана» // «Советская Сибирь» от 24 августа 1933 г. №185 С. 3

IV. «СВОЙ КРОВ» КАРТИНА БЕЖЕНСТВА

¹ «Сибирская жизнь» от 4 августа 1915 года, №169

² Нискеров Г. «Свидетели. Историки. Жертвы. «Еврейский вопрос в первой мировой» // «Лехаим» №6 2004 г. С. 26

³ В книге А.И. Солженицына «Двести лет вместе (1795-1995)» (М. «Русский путь». 2001 Ч.1 С. 477-484) говорится о необоснованном, ничем не оправданном жестоким и массовом выселении евреев из прифронтовой полосы. Но, показав антисемитское настроение военного командования, А.И. Солженицын добавляет: *«В то же время неубедительно и нереально было бы заключить, что все обвинения – сплошь выдумки».*

И ссылается на якобы беспристрастное мнение священника о. Георгия Шавельского. Безрассудное поведение Ставки, по мнению автора, заслуживало порицания, прежде всего, тем, что нанесло вред престижу России в глазах союзников.

⁴ Старков П. Переселение в Сибирь за время империалистической войны и революции. // «Жизнь Сибири». 1926 г. №7-8 С. 29

⁵ Нагнибеда В.Я. «Томская губерния». Статистический очерк Распорядительного бюро Временного комитета общественного порядка и безопасности. Томск 1917 г. С. 19

⁶ ГАТО ф. 7 оп.1 д. 8 л 2

⁷ Там же.

⁸ Нагнибеда В.Я. «Томская губерния». С. 20

⁹ ГАТО ф.7 оп.1 д. 48 л. 9

¹⁰ «Беженцы и выселенцы» // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск. Сибирское краевое изд. 1929 г. с.262-263.

¹¹ «Сибирская жизнь» от 25 августа 1915 г. №185

¹² «Сибирская жизнь» от 19 августа 1915 г. №180

¹³ «Сибирская жизнь» от 29 августа 1915 г. №189

¹⁴ ГАТО ф. 7 оп.1 д. 25 л.5

¹⁵ Там же, л. 7 об.

¹⁶ Там же, л. 13

¹⁷ Там же, л. 14

¹⁸ ГАТО ф. 7 оп.1 д 29 л.3

¹⁹ ГАТО ф. 7 оп.1 д. 52 л.5 об.

²⁰ «Беженцы в Томской губернии». Томск. Изд. Томского губернского отделения Комитета Её Императорского Высочества вел. кн. Татьяны Николаевны. 1916 г. Вып. II.

²¹ «Сибирская жизнь» от 11 сентября 1915 г. №198

²² «Сибирская жизнь» от 5 сентября 1915 г. №194

²³ ГАТО ф.7 оп.1 д.29 л.11

²⁴ ГАТО ф.7 оп.1 д. 43 л.5

²⁵ Там же, л. 6

²⁶ ГАТО ф.7 оп.1 д.29 л.7об.

²⁷ «Беженцы в Томской губернии». Вып. II.

-
- ²⁸ Бейлин М. «Беженцы» // «Сибирская жизнь» от 29 сентября 1915 г. №211
²⁹ ГАТО ф. 7 оп. 1 д. 25 л. 17
³⁰ Там же.
³¹ ГАТО ф.7 оп.1 д.2 л.3
³² «Сибирская жизнь» от 6 октября 1915 года №216
³³ ГАТО ф. 7 оп. 1 д. 29 л.35
³⁴ ГАТО ф.7 оп.1 д.37 л. 3
³⁵ ГАТО ф.7 оп.1 д. 6 л. 27
³⁶ ГАТО ф.7 оп.1 д.44 л. 6
³⁷ «Сибирская жизнь» от 13 сентября 1915 г. №200
³⁸ ГАТО ф.7 оп.1 д.30 л. 21
³⁹ ГАТО ф.7 оп.1 д. 47 л. 6
⁴⁰ ГАТО ф.7 оп.1 д.37 л.9
⁴¹ ГАТО ф.7 оп.1 д. 5 л.2
⁴² ГАТО ф.7 оп.1 д.6 л. 10-11
⁴³ Нагнибеда В.Я. «Томская губерния». Статистический очерк. С. 20
⁴⁴ ГАТО ф.7 оп.1 д. 48 л. 68
⁴⁵ «Сибирская жизнь» от 8 октября 1915 г. №218
⁴⁶ «Сибирская жизнь» от 30 сентября 1915 г. №212
⁴⁷ «Сибирская жизнь» от 18 сентября 1915 г. №203
⁴⁸ «Сибирская жизнь» от 8 октября 1915 г. №218
⁴⁹ «Еврейское слово» от 9-15 июля 2003 г. №27
⁵⁰ ГАТО ф.7 оп.1 д. 45 л.2-5.
⁵¹ «Сибирская жизнь» от 8 октября 1915 г. №218
⁵² ГАТО ф.7 оп.1 д. 5 л. 11-17
⁵³ ГАТО ф.7 оп.1. д. 39 л. 33
⁵⁴ Сметы расходов национальных комитетов – там же, в деле 39.
⁵⁵ ГАТО ф.7 оп.1 д.8 л. 9

ПОРТРЕТ ВРАЧА: ШТАМОВ

- ¹ Шписман И.И. «Западно-Сибирский краевой институт физических методов лечения и курортологии». Томск 1935 г. С.3
² Там же.
³ «Профессора Томского университета». Томск 1996 г. Вып. I С.140
⁴ Шписман И.И. «Западно-Сибирский краевой институт физических методов лечения и курортологии». С.5
⁵ Там же.
⁶ Чулков Е.Г., Шписман И.И. «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» Томск 1961 г. С.7
⁷ «Вопросы курортологии» 1966 г. №1 С.34
⁸ Там же
⁹ «Красное знамя» от 17 октября 1926 г. С.3
¹⁰ «Красное знамя» от 24 октября 1926 года С.1
¹¹ «Советская Сибирь» от 23 октября 1925 №267 С.4
¹² «Красное знамя» от 30 апреля 1925 г. С.3
¹³ «Красное знамя» от 12 марта 1927 г. С.1
¹⁴ ГАТО ф. 102 оп. 2 д. 5463 л.15
¹⁵ ГАТО ф. 102 оп. 6 д. 360 л.98

¹⁶ ГАТО ф 102 оп. 9 д. 631 л.3

¹⁷ Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО) ф. 424 оп.1 д. 7 л.149

¹⁸ Там же, л.150

¹⁹ Там же

²⁰ Там же, л.152

²¹ «Достижения и перспективы восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии» (Материалы межрегиональной научно-практической конференции). Иркутск 2002 г. С.89

²² Региональное отделение Федеральной службы безопасности РФ по Иркутской области. Архивная справка №916 от 15.11.2002 г. (Основание: материалы архивного уголовного дела №4458 ф/п).

ПОРТРЕТ САТИРИКА: ФРЕНКЕЛЬ

¹ Д'Актиль «Три года» // «Русская эпиграмма» (XVIII – начало XX в). Библиотека поэта. Л., «Советский писатель».1988 г. С. 523

² Мазнин Игорь «Сатирикон» и сатириконцы, или Волшебный алкоголь» // «Сатирикон и сатириконовцы». Антология сатиры и юмора России XX в. М. «ЭКСМО-Пресс». Т.3 С. 16.

³ Д'Актиль «Эпитафия». 1917 г. // «Русская эпиграмма» (XVIII – начало XX в). С. 523

⁴ Мазнин Игорь «Сатирикон» и сатириконцы...». С. 17-18.

⁵ Некоторые журнальные произведения А.А. Френкель подписывал Д'А.

⁶ Поляков Вл. «Воспоминания об А. Д'Актиле» // «Москва» 1972 г. №7 С. 221

⁷ Д'Актиль «Песня о Буревестнике (на этот раз в миноре)» // «Вопросы литературы» 2001 г. №4 С. 353-354.

⁸ «Новый Крокодил» 2004 г. №2 С. 18.

⁹ ГАТО ф. 102 оп. 4 д. 2719 л 1.

¹⁰ Там же, л.5.

¹¹ Там же, л. 7.

¹² «Новый Крокодил». С. 18.

¹³ «Марш энтузиастов» из фильма «Светлый путь», написанный на музыку И. Дунаевского, – одно из известных песенных творений Анатолия Френкеля.

¹⁴ Поляков Вл. «Воспоминания об А.А. Д'Актиле». С. 221

¹⁵ «Сатирикон и сатириконовцы». Антология сатиры и юмора России XX в. С. 223-224.

¹⁶ Поляков Вл. «Воспоминания об А.А. Д'Актиле». С. 221

¹⁷ Колбас В.С. «Страницы жизни поэта А. Д'Актиля». Пермь. Изд. «ОРИОН». 1993 г. С. 7

¹⁸ Поляков Вл. «Воспоминания об А.А. Д'Актиле». С. 222

¹⁹ Колбас В.С. «Страницы жизни поэта А. Д'Актиля». С. 8

ПОРТРЕТ ДРАМАТУРГА: ЭРДМАН

¹ Шенталинский В. «Донос на Сократа» М. «Формика». 2001 г.

² «Николай Эрдман. Пьесы, интермедии, письма, документы, воспоминания современников». М. Искусство. 1990 г.

³ Эрдман (урожденная Кормер) Валентина Борисовна выросла среди одиннадцати братьев и сестер. Ее родители –Борис Васильевич Кормер, владелец часовой мастерской, и Прасковья Абрамовна Кормер (урожденная Гольдберг), которая происходила из состоя-

тельной семьи владельца имения близ села Алексеевское, ныне район Останкина. (Примечания А. Свободиной, там же. с. 478).

⁴ Эрдман Роберт Карлович, уроженец Митава; бухгалтер фабрики «Товарищества шелковой мануфактуры» (там же).

⁵ Суздальский В.И. «Театр уж полон...». Томск 1995 г.

⁶ Суздальский В. «Неулыбающийся шутник»; «Шторх М. «Эрдман в письмах Шпету» // «Сибирская старина» 1993 г. №2 С.22-24

V. «ТЫЛОВАЯ АЛЬМА-МАТЕР» ОБЩИЙ ПЛАН. КАРТИНА ЭВАКУАЦИИ

¹ Из резолюции митинга трудящихся Томска по поводу нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. // «Из истории земли Томской (1941-1945). Сборник документов и материалов». Томск 1995 г. Вып. III. С. 12

² ЦДНИ ТО ф.357 оп.1 д.52 л. 21

³ «Из истории земли Томской (1941-1945)» Вып. III. С. 20

⁴ ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 2 д. 49 л. 34

⁵ «Всё для фронта, всё для победы! Сборник воспоминаний тружеников тыла, посвященный 40-летию победы». Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1985 г. С. 26

⁶ ЦДНИ ТО ф.537 оп.1 д.56 л. 4

⁷ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 17

⁸ Смолякова К. «Химический факультет Томского университета в годы войны» // «Томск и томичи для фронта и победы. Материалы научно-практической конференции». Томск ТГУ 1995 г. С. 159

⁹ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 35

¹⁰ Соловьева В. Палагина В. «Из воспоминаний студентов историко-филологического факультета Томского университета военных лет». // «Томск и томичи для фронта и победы». С. 166

¹¹ ЦДНИ ТО ф. 357 оп.1 д. 55 л. 28

¹² ЦДНИ ТО ф. 607 оп. 1 д. 31 л. 316

¹³ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.2 д. 50 л. 6

¹⁴ Там же.

¹⁵ Смолякова К. «Химический факультет Томского университета в годы войны». С. 157

¹⁶ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 123

¹⁷ Смолякова К. «Химический факультет Томского университета в годы войны». С. 158

¹⁸ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 125

¹⁹ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.2 д. 51 л. 37 об.

²⁰ ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 2 д. 50 л. 34

²¹ ЦДНИ ТО ф. 357 оп.3 д. 6 л. 11-11 об.

²² «Всё для фронта, всё для победы!». С. 29

²³ «Томская область в годы Великой Отечественной войны». Томск 1947 г. С. 37

²⁴ ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 3 д. 9 л. 38

²⁵ ЦДНИ ТО ф. 607 оп. 1 д. 308 л. 51-51 об.

²⁶ Кузнецов М. «Томский Комитет ученых в годы Великой Отечественной войны» // «Томск и томичи для фронта и победы». С. 21

²⁷ ««Из истории земли Томской (1941-1945)». С. 48

²⁸ Там же, с. 49

²⁹ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.2 д.50 л. 57-57 об.

-
- ³⁰ Петрова Т. «Трудовой подвиг трудящихся Томска в годы Великой Отечественной войны». // «Труды Томского государственного университета. Пятая научная конференция ТГУ, посвященная 350-летию г. Томска». Томск Изд. ТГУ 1957 г. Т. 136 с. 115
- ³¹ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.2 д.50 л. 27
- ³² ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 3 д. 8 л. 51
- ³³ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 41
- ³⁴ ЦДНИ ТО ф.604 оп.1 д. 45 л. 157
- ³⁵ ЦДНИ ТО ф. 607 оп.1 д. 205 л. 12-12 об.
- ³⁶ Там же. С. 33
- ³⁷ Соловьева В. Палагина В. «Из воспоминаний студентов историко-филологического факультета Томского университета военных лет». С. 162
- ³⁸ «Профессора Томского университета. Библиографический словарь». Вып. II. Томск ТГУ 1999 г. С. 181
- ³⁹ Там же, с.463
- ⁴⁰ «Всё для фронта, всё для победы!». С. 134
- ⁴¹ «Профессора медицинского факультета Томского университета – Томского мединститута – Сибирского государственного мединститута. Библиографический словарь в двух томах». Томск Изд. ТГУ 2004 г. Т.I С. 92
- ⁴² Там же. Т. II С. 253, 259
- ⁴³ ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 2 д. 50 л. 34
- ⁴⁴ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.3 д.5 л. 1
- ⁴⁵ ЦДНИ ТО ф. 115 оп.2 д. 50 л. 26 об.
- ⁴⁶ «Профессора Томского университета. Библиографический словарь. Вып. II». С. 488
- ⁴⁷ Там же. С. 464
- ⁴⁸ ЦДНИ ТО ф.115 оп.2 д. 50 л. 29-29 об.
- ⁴⁹ ЦДНИ ТО ф. 115 оп. 2 д. 50 л. 34
- ⁵⁰ ЦДНИ ТО ф. 67 оп. 1 д. 30 л. 67
- ⁵¹ ЦДНИ ТО ф. 475 оп.1 д. 12 л. 11
- ⁵² ЦДНИ ТО ф.604 оп.1 д. 45 л. 26
- ⁵³ Там же. С. 9
- ⁵⁴ ЦДНИ ТО ф.115 оп.4 д. 23 л.76
- ⁵⁵ ЦДНИ ТО ф.607 оп.1 д. 28 л. 170
- ⁵⁶ ЦДНИ ТО ф.607 оп.1 л. 33 л. 81

ПОРТРЕТ ПОЭТА: АНТОКОЛЬСКИЙ

- ¹ Антокольский Павел «Из дневников» // «Вопросы литературы»1986 г. №12 С. 166
- ² Суздальский Владимир «Сильнее всякой смерти» // «Красное знамя» от 2 декабря 1978 г. С.4.
- ³ Там же.
- ⁴ Лондон Теодор «Наш кочевой театр» // «Театр». 1971 г. №6 С.75
- ⁵ Антокольский Павел «Из истории театра» // «Красное знамя» от 15 мая 1945 г. С. 4
- ⁶ Там же.
- ⁷ Лондон Теодор. «Наш кочевой театр». С. 82
- ⁸ Миндлин Анатолий «У меня много работы» (письма Антокольского) // «Литературная Россия» от 27 июня 1986 №26 С.4
- ⁹ Там же (письмо от 9 января 1942 г.).
- ⁹ Там же (письмо от 8 марта 1942 г.).
- ¹⁰ Там же (письмо от 21 марта 1942 г.).

-
- ¹¹ Левин Лев. «Прощай. Поезда не приходят оттуда» // «Юность» 1968 г. №12 С.105.
¹² Там же.
¹³ Нагибин Юрий. «Сын» // «Советская Россия» от 13 марта 1983 г. С.4
¹⁴ Там же.
¹⁵ Банк Наталья «У третьего ключа» // «Звезда» 1983 №8 С.159
¹⁶ Королев Сергей. «Давным-давно» // Журнал «Персона» Центра Persona Grata. Томск 2002 г. №5 С.49
¹⁷ Суздальский Владимир. «Театр уж полон...». Томск 1995 г. с. 71
¹⁸ Антокольский Павел «Из истории театра». С 4
¹⁹ Линяева Татьяна «Театр поэта» // «Молодой ленинец» от 20 января 1979 г. С. 4
²⁰ Игнатов Геннадий «Антокольский в Томской драме» // «Сибирская старина» №6 за 1994 г. С. 44
²¹ Павел Антокольский «О времени и о себе» // «Советские писатели» Автобиографии в двух томах. М. 1959 г. Т.1 С.74
²² «Театр» №1-2 за 1946 г. С. 9
²³ Тоом Андрей. «Мой дед Павел Антокольский» // «Литературное обозрение» №1 за 1986 г. С.103
²⁴ ЦДНИ ТО ф. 399 оп.3 д. 4 л.18
²⁵ ЦДНИ ТО ф. 399 оп.3 д.1 л. 21
²⁶ ЦДНИ ТО ф. 399 оп. 3 д.5 л.56
²⁷ Там же.
²⁸ Там же.
²⁹ Тоом Андрей «Мой дед Павел Антокольский». С.105
³⁰ ЦДНИ ТО ф.399 оп.3 д.5 л.34
³¹ Суздальский Владимир. «Театр уж полон...». Томск 1995 г. С.78
³² Азаров Всеволод «Во имя правды» // «Знамя» 1946 г. №5-6 С.172
³³ С очерке приведены стихи П. Антокольского из его двухтомника «Избранное. Стихи и поэмы». (М. Изд. Художественная литература. 1966 г).

ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА: МЕДЛИН

- ¹ Цыбенко В. «Музыка и сковородка» // «Сибирская старина» 1993 г. №5 С.31
² Из уголовного дела Я. Медлина: дело 44 у-228 в архиве УФСБ по Томской области. С.5
³ Там же. С. 7
⁴ Там же. С. 11
⁵ Там же. С. 16
⁶ Воробьева Н. «Загадка Феофании Тютрюмовой» // «День добрый» от 19 апреля 2003 г.
⁷ Письмо Медлиной В.В. в областную прокуратуру // Томский областной историко-краеведческий музей, фонд Медлина: р1630 оп.6 д.113
⁸ «Сибирский вестник» от 24 марта 1891 г. (ТОИКМ р1630 оп.6 д.113).
⁹ «Сибирский вестник» от 17 марта 1891 г. (Там же).
¹⁰ Письмо Медлиной В.В. в областную прокуратуру (ТОИКМ р1630 оп.6 д.113).
¹¹ Там же.
¹² ГАТО ф. р-37 оп.1 д.5 л.3-4
¹³ ГАТО ф. р-37 оп.1 д.4 л.5 об.
¹⁴ Письмо Медлиной В.В. в областную прокуратуру (ТОИКМ р1630 оп.6 д.113).

ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ: ХАЛФИНА

- ¹ Халфина М. «Много ли старикам надо?» // «Советская Россия» 9 сентября 1983 г. № 208
- ² Там же.
- ³ Халфина М. Из автобиографии. // «Писатели о себе» Новосибирск. Западно-Сибирское книжное изд. 1973 г. С. 235
- ⁴ Халфина М. «Два слепых сердца» // «Комсомольская правда» 30 мая 1962 г. №125
- ⁵ Халфина М. «Простая история». // Халфина М. «Повести и рассказы». Новосибирск Западно-Сибирское книжное изд. 1983 г. С. 134
- ⁶ Там же, с. 192.
- ⁷ Там же, с. 65
- ⁸ Там же, с. 216.
- ⁹ ГАТО ф. р-1777 (личный фонд М.Л. Халфиной) оп. 1 д. 20 л. 2.
- ¹⁰ Там же, л. 4
- ¹¹ ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 60 л. 27
- ¹² ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 58 л. 3.
- ¹³ ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 60 л. 36
- ¹⁴ ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 69 л. 1- 1 об.
- ¹⁵ Там же, л. 9
- ¹⁶ ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 93 л. 4
- ¹⁷ Там же, л. 1
- ¹⁸ Афанасий Коптелов, вспоминая о литературном кружке при газете «Звезда Алтая», указывает среди входивших в него и Халфину. (Коптелов А. «Минувшее и близкое: воспоминания, статьи, очерки» Новосибирск Западно-Сибирское книжное изд. 1983 г.).
- ¹⁹ Заметка М. Халфиной «К северу от Томска», опубликованная в газете «Известия» (ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 76 л.3).
- ²⁰ ГАТО ф. р-1777 оп 1 д. 57 л.8.
- ²¹ Там же, л. 9
- ²² Киселева Ирина «Искусство быть старым» // «Народная трибуна» 25 января 1994 г. №13
- ²³ Казанцев Александр «Ностальгия по чистоте» // «Красное знамя» 13 марта 1988 г. №57
- ²⁴ Халфина М. «Простая история». С. 91.
- ²⁵ Халфина М. Из автобиографии. // «Писатели о себе». С. 234.
- ²⁶ Статья о профессоре Л.Л. Халфине – в библиографическом справочнике «Профессора ТПУ» (Томск Изд. «НТЛ». 2001 Т.2 С.168-170).
- ²⁷ Халфина М. «Много ли старикам надо?» // «Советская Россия» 9 сентября 1983 г. № 208
- ²⁸ Рубайло А. «Литература и воспитание чувств» (ГАТО ф. р-1777 оп. 1 д. 82 л. 1-4).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЙТЛИНА

- ¹ Впервые опубликовано в газете «Томский молодежный экспресс» от 6 ноября 1992 г.
- ² Юшковский (Ветров) В. Хождение богородицы по мукам» // «Томская неделя» от 13 июля 1995 г.
- ³ Там же.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Юшковский В. «Из записок старого томича»// «Томский вестник» от 10 сентября 1994 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЖИЛИ-БЫЛИ САРА С АБРАМОМ

Общий план: картина жизни

Портрет народовольца: Чудновский

Портрет публициста: Бейлин

Портрет ученого: Кижнер

II. БЕЗУМНЫЕ ДНИ

Общий план: картина погрома

Портрет просветителя: Вольфсон

Портрет зодчего: Фишель

III. ТОТ САМЫЙ НАРЫМ

Общий план: картина ссылки

Портрет историка: Вегман

IV. СВОЙ КРОВ

Общий план: картина беженства

Портрет врача: Штамов

Портрет сатирика: Френкель

Портрет драматурга: Эрдман

V. ТЫЛОВАЯ АЛЬМА-МАТЕР

Общий план: картина эвакуации

Портрет поэта: Антокольский

Портрет музыканта: Медлин

Портрет писателя: Халфина

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Портрет современника: Цейтлин